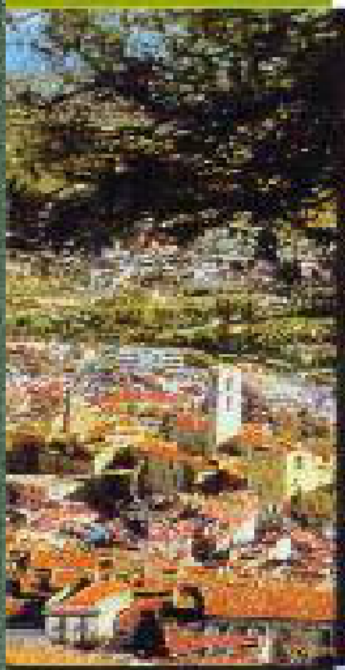
ИВАН БУНИН



Михаил Рощин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Публикуемая в серии «ЖЗЛ» книга Михаила Рощина о Иване Алексеевиче Бунине необычна. Она замечательна тем, что писатель, не скрывая, любуется своим героем, наслаждается его творчеством, «заряжая» этими чувствами читателя. Автор не ставит перед собой задачу наиболее полно, день за днем описать жизнь Бунина, более всего его интересует богатая внутренняя жизнь героя, особенности его неповторимой личности и характера; тем не менее он ярко и убедительно рассказывает о том главном, что эту жизнь наполняло.

Кроме «Князя» в настоящее издание включены рассказ Михаила Рощина «Бунин в Ялте» и сенсационные документы, связанные с жизнью Бунина за границей и с историей бунинского архива. Документы эти рассекречены недавно и публикуются впервые.

- Рощин М. М. Иван Бунин
  - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
  - КНЯЗЬ
    -
    - ИСТОКИ
    - ВАРЯ-ЛИКА
    - РЕМЕСЛО
    - РЕЧЬ О ЛИТЕРАТУРЕ
    - «ДЕРЕВНЯ»
    - ГОРЬКИЙ
    - АЛ. ТОЛСТОЙ
    - МОСКВА
    - ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО
    - РУССКАЯ ПРОЗА
    - РЕВОЛЮЦИЯ 17-ГО. ИСХОД
    - МЕРЕЖКОВСКИЕ И ДРУГИЕ
    - ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА
    - ЖИЗНЬ «БЕЛЬВЕДЕРСКАЯ»
    - НОБЕЛЕВСКАЯ
    - «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»
    - ЛЕВ ТОЛСТОЙ
    - ВСЁ ОБ ОДНОМ
    - ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ
  - Рассказ. БУНИН В ЯЛТЕ
  - Дм. Черниговский «СОВЕТСКАЯ ХРОНИКА» ИВАНА БУНИНА
- БЛАГОДАРНОСТИ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38

- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72

Рощин М. М. Иван Бунин

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Когда-то, в начале 60-х, приехав однажды в любимую Ялту, я провел несколько часов кряду в чеховском доме в Аутке, как-то особо воспринял его. Впитал в себя. Дом еще не был замызган

тысячами ног и чужих туристских дыханий, хранил свой прежний дух и уют, своеобразие и очарование. Бродил по нему, вглядываясь в Чехова, а думал о Бунине, — о том эпизоде в его жизни, когда Бунин, с позволения Марии Павловны Чеховой, жил в Белой Даче как свой, хорошо знакомый человек. Чехов уехал на какое-то время за границу, в Ниццу, в доме оставались только мать Чехова Евгения Яковлевна и слуги.

К этому времени я пережил многолетнее бурное увлечение Буниным, — целый огромный роман с ним, — уже вошел он во все поры, и время было освободиться от его влияния, вернуться к себе, если я хотел писать по-своему. Бродя по дому, я легко вообразил себя им, таким же, как я, тридцатилетним молодым писателем, еще мало кому известным, в начале пути, полным великих честолюбивых мечтаний, замыслов, попыток их воплощения на бумаге.

В Литинституте мы учились вместе с Юрием Казаковым. Именно я принес ему как-то Бунина, хотя сам, весьма начитанный московский юноша, лишь в 20 лет обнаружил, что есть такой писатель, настолько Бунин был в запрете. Казаков, как известно, еще более всю жизнь был «ушиблен» Буниным, собирался написать о нем книгу. К сожалению, не успел.

Повторю, мне надо было тогда освободиться от Бунина, — слишком был напитан им, вчитан в него, покорен.

Счастливое свойство писателя: возможность освободиться от действительности, от любви, от горя, от увлечения, — передать все бумаге. Ничего другого не оставалось. Еще раз, вернувшись к столу, перелопатил Бунина, Чехова, — будто актер, взял себе роль Бунина и твердил ее, пожалуй, еще месяца три или больше. Я все знал в тот момент и о Бунине, и о Чехове, и об их эпохе.

Очень скоро, залпом, запалом написал рассказ «Бунин в Ялте». Кажется, сказал там, выплеснул все, что мог. Дал почитать друзьям, — одобрили, старик Катаев, главный наш тогда мэтр, тоже сказал несколько добрых слов, отметил, что про Чехова даже более сказано, чем о Бунине. Рассказ приняла и скоро напечатала «Дружба народов», — журнал как раз всходил на новую ступень своей популярности. Был успех. Я, словно луна от солнечного света, сиял бунинским отражением. Полнобуниние.

Освободился ли я от Бунина? Нет, конечно. Сыгранная роль запечатлелась во мне навсегда.

Мой длинный «бунинский» путь привел меня к данной книге. Разумеется, это новая книга. «Бунин в Ялте» — совсем иное, — я не писал беллетризованную биографию, роман, — сие другое.

Вручаю книгу тебе, читатель.

КНЯЗЬ
Книга об Иване Бунине, русском писателе

«Князь» было домашнее прозвище Ивана Алексеевича Бунина. Человек властный, своенравный, он любил все сделать по-своему, подчинял жизнь жены и всех близких своему режиму — режиму ежедневной, как правило с раннего утра, работы, коей отдавал и всю свою энергию. Не терпел пререканий, скандалов, перепалок, хотя сам позволял и ворчать, и капризничать. Характер имел не самый легкий. Но способен был тут же шутить, дурачиться, изображать по-актерски талантливо в лицах разных знакомцев. Это — внутри дома, со своими, но и внешне, вообще Бунин был нравен, запальчив, горд, щепетилен насчет чести, соблюдения приличий, высоко привык держать свое родовое дворянское достоинство. Мать, кстати, была княгиня, урожденная Чубарова. Не терпел лжи, фальши, чурался неинтересных, неталантливых людей. Особенно строг был в оценках литературных, в литературе тоже следуя своему жесткому кредо, сам держался в особь, берег свою оригинальность, свою личность. Бывал во имя принципа русской классической литературы и крут, и неистов, беспощаден, даже несправедлив. Чем владел, того не уступал. Упорен был и последователен только в своем труде, в страсти писать. Совершенствуясь от произведения к произведению, от других требовал того же. Любил более всего Россию, ее литературу, ее культуру, всю свою потерянную родину, стоял на страже наших духовных богатств. Знал свое предназначение, верил в себя, свой путь, стоял твердо. Мы знаем, кто был графом в нашей литературе. Бунин был ее князь-рыцарем, собою, всей жизнью утвердил, что значит быть русским писателем, — каждой строчкой. Князь — лучше не скажешь.

ИСТОКИ

«…я жил лишь затем, чтобы писать…»

Ив. Бунин

«…и идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем — и не оставляет тайная боль неуклонной потери их, — неуклонной

и бесплодной, ибо идут в бездействии, все только в ожидании действия и — чего-то еще…

И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, не понимаемая мной».

Ив. Бунин. «Жизнь Арсеньева»

Какая Русь! Какая природа! Что за типы! А каковы женщины, любовь! Каков также герой, обычно молодой, помещик, барин, студент, еще ли кто, путешественник, мужик и почти всегда до корней волос русский человек. И всегда поэт, художник, человек с особым зрением и чувствительностью, умеющий видеть, различать и понимать, что не всякому дано. И по-особенному изобразить потом увиденное.

Мне не представляется нужным и возможным слишком много говорить от себя, — я решил принципиально более давать простора моему герою, самому великому автору: зачем же долго объяснять писателя, — не лучше ли пристальнее читать его, с чувством, с толком, с расстановкой. Пусть и знакомое. Пусть и повторно. Когда направляешь на привычный текст линзу, строчки словно подскакивают, обретают объем и выпуклость, буквы озаряются маленькими радугами, красота каждой строки, смысл и музыка ее удесятеряются в призматическом сиянии. Слова, детали, сравнения, присущие этому писателю, делаются определеннее и показательнее, доказательнее. Сжимается дистанция между мной, читающим текст сегодня, и автором, написавшим это когда-то, бог весть в какие времена. Эффект присутствия поразителен, наше соединение с писателем за счет наглядности, точности изображения, наше с ним сотворчество (в чем и состоит чтение) озаряют нас тем же восторгом, какой и он должен был испытывать, складывая из смальты слов свою сверкающую мозаику. Позволим здесь более говорить Бунину, он умел это получше, и никакой комментарий по сути не нужен: все само так и входит в глаза и в душу.

«Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротником и глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в длинных сапогах в переднюю ось, дергал мокрыми,

застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь. Слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, неровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер…

Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свежестью и фосфором: перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто шла сверху вниз по великой стене туч резвая голо-ветвистая молния, и над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед за тем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже наскоком… Красильщиков рос и учился в Москве, окончил уже университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил себя чувствовать помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни…»

Это «Степа», один из замечательных рассказов «Темных аллей». Между прочим, написан только в 1938 году, — как рассказал сам Бунин, — «на вилле Beausoleil, над Монте-Карло. Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имения своего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской губерний) по направлению станции Боборыкино. Проливной дождь. Затем — сумерки, постоялый двор возле шоссе и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой, неожиданно; когда начал рассказ, еще не знал, чем кончу».

Трудно поверить — так все выверено точно дальше. Мысль уже овладела автором, некий желанный, загадочно-необходимый образ представился ему, — не ранее, не позже, а именно в этом 38-м году, на какой-то вилле, при самых, видимо, далеких от излагаемого обстоятельствах. И этот образ, видение требует теперь воплощения, оживления. Художник взял бы краски, скульптор глину или камень, писателю возможно схватить, оконтурить и оживить видение только словами.

Гроза загоняет Красильщикова на знакомый постоялый двор. Хозяина нет, но Красильщиков смело идет в дом, — поднялся на крыльцо, сбросил промокшую чуйку, «вытер пестрое от грязных брызг лицо и — вот оно, это место! — стал счищать кнутовищем грязь с голенищ». В доме находит он одну Степу, дочь хозяина, в

свете горящей спички «видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем… Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой». Обнаружилось, она давно влюблена в него, рада ему, готова для него на все. Молодой купец, что называется, пользуется моментом. «Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе… Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу…»

В 1938 году Ивану Алексеевичу Бунину 68 лет, — так далек он от того молодого купца, в котором наверняка изобразил себя, молодым, легким, напористым, вот эдак лежащим с папироской на отлете рядом с навек вошедшей в сердце неведомой нам, затерянной во временах и пространствах девушкой. Что ж это, так электронно-точна память или вполовину все воображено и придумано?

Бездонна грусть и чистота этого рассказа. Он обещает Степе вернуться, взять замуж, как она просит.

«— Мне на Крещенье уж шестнадцатый пошел, — поспешно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно…»

И — невероятный финал: «Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске».

Невероятный, — говорю я, — а что ж невероятного? Очень даже вероятный — в жизни так оно и бывает — но все же «невероятный» по своему художественному, литературному удару — надо придумать такое! — чтобы поразить читателя в самое сердце, — и оттого так глубока правда этого светло-печального и такого юного для 68 лет рассказа!

Впрочем, возраст автора, вся грусть и тайны его, возможно, и помогают ему быть столь свежим, эротически-напряженным, до конца правдивым. Но об этом — еще впереди.

Как все-таки происходит это чудо, тайна? Желание и способность, а затем умение так писать? Вообще писать?.. Жить, чтобы писать?..

И ведь так рано, необыкновенно: существо человеческое едва дышать стало, лепетать первые слова, стоять на ногах, обонять, бояться холода, жара, громкого звука, глаза открыло и уши.

Тайна все-таки. В семи-, восьми-, девятилетием ребенке уже звучит поэт. Как? Откуда?..

Русским писателям Бог судьбу лепит почти по одному стереотипу. Родиться положено где-нибудь в среднерусской полосе (там и расти в детстве), в семье дворянской, заметного роду-племени, с корнями, но чаще уже обедневшей, с землями и крестьянами в залоге, но с сохранившейся, как правило, усадьбой, домом, близкими деревнями или хуторами.

Отец достается обычно странный, крутонравный, суровый или чересчур веселый, мот и гуляка, вроде Алексея Николаевича Бунина, мелкопоместного дворянина, успевшего и хозяйство разорить, и наследство спустить и женино приданое. Но не без талантов и обаяния.

Мать, чаще всего, — напротив, существо тихое, женственное, доброе, нежное.

По семейным преданиям нрав десятилетнего Вани Бунина уже являл смешение характеров и отцовского и материнского. Худой, тонкий в кости, узколицый, красивый синеглазый мальчик мог быть отчаянно смел, боек, говорлив и насмешлив, — это отцовское: отец был на войне, волонтером, в Крымской кампании, попивал, погуливал, играл в карты, любил прихвастнуть знакомством с самим графом Толстым, тоже севастопольцем. От начитанной, религиозной, печальной маменьки (из девятерых детей пятеро умерли, хозяйство вечно в упадке) мальчику привились задумчивость, любовь к красоте и природе. Даже в имени матери — Людмила Александровна, — урожденная княгиня Чубарова, Бунину всегда чудилось пушкински-далекое, символическое. Очень любил мать всю жизнь, был ей предан, сколь мог, всегда помогал. Она тоже отличала его среди других детей, чувствовала его необычность.

Память даже через много десятилетий ищет своих первых впечатлений бытия, тем более память художника, поэта.

Теоретически следовало бы искать их еще в утробном цикле, в окружающих мать, материнское чрево воздухе, атмосфере, в кровотоке и психике женщины. Если угодно, в самой географии, в эпохе.

Иван Алексеевич Бунин родился 23 октября (ст. ст.) 1870 года в городе Воронеже, на Дворянской улице.

Воображения и фантазии писателя, вероятно, достало бы и на исследование себя в утробной жизни, но во всем и всегда честный Бунин не заходит так далеко. Вот его первые младенческие впечатления, — из «Жизни Арсеньева» — одной из главных его книг, «книги жизни»: «Самое первое воспоминание мое есть нечто

ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видным в окно, на юг… Только и всего, только одно мгновенье! Почему именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чужая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них… Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание… Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему…»

Бунин фиксирует в себе необычайно раннее ощущение одиночества. И этот странный, неведомый зов куда-то…

Между тем и атмосфера, и воздух, и дух родной земли обступали его весьма густо. Проникали в него без сомнения сквозь все поры.

А Воронежская губерния, кстати, это все среднерусские земли, предстепье, самая глубокая, исконная Русь. Река Дон делит губернию почти на две равные части: на правой, более возвышенной — уезды — Землянский, Нижнемедведицкий, Воронежский, Коротоякский, Острогожский, Бобровский, Павловский, Новохоперский, Бирюченский, левая — с Задонскими уездами. Степи, леса, овраги, косогоры, ложбины, холмы, реки: Оскол, Девица, Хопер, Битюк, Икорец, Тихая Сосна, Черная Калитва, Воронеж, — всего до 250 рек и речек.

Соседи: Курская губерния, Земли Войска Донского. В XVIII веке здесь расположились крайние русские княжества, Липецкое и Ворогольское. Затем — Елецкое, удел Рязанского. Население всегда было самое пестрое: русские, печенеги, половцы, монголы,

малороссы, цыгане, колонисты-немцы. Богатая, черноземная земля, обширные степные луга.

Что такое сам Воронеж? Знаменитый в России город, еще с 1695 года, когда Петр Великий прибыл сюда строить флот. Оставался до революции дворец Петра с цитаделью; было 500 каменных домов. Существовали Митрофаниевский монастырь, 47 фабрик и заводов, водопровод, одна мужская, две женские гимназии, духовное училище, кадетский корпус, 10 городских школ и училищ, музей, библиотека. Памятники Петру, поэтам Кольцову и Никитину, уроженцам города.

Поэзия, конечно, начинается с «зова пространства», со звучащей в душе мелодии. «Так начинают, — писал Пастернак, — года в два. / От мамки рвутся в тьму мелодий, / Щебечут, свищут — а слова/ Являются о третьем годе».

Вспоминается отчего-то знаменитый фильм Спилберга «Контакт третьей степени» о прилете космической тарелки на землю: там первые сигналы о прибытии идут из космоса в виде мелодии всего из пяти нот, — но все, кому надо, от мальчика из Алабамы до гигантских толп индусов, хором поющих эту мелодию, — все ее слышат, и ею возбуждены и влекомы.

Растущий среди природы чувствительный и восприимчивый ребенок не может не обращать внимания на ритмы облаков, ветра, стучащего дождя, — а что значит лежать на возу сена лицом вверх, ехать степью под мириадами движущихся или неподвижно-звучащих звезд? Он рано выучился ездить верхом и скакал безудержно по своим лугам, лесным и степным дорогам. Ритм!.. Поэзия начинается с ритма. А восторг этого движения, этих театральных зрелищ плывущих облаков, часами длящихся закатов?.. Сидение на берегу с удочкой, прикованный взгляд на бегущую у ног воду реки, волнами колеблемые ржи и поля цветов, ромашек…

Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки реют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.

На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.

И, как в зеркале, меж тростников,
С берегов опрокинулся лес,

И уходит узор облаков
В глубину отраженных небес.

Облака там нежней и белей,
Глубина — бесконечно светла…
И доносится мерно с полей
Над водой тихий звон из села.

Это написано в семнадцать лет, уже в немалом для юного поэта возрасте. Впрочем, что возраст для поэта? Есть ли он у него вообще?

По семейным преданиям, уже в восемь маленький Бунин сочинял стихи.

Никакой поэт не растет одиноким цветиком среди голого поля. Подобно великой природе окружает его стихия великого родного языка. И, подобно великой стихии языка, окружает его сызмала океан великой родной литературы. Начинается, возможно, с матушкиных молитв, с нянькиных сказок о кикиморах и бесенятах, что гнездятся по углам темных, без света, комнат, кладовок, сараев и чердаков. По-старинному распевно, с чувством и волнением читает мама любимого ею Пушкина. Рано, раньше всех приходит к русскому писателю Пушкин, — легкий, складный, веселый и озорной. Его ритм, его ямб, его свобода хочешь не хочешь входят в кровь, в ум, пьянят и восторгают, влекут подражать ему, говорить, как он.

Из «Жизни Арсеньева»: «Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к „Руслану“: „У лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том…“ Казалось бы, какой пустяк — несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, такой вздор — какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то „ученый“ кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки, и „на неведомых дорожках следы невиданных зверей“. Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное. В том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и „ученый“ в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений („и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом“), и эти „неведомые“ дорожки, и „следы невиданных зверей“, — только следы, а не самые звери! — и это „о заре“, а не на заре, та простота, точность,

емкость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом — сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного»:

Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать рыцарей[1] прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской…

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть». Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав».

Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей…». А «Страшная месть»!

Бунин и далее цитирует Гоголя, — стоит обратить внимание, какие особенно выделяет слова и метафоры! «Тихо светит по всему миру; это месяц показался из-за горы. Будто дамасскою белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен… Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: черные казацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны…»

А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка: «На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она замолчала, потупивши очи в сонную воду, а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи…»

Далее. «Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, всегда запоминая, закрепляя за собой, — чаще всего действовал при

этом с удивительной верностью чутья и вкуса».

Эти замечательные слова уже относятся к своему таланту: с восторгом, со страстью запоминая, закрепляя, с верностью чутья и вкуса!..

Русские писатели учатся у русских писателей, — ну не только, разумеется, не только! — но новые великаны опираются на плечи старых, — есть школа, учителями в ней, как мы только что видели, все тот же Пушкин, тот же Гоголь!.. Как сказочно хороша эта школа! Как просторны ее классы, высоки окна и потолки, чисты стены и коридоры, просторны и высоки лестницы, какой дух прилежания и самодисциплины, любви и товарищества, авторитета и образованности учителей! Сурова администрация, справедливы оценки, образцовы отличники, наказуемы по заслугам лентяи и проныры, позорны подхалимы и любимчики начальства, соперничество и соревнование благородны, шпаргалки и выскочки презираемы. Образцова и почитаема школа русской литературы!

Бунин так заканчивает свой рассказ о Гоголе: «Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, — чувство святейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви к «Богу и к ближнему…»

Среди однообразного, без особо ярких событий детства нужно, однако, выделить некоторые, несомненно давшие стимул к пробуждению писательства, организации того самого «жизненного состава» юного Вани Бунина.

Во-первых, хорошо иметь в жизни, в детстве старшего брата, — такого особенно, как Юлий Алексеевич Бунин. Был он бунинской же породы, — даже внешне были весьма похожи, — но все же отличен несколько иной индивидуальностью: умен, целенаправлен, со сложившейся по-иному биографией. Скажем, средний брат Евгений, человек более мягкий, «домашний», без особых талантов, был отправлен отцом в военное училище и оставался вначале в Петербурге в полку. Юлий же поступил в университет, кончил курс, затем перешел еще на юридический. Ему прочили научную карьеру, но он увлекся другим: без конца читал Чернышевского и Добролюбова, сошелся с молодыми народовольцами, вступил в революционно-демократическое

движение, «ушел в народ». Был арестован, отсидел некоторый срок, затем сослан в родные места. Так что Ваня мальчиком встретился с братом, пережившим уже немало, образованным, критически настроенным, автором революционных прокламаций и имевшим свой круг таких же, как сам, друзей, — в Полтаве, Харькове, Петербурге. Долгие прогулки с братом, долгие беседы, во время которых Юлий отвечал на вопросы, начиная с карты звездного неба и кончая жизнью и положением крестьян, оказали на младшего брата огромное влияние. Так осталось потом на всю жизнь: дружить с Юлием, во всем советоваться, слушать, получать его помощь.

Пожалуй, можно сказать, что старший брат брал умом и образованием, а младший покорял талантливостью, остротой, оригинальностью. Честолюбием и целеустремленностью.

Соблазнительно вспомнить и привести здесь бунинский гороскоп, весьма выразительный.

«Рожден под знаком Скорпиона. Противоречивый, сложный, контрастный характер и судьба. Под двумя планетами: Марс, — сила, война, резкость, и Нептун, более мягкое, гуманное. Знак воды. Привлекательный и жестокий. Сам себя пожирающий. Первая трудность для него жизнь. Все есть, чтобы добиться успеха: энергия, сила, живость, но из-за раздражительности характера — много врагов. Много таинственного и загадочного. Весь свой яд направляет на себя. Даже когда искренен, замкнут и насторожен, — таков его способ защиты. Но когда его критикуют или нападают, гнев его страшен. В работе, в исполнении долга — всегда железная воля, он прирожденный боец, никогда не ищет спасения в иллюзиях, быстро находит слабую точку в человеке или ситуации. В отношениях с людьми — порядочность, честность, но, как глубокому индивидуалисту, всего важней независимость. Символы его — скорпион, орел-змееносец, светильник, пирамида, жук, череп; цвета — желтый, красный, алый, малиновый; металлы — железо и сталь; камни — аквамарин, топаз, берилл; цветы — гвоздика, пион, хризантема; счастливый день — вторник. Сильное влияние солнца. Самые привлекательные для жизни страны — Германия, Швеция, Алжир, Марокко, Цейлон».

Удивительно, но сколь многое оказалось в самом деле пророческим в жизни Бунина, — и осуществившимся — мистика — ну что ж, и насчет мистики тоже что-то есть в гороскопе и в самом скорпионском знаке. Если продолжить сравнение, то Юлий, родившийся под знаком Рака, имел, по гороскопу, характер мягкий, любезный, материнski заботливый, нежный, полный сочувствия к людям, — всё сие и испытал на себе

младший брат, о котором Юлий заботился, право, как родная мать. Иван Алексеевич отвечал самой горячей любовью, трагически пережил смерть брата, — уже вдали от него, в эмиграции.

Юлий жил на поселении в Озерках, но по доносу соседа Логофета вновь был арестован, отправлен по железной дороге с двумя жандармами. Это уже крепко осталось в памяти: позже Иван Алексеевич опишет эту историю: как убивалась и молилась мать, как беспечно махал рукой отец: «Ну арестовали, ну увезли, может, в Сибирь сошлют, мало ль нынче ссылают, и почему какой-нибудь Тобольск хуже Ельца? Нельзя жить плакучей ивой! Пройдет дурное, пройдет хорошее, как сказал Тихон Задонский, все пройдет!»

Вторая заметная фигура — Ромашков, Николай Осипович. Среди многочисленных друзей и соседей отца был помещик Ромашков, а сын его прослыл чудаком, странным человеком: с отцом разошелся, с братом тоже разорвал и бросил какой-то наследственный документ, скитался. Появился в гости к Буниным, попьянствовал и поспорил, поссорился не раз в застолье с Алексеем Николаевичем, да и остался гостевать, — так водилось прежде между приятелями. Был Николай Осипович начитан, образован, окончил курс в Лазаревском институте восточных языков в Москве, носил парик, ел только хлеб с горчицей под водочку, с Людмилой Александровной говорил по-французски. Она рада была: вот, мол, пусть и Ваню обучит. И Николай Осипович сделался домашним учителем, доведя Ваню до самого поступления в гимназию. Учил Ромашков читать по «Одиссее» и «Дон Кихоту»; часами рассматривали вместе «Всемирный путешественник» и «Земля и люди», — там были и египетские пирамиды, и пальмы, и пираты, и дикари в пирогах. Так что, с одной стороны — Дон Кихот, рыцари, замки, Средневековье, с другой — дальние страны и океаны, путешествия, приключения. Впечатлительный и памятливый мальчик все впитывал, мечтал потом наедине и о том и о сем. Ромашков сам много скитался, навидался людей, натерпелся лиха, — умел живо и интересно рассказывать, увлекался, вызывал у мальчика сочувствие в своих диккенсовских передрягах.

Этот человек, названный в «Арсеньеве» Баскаковым, учителем оказался слабым, но заражал своей необычностью и необузданностью. Кроме того, однажды он подарил воспитаннику коробку акварели, — и краски поразили ребенка. «Пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловую, синеву

неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, — и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню…»

Возможно, благодаря Николаю Осиповичу Ваня стал лучше различать и понимать взрослых людей.

Все же в том, что касается учения, главную роль играл Юлий Алексеевич.

Другим сильным впечатлением детства оказалась болезнь, — лет в семь-восемь. Видимо, скарлатина. Это было «…как бы странствие в некие потусторонние пределы… Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах, — в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании; испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить». Болезнь, боль всегда, как ни странно, благо, помощь творчеству. «Коэффициент полезного действия грусти на душу поэта». Человек надолго и глубоко остается наедине с самим собою. Так рождаются жемчужины: песчинка попадает на нежное тело моллюска, слой защиты обволакивает ее, за ним — второй, третий, так далее. Мир исчезает, скрывается за толстым, глухим стеклом, ребенок остается один, ему не постичь происходящее. Но потом ярко и освежающе возвращение к этому миру, привычному здоровью, ожившим чувствам и желаниям. Нет, болезнь — великое и благое испытание.

Еще одно из ярких впечатлений детства, — первая поездка с родителями в город. Бунин будет потом путешествовать всю жизнь, сделается страстным путешественником, объездит весь мир, самые дальние страны, но первое детское путешествие останется в памяти навсегда. «Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился среди двора на солнечном припеке, глядя на тарантас, который еще утром выкатился из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине, — а дело было уже к вечеру и места были очень глухие, — густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону

пробирался среди кустарника „разбойник“, с топором, засунутым за пояс, — самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великих радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: „В аккурат сапожки!“ — и ременную плеточку с свистком в рукоятке… С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой ременной плеточки!»

Так пишет, так не пропускает ничего, всматриваясь в себя, в свою жизнь поздний Бунин, пожилой уже человек, опытный мастер, великий прозаик и поэт. Как любуется он всякой деталью, как находит всему нужные слова! Но Бунин не был бы Буниным, если бы ограничивался двумя-тремя выбранными, «вкусными» деталями и словами, — он всегда останавливается еще на самом важном в жизни, на таинственном и отвлеченном. Так, весь этот рассказ о поездке в город завершается неким странным видением и мыслью далеко не просто восторженной и малозначительной. «На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом… в нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка, он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты, — и стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, что я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой

покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты… Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь — есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало: я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания, особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине с топором за подпояской. Но то был разбойник, — я ни минуты не сомневался в этом, — то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка…»

Так понемногу маленький Бунин постигал мир, — не одни прелести, цветы и краски его, но и страшные тайны. И это не был уже малыш, который не выговаривал букву «р» и, капризничая, кидался на пол и кричал: «умиа-аю!» — это был уже думающий, пристальный мальчик, сочиняющий первые стихи.

И еще одно детски-отроческое важное событие: смерть младшей любимой сестры Саши. Мальчику уже и до того пришлось узнать слово «смерть»: умерла бабушка, потом почти на глазах его погиб один из деревенских мальчишек с Выселок, — один из тех, с кем он привык играть, бегать, ходить в ночное, — мальчик скакал верхом и вместе с лошадью упал в Провал, близкий страшный овраг, засосавший всадника вместе с лошадью. Смерть сестры резанула по душе еще резче, не изгладилась потом никогда.

Русский писатель обычно наделен нежной, чувствительной душой, и — глубоким, не поверхностным, склонным к философии умом, способным к самонаблюдению за движениями и колебаниями обостренно-нервной души. Вместе с душою, с жизнью Бог вкладывает в нас и наши боли: причуды характера, возраста, прямые болезни и даже самою смерть. Теперь генетики научно объяснили тайны наших генов, генотипов, наследственных и обретенных качеств и недостатков. Чуткой душе и острому уму не надобно и объяснений: всякая мысль о смерти, любое наглядное зрелище ее, — тем самым напоминание, удар колокола, о котором сказал Хемингуэй, — всегда мучение и тревога. А чем жгуче жажда жить, умение полно дышать всем воздухом и жаром жизни, тем, естественно, печальней сие напоминание. Сказать, что Бунин не любил смерти, было бы смешно, — кто ж ее любит и как это можно? Тем более для

натуры почти по-животному чувственной, греховной, жадной, языческой.

Снова из «Жизни Арсеньева»: «… умерла Надя — месяца через два после моей болезни, после Святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день, с утра до вечера шло у нас разливанное море, дом был полон гостей… Мать была счастлива: высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на Святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытьи, горела, и в детской было все то же: завешенные окна, полумрак, свет лампадки… За что именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово — „кончается“ — раздалось для меня впервые поздним зимним вечером, в глуши темных снежных полей, в одинокой усадьбе! А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятенье, на время охватившее после того весь дом, я видел: в зале на столе, в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами… Более волшебной ночи не было во всей моей жизни.

…Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни — жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное, непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу…

И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла».

Когда возрастал наблюдательный, внимательный, чувствительный отрок Ваня Бунин, в поместной России существовала еще нормальная, частная, семейная жизнь. Было

много родственников, соседей, друзей; семьи с женитьбами, перепродажей земель, заботой о детях переплетались между собой. Бунинские и Чубаровские земли из Воронежской губернии заходили в Орловскую, в Курскую. Каменка — это одно, Батурине — другое, Озерки — третье, Васильевское родных матери, Пушешниковых, еще новое место. Множество лиц, связей, отношений, преданий!.. Не забыть, например, о родной тетке Бунина, тете Варе, которая была не в своем уме. Где-то когда-то Иван Алексеевич сказал, что он живет в тайном безумии, — но, возможно, что и генетические корни имели здесь место.

Вера Николаевна Бунина-Муромцева, верная жена, прожившая с И. А. всю жизнь, в своей биографической книге немало рассказывает о родных, о семейном быте тех, еще мирных российских времен. Мальчика повезли в Елец в гимназию, отдали на постой к мещанину Бякину (за 15 рублей в месяц с харчами). С ним же отправили родственника Людмилы Александровны Егорушку Рышкова, — вместе маленьким гимназистам было повеселее у сурового Бякина. Есть запись в дневнике самого Бунина: «… Вечер какого-то царского праздника (конечно, 30 августа, тезоименитство Александра III). Иллюминация, плошки, их чад и керосиновая вонь. Бякин, гимназист (15 лет) показал нам в гуляющей толпе хорошенькую мещаночку, свою любовь, потом дома дал карточку какой-то молодой девицы. Совсем голой. Не сразу заснул после этого. Ночь, лампадка, что-то вроде влюбленности в мещаночку Бякина и какого-то возбуждения при мысли о карточке».

Ваня любил шататься по городу, наблюдать людей, разные сценки, перебранки. Потом удачно копировал, ярко рассказывал. В гимназии, благодаря памяти и ранней начитанности, учился хорошо, — не давалась только арифметика, алгебра (кто и когда из поэтов мог понять, почему а + в = с?). На другой год Ваню поместили жить у кладбищенского ваятеля, — Ваня научился лепить из глины кресты, кости, черепа. Еще одну зиму Ваня жил у тетушки Веры Аркадьевны, что разошлась только с мужем. Это не у Бякиных скучных и не у могильного скульптора: тетушка была веселая, общительная, каждый вечер полно народу, вся местная богема: актеры, офицеры, дамы, самовар весь день не сходил со стола. Ваню поразили бритые, говорливые, веселые актеры, — благодаря им по контрамаркам стал ходить в театр, — все пересмотрел, что можно; когда приезжали навещать родители, — брали обычно с собой любимую сестру Машу, — с ними тоже ходили в театр, цирк. Ване уже минуло 15, чувствовал себя взрослым, много читал, писал стихи. Влюблялся.

Брат Евгений задумал жениться, выбрал падчерицу винокура

помещиков Бехтеяровых Настасью Карловну Гольдман. Винокура звали Отто Карлович Туббе, это был добрый порядочный немец. У Насти оказалась младшая сестра Дуня, — Ваня влюбился, однажды поцеловал ее, испытал ужас блаженства.

Свадьба была назначена на Ильин день в Знаменском, приходе Озерков. Пир до зари. Гостей много — и родные, и друзья, и соседи. Пели, плясали, выпили море шампанского. Ваня надевал невесте туфельку, клал туда золотой, вез с ней в карете образ к венцу, — был одним из действующих лиц.

И случилось еще чудо: когда вся семья сидела на балконе за самоваром, раздался стук колес, и из брички вышел брат Юлий: худой после тюрьмы, чужой — но легко еще отделался: на три года в Озерки под надзор полиции. Мать более всех была счастлива.

Если правда, что Бунин жил, чтобы писать (а это несомненно), довольно взять один из его знаменитых шедевров «Суходол», — как вылилось в эту повесть все родное, родственное, потомственное. Один из прекрасных бунинских женских образов — Наталья из «Суходола», дворовая крестьянка, но молочная сестра отца, всю жизнь прожившая в семье с барами, слившись с ними. Боже, как написан «Суходол»! Какие слова, какие краски, люди. Жесткой, жестокой была жизнь в бывшей барской усадьбе: и любили жестоко, и убивали, и били, а всех держала любовь к этому месту, земле, этой жизни. Чего стоит судьба той самой безумной тети Тони. «В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо…

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей… Но душа-то и в нем была суходольская, — душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся… Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!..»

Кажется, Бунин оказался единственным из русских писателей, кто так просто и смело обозначил нерасторжимое родство веками тесно живших помещиков-дворян и крепостного их люда, деревни, — его великая любовь к России, русскости отворяла ему эту простую тайну.

А какова старая, в упадке, но еще мощная усадьба! Подростки Ваня и Маша попадают в Суходол во время грозы. Много гроз и дождей написано Иваном Алексеевичем Буниным, — и замечательно, — а эта, суходольская, в особь.

«Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний… Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал…» А как дом изображен, комнаты, фортепьяно тети Тони, — что там Ивану Сергеевичу Тургеневу, что Льву Николаевичу Толстому или Антону Павловичу Чехову! Необычайно резок, пронзителен, всею печалью сердца, кровью его пишет Бунин.

Не зря потом критика и читатели выделят «Суходол» и «Деревню» в самые заметные, пронзительно-правдивые его произведения, с них пойдет слава Бунина-прозаика. Говорили, что никто еще так про деревню не писал.

Да и не писал *так-то!*

Впрочем, «Суходол» написан уже в 1911 году окрепшей и уверенной рукой.

Ребенка, подростка, юношу, отмеченного литературным даром, переполняет множество чувств, впечатлений, обобщений раннего опыта. Все это невозможно без конца держать в себе, — надо выразить, поделиться, — хоть с самим собою, — а лучше с листом бумаги. Потому что уже есть примеры, есть поэты, — отчего же они умеют так складно и сладко говорить обо всем? Юный Бунин честолюбиво мнит себя новым Пушкиным, Лермонтовым, — на меньшее он не согласился бы. Но как, как это делается? Жить просто так, не рассказав впечатления от осени, зимы, первого снега, грозы? Смерти? Первой любви?.. Подростком Ваня, приехав зимой на каникулы, познакомился с гувернанткой своих маленьких кузин, дочек Евгения. Остались записи в юношеском, одном из первых дневников, — дневник, кстати, всесильный, всевмещающий дневник бывает обычно первым литературным прибежищем переполненного чувствами сердца и кипящего впечатлениями ума. 15-летний Бунин, только

прослышав о гувернантке, уже мечтает о ней, готовится, волнуется. Вот встреча на крыльце знакомого дома в Васильевском: «Это была барышня маленького роста, с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся…»

Он влюблялся и в других барышень, в кузин, в их приезжавших в гости подруг, в какую-нибудь нечаянную Юленьку или дорожную попутчицу, он хаживал со скуки на деревенские гулянки, где парни и девки пели, плясали на вытоптанном пятачке, кричали частушки, сам сочинял припевки, — там тоже можно было высмотреть какую-нибудь, поиграть глазами, а то и посидеть тесно бок о бок, — мы не знаем, что там бывало с ним, знаем только, что бывает со всеми. Он, конечно, мечтал о настоящей любви, он выбирал, он ждал, — она пока не приходила. Можно было писать, надеяться, изливаться в дневнике или стихах.

О да, от злобы я молчу.
Стою, как нищий у дороги,
И жду, исполненный тревоги…
Но подаянья не хочу…
Я жду хоть ласкового слова.
Хоть только нескольких минут
Любви, забвенья молодого…
Душа болит… А дни идут!..

Боже, сколько замечательных женских портретов, характеров, — каких! — напишет потом в своей жизни Иван Алексеевич Бунин и как примитивна, убога эта первая избранница! Да и не умеет он еще об этом, — пишет, как получается, фиксирует. Но все же не может молчать, не может!.. «За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже друзьями, а я кроме того влюбленным. И теперь вот я сижу и пишу эти строки. Все спит… но мне и в ум сон нейдет. „Люблю, люблю“, шепчут мои губы». Далее, через день: «Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!..» Какое все чужое, литературное, выдуманное, неумелое!.. Это — Бунин? Автор великих шедевров о любви — «Солнечного удара», «Легкого дыхания», «Генриха»?.. Нет, конечно. Это только пылкий

мальчик, начинающий что-то лепетать в своем младенческом дневнике. Писатель учится писать всю жизнь, даже самый гениальный. Все должно созреть, выработаться, определиться. Здесь же он и философствует и хочет казаться мудрым и всепонимающим тоже еще по-детски, по-гимназически: «Но может быть именно более всего святое свойство души Любовь (с большой, конечно, буквы! — М. Р.) тесно связано с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки)[2]. Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! И на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно!»

Любопытно, что здесь же, чуть ниже, 15-летний автор дневника при свете луны пишет о прошлом: «Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная… Я был тогда в саду… у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится… Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет ребенок…»

Прошедшее, вспомненное, элегическое всегда для писателя важнее и интереснее сиюминутного, злободневного, — со временем это станет одним из главных принципов и признаков Бунина: через прошлое являть настоящее. Вся «Жизнь Арсеньева» — большой, современный роман, писавшийся уже в эмиграции, — памятник прошлому, запомнившемуся, сошедшему в Лету. Даже гувернантка Эмилия послужит прототипом Анхен. И — как ни странно, по рассказу Веры Николаевны, судьба еще раз сведет писателя с этой кукольной фигуркой: к уже пожилому писателю на одном из его выступлений в Ревеле в 1938 году подошла полненькая пожилая женщина — это была Эмилия.

Не трудно догадаться, что первые, юношеские стихи Вани Бунина тоже были слабые, подражательные, литературные. Отражались картинки природы, фантазии о любви, о море, об иных, неведомых мечтах. Первыми попавшими в печать были памяти умершего в 1897 году очень знаменитого тогда поэта Надсона. В них весьма прозрачно все заимствованное, романтизированное, сделанное «как надо».

Угас поэт в расцвете силы,
Заснул безвременный певец.
Смерть сорвала с него венец
И унесла под свод могилы.

В Крыму, где ярки неба своды,
Он молодые кончил годы,
И скрылись в урне гробовой
Его талант могучий, сильный,
И жар души любвеобильной,
И сны поэзии святой!..

Не правда ли, звучит почти пародийно? И чего только нет из старого арсенала: певец, венец, свод могилы и рядом — неба своды, сильной — любвеобильной, гробовой, святой…

Опять хочется спросить: да Бунин ли это?

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши… А я черна, худа.
Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду…
Не дождусь — с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

Вот это Бунин.

И вот это:

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один — без жены…

Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
Воротись, я сроднился с тобой!
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.

Можно сказать, что это два разных Бунина, — нет, один, просто первый еще начинающий, неумелый, подделывающийся под чужое, — якобы так надо, — второй, созревший, уверенный, обретший свой голос.

Не забудем вот о чем: пока юный поэт возрастает и созревает в своей глуши, весь остальной огромный мир русской литературы (и не только русской) меняется; уже вступил в иную эру своего развития. Вообще весь свет меняется, кончается век, на пороге — двадцатый, со всеми своими назревающими катаклизмами, катастрофами, высотами, провалами. Как далеко ушла литература от милого, добродушного лукоморья, — наступила кризисная эра декаданса, символизма. Уже явились на свет Брюсов, Белый, Сологуб, Волошин, Блок, Цветаева, — умерший печальный Надсон просто дитя в сравнении с мистическими, заумными, агрессивно-вызывающими поэтами. Русская литература всегда пребывала в непрестанной борьбе, всегда была политизирована: от «Вольности» самого Пушкина, от Радищева, Рылеева, — да все, кого ни возьми, боролись с деспотизмом, крепостничеством и между собою делились на западников, прогрессистов и славянофилов, оберегавших исконную, «истинную», святую Русь. Уже отшумело, отвоевалось, ушло в пространство истории народничество, сделавши свое дело, уже вышли вперед господа социалисты, будоража Европы с Америками, а заодно матушку Русь, — уже Федор Достоевский «Бесами» отозвался, которые сто лет потом будут перечитывать, сравнивать с вживе явившимися и взявшими власть бесами, — пока что покатилась, вроде невесть откуда, первая революция, заполыхали там и сям первые усадьбы барские от руки столь

любезного либеральным сердцам родимого мужичка.

То была напряженная трудная юность, время самопознания и самосоздания, — казалось бы, внешних событий было немного, но для 14–15-летнего поэта все событие: ночная поездка по лесу, ландыши, мечта о какой-то гувернантке, картинка стрижки бабами овец, уличные деревенские посиделки с гармонью и частушками, смерть и похороны родственника или смерть любимого в ту пору поэта Надсона, первый поцелуй и первая папироса, арест и возвращение брата Юлия, дружба с младшей сестрой Машей и ее подружками, пьянство отца или его же рассказы о том, как играл в карты с графом Толстым, когда воевал в Севастополе. Где-то у Олеши есть: писатель начинается с двух вещей: внимания и воображения. Бунинская особенная наблюдательность начинается рано и остается навсегда, превращаясь со временем в изощренность, в ту именно бунинскую густоту прозы, поэзию прозы, о которой Чехов говорил, что она как двойной бульон, а Куприн кричал в сердцах: «Меня тошнит от твоей изобразительности!» Юноша-Бунин мечтает быть не хуже Пушкина и Лермонтова, самолюбие и честолюбие его проявились удивительно рано, он как бы наперед знает свою судьбу, пусть в мечтах, но провидит свой славный путь, — отчего сразу высоко ставит, как теперь говорится, планку для своего прыжка. И все осуществлялось, между прочим, шло даже и поверх планки. Не шуткою было уже в 1900 году напечатать сразу, в одном номере горьковской «Жизни» и поэму «Листопад» и «Антоновские яблоки» — первый из шедевров бунинской прозы. Не шуткою были ранняя Пушкинская премия (одна и вторая), избрание в академики. (Кстати, однажды парижский шофер такси, куда сели Бунин и его секретарь Седых, послушав две минуты разговор пассажиров, — Бунин всю жизнь употреблял, когда надо было, крепкое словцо, — сказал: «Я угадал, господа, должно быть, мсье офицер русского флота?» — «Нет, — отвечал Бунин, — я почетный академик по разряду изящной словесности». — «А, изящной!» — только и оставалось сказать шоферу.) Не шуткою были ранние собрания сочинений, широкая известность среди русской эмиграции и полный отказ от Бунина на родине, ставшей советской. И уж совсем не шуткой сделалась Нобелевская премия 1933 года, первая литературная Нобелевская, полученная русским писателем.

Из книги Веры Николаевны Муромцевой о жизни Бунина, из «Жизни Арсеньева», из различных воспоминаний и документов, явившихся на свет уже теперь, когда опомнившаяся от тоталитаризма Россия стала, наконец, подбирать свои

разбросанные в разные времена и по разным странам богатства, признавать своими тех, кто десятилетиями все ходил во врагах и изменниках, — из всех этих примечательных для биографии писателя вещей легко увидеть, как вырастал мальчик и юноша Бунин. Рос в родительских деревенских поместьях, среди быта «мелкопоместных», разорившихся, живших вплоть и почти вровень со своими крестьянами, среди орловской, елецкой природы, полей и лесов, в большой семье, со множеством сородичей и соседей, с чудака-ми-учителями, с пахотами и жатвами, ночными и охотами, сказками и преданиями, с ежедневными событиями и историями, в самой глуби родного языка, песен, преданий, молитв, праздников и похорон, — всегда на вольном воздухе, под сияющими или льющими дожди небесами, под звездами, в завале зимних снегов, с конюшнями и скотными дворами, лаем собак и соленьем капусты. «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, — писал А. Блок, — мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко, и красочные и слуховые его впечатления богаты». То же знание и любовь обнаруживаются в самых первых, даже газетных (когда работал в «Орловском вестнике» и писал туда, что попало) заметках, очерках и первых рассказах Бунина о «простом» народе, мужиках-крестьянах, бабах, мелкопоместном дворянстве.

В русской литературе, за спиной Бунина уже существовали Гоголь, Некрасов, тургеневские «Записки охотника» — может быть, лучшее, что написано о русском мужике! — писатели-народники с их умилением и радением о народе — страдающем брате.

«…Начало моей новой жизни совпало с началом нового царствования. Плохие писатели писали тогда романы и повести, пошлые заглавия которых верно выражали сущность происходившего: „На переломе“, „На повороте“, „На распутье“, „Смены“… Все и впрямь было на переломе, все сменялось: Толстой, Щедрин, Глеб Успенский, Златовратский — Чеховым, Горьким, Скабичевский — Уклонским, Майков, Фет — Бальмонтом, Брюсовым, Репин, Суриков — Левитаном, Нестеровым, Малый театр — Художественным… Михайловский и В. В. — Туган-Барановским и Струве, „Власть земли“ — „Котлом капитализма“, „Устои“ Златовратского — „Мужиками“ Чехова и „Челкашем“ Горького…

„Россия — сфинкс“. Религия Герцена — религия земли. „Община, артель — только на них, на этих великих началах, на этих святых устоях может развиваться Россия. И это — свет во тьме мещанского запада“.

Вера в народную жизнь. Народничество влияло на все — на

литературу, науку, жизнь. Народничество жило верой, что Россия войдет в светлое царство социализма. Народничество было проникнуто истинным религиозным пафосом…»

Бунин и здесь видит и пишет по-своему. «В юности, читатель, меня очень интересовали дураки. Не улыбайся, — право, о них стоит подумать… Я с одинаковым удовольствием любовался и на старых, и на молодых, и на толстых кретинов, и на худых, долговязых идиотов. Мне нравилось наблюдать, как старый дурак постоянно гордится тем, что он женат и что он чистокровной породы; как он любит подарки, мятные пряники и произведения искусства — в часы досуга; как он всем дает понять, что он если и не блещет красотой теперь, то еще очень представителен. Нравилось мне, как гордится молодой дурак, говоря, что у него вся жизнь впереди, то есть что он тоже будет женат и будет любить пряники и прибавит народонаселения… Но потом — это-то еще бы ничего! — потом я встретил такую разновидность этой милой породы, что крепко задумался. Я встретил „злого“ дурака! О читатель, бойся злого дурака! Злой дурак не чета другим. Злой дурак гордится не тем, что он женат, а тем, что он — гений. Он видит, что кругом него рукава жуют, а он не жует и понимает, что он среди других — гений. Думают так же и многие посторонние. Да и в самом деле! — посмотри, какой иронией светятся свиные глазки этого гения под наплывшим лбом…»

Резок, сердит в данном случае молодой автор, — что ж, это с ним бывало, позже и порезче и покруче умел он сказать. Но однако смладу питавшие его родные Каменка, Озерки, Бутырки, Васильевское, — среднерусские села, усадьбы, окружавшие их угодья, населявший их народ, — они, а ничто иное были пищей зрения, слуха, души молодого поэта, и им обязаны мы и русская литература рождением замечательных бунинских шедевров вроде «Руси», «Таньки», «Ловчего» и многих других. «На край света» — первый бунинский сборник рассказов уже был наполнен этой природой, этими типажами.

Что такое Захар Воробьев из одноименного рассказа, богатырь-мужик, русобородый, с богатырской же душой?.. Он нес на руках верст пять нищую убогую старуху, а мог бы, кажется, унести всю Русь, все ее гори-злосчастья. Да что толку! Гибнет Захар, выпив на спор с дрянными людишками море водки. Поэт Иван Вольнов сказал об этом рассказе: «Это — на сто лет! Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали».

В изображении мужиков, крестьянской жизни, деревенской природы чудится у Бунина та же правда и та же боль, что были у

Некрасова, у Глеба и Николая Успенских, — не зря Успенских он всегда высоко ставил, почитал, писал о них.

Бунин знал не идеализированный, романтизированный, приукрашенный из разных причин и чьих-то выгод русский народ, а подлинный, полный всякими достоинствами и столь же разнообразными малопривлекательными чертами. Но правда — Бог велит писателю: даже художественно преображенный мужик у него есть во всем смаке и мощи мужик-богатырь и дикарь, хозяин и раб, человек и полузверь. Как ни странно, Иван Алексеевич всегда внутренне полемичен, с чем-то (редко с кем-то) борется и полон скрытого, сконцентрированного пафоса. Изредка прорывается наружу. Так, например, в 1915 году: «…литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперь нынешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках — по извозчикам и дворникам, о солдатах — только одно: „Так что, ваше благородие“, говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то, никогда не бывалый утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются». Фальшь, проклятая фальшь — первый враг Бунина. Это пишет уже автор «Деревни», произведения, бомбой рванувшего в обществе, мощном по замыслу и воплощению, сказавшем ту голую правду о Руси, на которую никто не решался. Прорвалось далеко не «вдруг» — о вековой отсталости, косности и дикости, о загубленности жизни и судеб, о вине не кого-то, социальной и классовой, а самих людей, обладателей и носителей конкретных характеров, исконно, исторически, генетически русских, — со всеми их качествами и пороками, свитыми воедино. Здесь он шел в ногу со зрелым, мудрым Чеховым, автором «Моей жизни», «Мужиков», «В овраге», уже драматургом Чеховым.

Еще более жесткие и жестокие вещи сказал писатель о родимом народе, когда тот втянулся и разгулялся вовсю в годы революции: Бунин стал автором одной из самых беспощадных русских книг — «Окаянных дней». За что и был, как известно, навсегда отлучен от советского читателя. Горького за «Несвоевременные мысли», книгу, тоже не по шерстке гладящую власти и революционный народ, вроде бы простили, прижали ко груди ленинско-сталинской, а Бунина — нет, никогда, до самой его смерти.

Еще бы! Приведу одну малоизвестную запись из дневника Бунина 6 августа (н. с.) 21-го года: «В газетах все то же. „На помощь!“ Призывы к миру „спасти миллионы наших братьев,

гибнущих от голода русских крестьян!“ А вот когда миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал… И как надоела всему миру своими гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!»

Надо глубоко и яро, всей душой любить родину, чтобы сметь так сказать! Вроде как было сказано: «немытая Россия».

А что же писал в 21-м году не «злой обыватель» Бунин, а мастер Бунин? Поискав, я наткнулся на один из удивительных рассказов «Преображение» — как сын Гаврила читал ночью псалтырь над умершей и лежащей в гробу матерью: «…Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, — разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижное, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как Бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плисом и белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преображение — и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преображенном мире!..»

Вот каков, право, этот Иван Алексеевич! Как он умел всю жизнь и одно увидеть, и другое, с орлиной своею зоркостью и мудростью змия позволить себе говорить тогда и то, что хочется и просится.

Помните, чеховское по каплям выдавливание из себя раба? Кажется, Бунин подобной работы никогда не проделывал: он был свободен, да и все. Скорее, если уж сравнивать с чеховским глубоким демократизмом, Бунин тяготел более к аристократизму и свободе Льва Николаевича Толстого, самого любимого им писателя, главного своего учителя.

Давайте проверим, — никто ему не сказал в 14–15 лет, никто не научил, не надоумил, не нагадал, не подтолкнул, ни мать, ни отец, ни брат (такой авторитет!), ни одна душа и даже книга, — а он все знал, сам знал, кто он, что, кем будет, что его ждет. Он хотел только писать, только в этом добиваться совершенства и гордо стоять выше всех. Ведь он не мечтал — ни в офицеры, ни в купцы, ни в сановники, ни в банкиры, — нет, он был рыцарем литературы, поэзии, и только. Пушкин, Лермонтов, позже — Лев

Николаевич Толстой. Других идеалов, других примеров не было. Он читал Золя, Флобера, — они оказали на него свое воздействие, несомненно. Но Толстой был выше. Да и кто же писал в ту пору лучше? Кто занимал столь много места в обществе? 16-летний Бунин написал Толстому письмо, решился: как, мол, жить, как писать? Лев Николаевич, уже позже, при встрече с ним (о чем рассказано в книге о Толстом) так ответил: «Не ищите от жизни ничего лучше того, что у Вас есть теперь, и момента более серьезного и великого, чем тот, который Вы теперь переживаете… Не думайте также о форме жизни иной, более желательной: все безразличны. Лучше та, в которой требуется напряжение духовной силы».

А еще позже случился такой эпизод. Страстная любовь к Толстому, желание увидеть его своими глазами, возможно, поговорить хоть минуту, толкнула Ивана с азартом и решительностью Бунина-старшего поехать к Толстому. До Ясной Поляны, до Тулы от них было верст сто. Семнадцатилетний юноша взял свою любимую, подаренную отцом Кабардинку, на которой он так много привык скакать по окрестным местам, и отправился в путь. По дороге лежал городок Ефремов, где Ваня прежде тоже никогда не бывал, — Ефремов на самой Красивой Мечи, той, тургеневской, — тоже интересно. Он скакал весь день без отдыха, волнуясь и воображая себе предстоящую встречу. И, конечно, устал, и дня езды до Ясной ему не хватило. Устал до предела, достиг Ефремова, а здесь — ни родных, ни знакомых, денег тоже нет. Пришел в городской сад, сел на скамейку, потом прилег. И заснул. Проснулся только на рассвете нового дня, застыл. Идти не к кому, на гостиницу денег нет. А до Ясной еще немало, не доехать, — и лошадь еле жива. Пришлось повернуть назад. Вернулся, — конюх только охнул, до чего барчук загнал бедную Кабардинку. Но все же это был поступок, и все же — будто побывал у Толстого, — воображение во всяком случае дорисовало то, чего не сбылось.

Может быть, эта поездка сделала и того больше: нельзя было далее оставаться в глуши, одному, с самим собою, — великий мир вокруг, хочется вырваться, всюду побывать, все увидеть.

Так начались его юношеские, молодые, долгие скитания.

Брату Юлию отменили ссылку, разрешили жить в городах. Он уехал в Харьков, обещал выписать туда Ваню.

Росший одиноко и сосредоточенно в своей глуши барчук не так уж круто был отрезан от тех течений, очевидных и подводных, которые бурлили в ту пору, — конца одной исторической эпохи и начала другой. Уже судьба любимого брата Юлия могла сказать юноше многое: студент, близкий к народникам, потом к

революционерам, арестованный, судимый, отправленный в ссылку, очень образованный и либерально настроенный Юлий Алексеевич был типичным представителем всего демократического движения. Когда Ваня приехал к нему, то попал в среду для него новую и странную. В книге В. Н. Муромцевой живо описано пребывание в Харькове. Жил Юлий в каморке, которую снимал у еврея-портного. Брат был иным, чем в деревне: не тихим, серьезным, а веселым, разговорчивым, душой большой компании молодежи. Даже звали его здесь Жуликом, — от Юля-Жюль, но и с намеком на то, как брат провел следователей и избежал Сибири. К молодому поэту отнеслись радушно, но поэзию вообще презирали, — все заняты были политической борьбой, а не такими мелочами, как литература. Его приняли, но «он был юноша непокладистый, не скрывал своего отрицательного отношения к тому, что ему не нравилось, бросался в споры со всяким…» Жили бедно, часто проводили вечера в спорах, слушали музыку. Иногда тайно приезжал бежавший из ссылки, иной раз и какой-нибудь известный революционер; тогда все подтягивались, вели бесконечные разговоры, обсуждая политическое положение, потом за ужином затягивали революционные песни… Скоро у него оказались «друзья» и «враги», то есть те, кто для него были милы, и те, кто, по типу, были нестерпимы. (А он рано умел узнавать и распознавать людей. — М. Р.) Возненавидел он и некоторые революционные песни, главным образом за фальшь, как, например, «Стеньку Разина»… или «Из страны, страны далекой…». Особенно его возмущали строки: «Ради вольного труда, ради вольности веселой собралися мы сюда…»:

— Хорош труд: пьют, поют, едят, без устали болтают и спорят, большинство из них бездельники! Всем возмущаются, всех критикуют, а сами?..

Задевал его и язык их, совсем иной, чем язык его семьи, соседей, мужиков, мещан, — бледный, безобразный, испещренный иностранными словами и словечками, присущими этой среде, повторением одних и тех же фраз, например: «чем ночь темней, тем ярче звезды» или «бывали хуже времена, но не было подлей», «третьего не дано» и так далее.

Тем более не могли ему понравиться идеи, о которых без конца шла там речь: об освобождении, свержении самодержавия, воле для народа. Эти горячие, честные, умные головы, молодые еще люди, хотя все были постарше Бунина лет на десять, что они могли знать по-настоящему!..

Бунин, разумеется, не знал пролетариата, города, но уж русский народ, мужика он знал достаточно. Все же он

впоследствии стал автором очень знаменитой «Деревни».

Бунин поедет и в Орел потом (это особая статья), и в Одессу, в Крым, увидит впервые море, которое навсегда поразит его, и горы, и вообще иные пространства, кроме хлебных степей, снегов и все тех же небес. С художником Куровским отправится в Европу, увидит Париж, Берлин, Италию, Женевское озеро. Но все это — впереди. Прежде Европы были, конечно, Петербург и Москва.

Чего более всего хочется любому юному автору? Отзыва, оценки, толкового слушателя. Учителя. Хоть какого-то признания. Зачем было письмо и потом гонка к самому Толстому, позже — письмо и три рассказика обретшему известность автору «Пестрых рассказов» (книжка была читана и перечитана с восторгом) Антону Чехову? Послано несколько стихотворений в редакцию популярного толстого журнала «Книжки Недели». Через год-два этот журнал уже довольно часто будет его печатать. Журнал «Родина» (петербургский), опубликовавший первое стихотворение Бунина в 1887 году, напечатает затем и первые его рассказы «Нефедка» и «Два странника». Так, довольно легко и совсем рано Бунин стал на свой профессиональный путь. Нежданно-негаданно вдруг пригласили на работу в «Орловский вестник», — его редактор, «милая молодая женщина» Надежда Алексеевна Семенова. Он боялся: вдруг откроется, что он даже в университете курса не кончил, — уж не говоря о том, что у него всего четыре класса гимназии. Нет, оказывается, и Семенова, и ее муж уже читали его, знали, да и напечатали кое-что у себя. Приняли с радостью. Ему было 19 лет. Всего 19, но, — как пишет в своей книге Вера Николаевна: «Одарен он был острым умом, наблюдательностью и независимым характером. И „вышел в мир“ уже с известным жизненным багажом — знанием подлинного народа, а не вымышленного, со знанием мелкопоместного быта, деревенской интеллигенции, с очень тонким чувством природы, почти знатоком русского языка, литературы, с сердцем, открытым для любви». Немало.

Но более всего повлияли на него не столько литературные успехи, не путешествия, не новые мысли о мире и человечестве, не что-либо еще, а первая его сильная любовь, первая гибельная схватка с Женщиной.

Русскому писателю промыслительно полагается иметь исключительные, судьбоносные, необыкновенные любовные истории. Она может быть одна или несколько, самых разных, но во всяком случае число женщин в личной жизни писателя никак не окажется меньше числа самых интересных, живописных и живых героинь его поэм, рассказов, романов, вдохновительниц его творений, прототипов этих героинь, — пусть часто и придуманных, слепленных по одной только частичке, косточке, — как палеонтолог собирает древний скелет. Как будто бы, оглядывая жизнь Бунина, не видишь такого сонма красавиц, такого «списка», как пушкинский. Но! — читая Бунина, поражаешься обилию разнообразно и блестяще написанных женских характеров, портретов, судеб, — впрочем, у него и то, и другое, и третье слито всегда воедино. Да еще каждая судьба, всякая любовная история колеблется на острие обоюдоострого ножа; жизнь — смерть и потом обрывается в смерть! С ума можно сойти от этих любовных бунинских рассказов, от этих героинь, поразительных женщин!.. Вспомним «Темные аллеи»: Степа, Муза, Руся, Натали, Красавица, Зойка и Валерия, Антигона, Таня, Галя Ганская и героиня «Чистого Понедельника» — и всех и всё другое, что есть в этой волшебной, единственной на свете книге!..

Это разнообразие и многоликость замечательны и говорят сами за себя. Но все же, чтобы знать женщин, не обязательно знать множество, — достаточно с бунинской пристальностью и его чувством правды вглядеться изначально в одну.

Женщина рождает поэта: мечта о ней, очарование ею, увлечение, изучение (потому что каждая есть тайна), влюбленность, волнения, ожидания, ревность, обладание, наслаждение, — да какая еще страсть человеческая сравнима с этим!

Вся история его первой любви, к той девушке в пенсне, которую он встретил в «Орловском вестнике» в 19 лет, к Варваре Пащенко, дочери доктора, изложена отдельной повестью в «Жизни Арсеньева» — пятая часть, под названием «Лика». Перечитайте «Лику». На свете много книг о любви. Все книги о любви. Но самых лучших, может, наберется всего пять-шесть. Даже если только пять, — среди них окажется «Лика» Ивана

Бунина, русского писателя. Проверьте.

На каждой странице повести, в каждом эпизоде опять и опять поражаешься виртуозной точности писателя, беспощадной правде его психологического анализа взаимоотношений двух молодых влюбленных: их страсти, единению, слитности и отторжению, их бесконечной борьбе друг с другом, — он такой, она — другая, нежность и полное понимание сменяются раздражением, вспышками раздоров, ревности, претензий, обид.

Хочу вспомнить, пересмотреть «Лику». Знаю, многим она, к сожалению, незнакома. Не могу не рассказать своего первого, ошеломительного впечатления, своего художественного потрясения, случившегося когда-то. Я носил за собою, я всем, кому мог, читал, отдавал книгу. Какая была неподдельная, свежая радость!..

Это очень молодая книга. О первой любви, первой встрече и жизни молодых возлюбленных, юных супругов. О «последних днях моего юношеского иночества».

19-летний Бунин, как и его герой, приехал в Орел в редакцию «Орловского вестника», где и встретил Варвару Пащенко, работавшую в газете корректором, — она только закончила гимназию. Герой повести еще накануне был «одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу». У него — цыганский загар, худоба лица, запущенные волосы. Но вот другой, первый день его новой жизни. Он «отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера». С редакторшей, носящей в повести имя Авиловой, он осматривает затем какую-то старую усадьбу, похожую на ту, что была у Тургенева в «Дворянском гнезде». «Лиза, Лаврецкий, Лемм… И мне страстно захотелось любви». Он уезжает ненадолго и испытывает «странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь к которой я уже совсем верил». Он еще так юн, этот герой, мальчишка, вокруг весна, и все воспринимается им остро, восторженно, возвышенно.

Сколько бы ни оговаривался Бунин насчет «Жизни Арсеньева», что это не биографическая книга, что вся Лика, в частности, придумана, сочинена, — причем уже в старости, сто лет спустя, невозможно не подставлять вместо Алеши Арсеньева в герои повествования самого молодого Бунина с его румянцем, усиками, глазами, чувствами (есть такой молодой портрет в бурке

на плечах), — с кинематографической реальностью видишь все и всех, каждый эпизод, каждую деталь. Что хочешь делай, но сливается герой Лики с самим автором!.. (А может, подсознательно старик к тому и стремился и оттого так выпукло вышло?)

«…Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог: нужно было отвезти проценты в банк. И я повез, но заплатил только часть, остальное растратил. Это был поступок не шуточный, но со мной что-то делалось — я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно-счастливой решительностью… В Орле я непристойно нарядился, — тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, — купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Писарево — с целью купить еще лошадь — там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка… Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч». В обществе новых друзей он едет в чье-то имение на именины, и там он уже «сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее».

«…Я надолго остался после того в городе, по целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца, — отец (беспечный человек, либеральный доктор) ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Исты, и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмысленней, — моя или ее (тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся)».

Лику Бунин сочинял, но себя самого ему сочинять не надо было, — он оставался собою, только хотелось увидеть, вернуть себя того, молодого, влюбленного, одержимого, полного жизни и окруженного, погруженного в ту знакомую, дорогую, любимую им жизнь, которая прошла, но, кажется, все жила в нем в своей полноте.

Вся история происходит на фоне жизни губернского и уездного городов, деревни, природы, знакомых и неистребимо-памятных. Повесть насыщена прекрасной, старинной живописью, словно галерея или хороший провинциальный музей…

«Уже давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской… Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве: доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию, после завтрака

доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, беготней со своим рыжим Волчком… Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей — она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых, а я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральный лай Волчка, бесившегося на лестнице, сквозь слезы глядел в полузавешанные окна, на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой… Я все спрашивал себя: что делать? Было ясно, что именно. Но чем настойчивей старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо, — это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, — тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелестью ее глаз, лица, смеха, голоса…»

Так — в повести, где все выверено, смягчено, продумано, поставлено на свое место. В самой жизни роман с Варей Пащенко развивался и так же счастливо, и мучительно.

Дело упиралось в самое житейское и примитивное: доктор Пащенко, ревнивый отец, высоко ставивший достоинства дочери, никак не хотел видеть в 19-летнем мальчике жениха и мужа, который подходил бы Варваре. Она тоже была девушка с норовом, носила пенсне, привыкла к поклонникам, при всей своей эмансипированности никогда не хотела пойти против воли отца. У нее в конце концов не хватило сил на борьбу, на ожидания журавля в небе.

Для русского писателя бедность — обычная спутница жизни. Ему вечно положено жить в полунищете, вечно в погоне за деньгами, в унижении бедностью, в муках уязвленного самолюбия. Бунина не миновала чаша сия: имения были разорены, от семьи помощи не получал, — еще самому приходилось давать деньги матери, когда стал зарабатывать. Помогал немного только любимый брат Юлий, сам бессребреник. В «Лике» выразительно написан разговор доктора с Алешей Арсеньевым, где доктор пытает его: кто он? что он? говорит, что, мол, служить надо, быть кем-то, и в конце концов объявляет напрямую: «Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. И потом, позвольте говорить уж совсем откровенно: что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая и, нечего греха таить, довольно переменчивая, — нынче одно увлечение, завтра другое, — мечтает, уж конечно, не о толстовской келье под елью, — посмотрите-ка, как она одевается, невзирая на наше захолустье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорченная, я

только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам…»

А вот из жизни, одно письмо Ивана Алексеевича Варваре (апрель 91-го года): «Драгоценная моя, деточка моя, голубеночек! Вся душа переполнена безграничною нежностью к тебе, весь живу тобою. Варенька! как томишься в такие минуты! Можно разве написать? Нет, я хочу сейчас стать перед тобою на колени, чтобы ты сама видела все, — чтобы даже в глазах светилась вся моя нежность и преданность тебе… Неужели тебе покажутся эти слова скучным повторением? Ради Христа, люби меня, я хочу, чтобы в тебе даже от моей заочной ласки проснулось сердце. Господи! ну да не могу я сказать всего… Вот, например, за последнее время я ужасно чувствую себя „поэтом“. Без шуток, даже удивляюсь. Все — и веселое и грустное — отдается у меня в душе музыкой каких-то неопределенных хороших стихов, чувствую какую-то творческую силу создать что-то настоящее. Ты, конечно, не знаешь, не испытывала такое состояние внутренней музыкальности слов и потому, может быть, скажешь, что я чепуху несу. Ей Богу, нет. Ведь я же все-таки родился с частичкой этого. О, деточка, если бы ты знала все эти мечты о будущем, о славе, о счастии творчества. Ты должна знать это: все, что есть у меня в сердце, ты должна знать, дорогой мой друг. Нет, ей Богу, буду, должно быть, человеком. Только кажется мне, что для этого надо не „место“, а сохранять, как весталке, чистоту и силу души. А ты называешь это мальчишеством. Голубчик, ты забываешь, что я ведь готовил себя с малолетства для другой, более идеалистической жизни».

И тут же — само просится, — следует процитировать письмо Ивана Алексеевича брату Юлию (тоже апрель-май 91-го года): «Если бы ты знал, как мне тяжко!.. Я больше всего думаю сейчас о деньгах. У меня нет ни копейки, заработать, написать что-нибудь — не могу, не хочу… Штаны у меня старые, штиблеты истрепаны. Ты скажешь — пустяки. Да я считал бы это пустяками прежде, но теперь это мне доказывает, до чего я вообще беден, как дьявол, до чего мне придется гнуться, *поневоле* расстраивать все свои лучшие думы, ощущения заботами (например, сегодня я съел бутылку молока и супу даже без „мягкого“ хлеба и целый день не курил, — не на что).

И этакая дура хочет жениться, скажешь ты. Да, хочу! *Сознаю* многие скверности, препятствующие этому, и потому вдвойне — беда!.. Кстати о ней: я ее люблю (знаю это потому, что чувствовал не раз ее другом своим, видел нежною со мною, готовой на все для меня); это раз; во-вторых, если она и не вполне со мной единомышленник, то все-таки — девушка, многое понимающая…

Я тебя, кроме твоих советов, которые, Богом клянусь, ценю

глубоко, дорогой мой, милый Юринька, хотел просить еще места в Полтаве, рублей на сорок, на тридцать пять, да еще буду кое-что зарабатывать литературой — проживем с нею; а главное, с тобою в одном городе! Пишу несвязно, по-мальчишески — понимаю. Лучше не могу. Прощай и не называй меня дураком: мне тяжко, как собаке, — смерть моя!»

В эту пору он то и дело слезно обращается к Юлию с просьбой выслать хоть пять — десять рублей, а то и два всего — немедленно.

И далее: «Вдумайся… где мне жить? Дома? Бедность, грязь, холод, страшное одиночество — раз. Глядеть в глаза семье, перед которой я глубоко виноват — тяжело, страшно тяжело — два… В редакции — работа проклятая, сволочи они оказались при близком сожительстве — страшные. Я сам думал, что не буду работать, буду лениться иногда. Вышло иначе: я работал, как никогда в жизни…»

Родители Варвары никак не хотели принять Бунина, — это стало главной внешней точкой преткновения. Но и они сами, и он, и она мало верили в возможность своей совместной семейной жизни. А все Бунин! Его литература! Он хотел одного — писать, все остальное всегда только мешало ему, досаждало. Варвара писала Юлию: «Я вам уже говорила, что он не верит мне, а теперь прибавлю, что он и не уважает меня… Пусть он поживет хоть год без меня, может быть, у него сгладятся все эти шероховатости, и он будет терпимее…»

Однако вернемся к «Лике», ее герою, к автору, который углубленно всматривается в себя через своего героя, воссоздает, почти ногтями выскребывает из памяти, как все было. Каков он был в ту давнюю пору.

Он уже не жил «на мелок» в Дворянской гостинице, а перебрался на дешевое подворье Никулиной на Щепной площади. «Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходил темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горницы, — там была спальня хозяйки и та комната, где стояли два больших дивана, на которых спали редкие приезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина, в тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника… „Прогулялись?“ — ласково, с улыбкой милого снисхождения спрашивает хозяйка, выходя оттуда. Какой очаровательный, гармонический голос! Она была полная, круглоликая. Я порой не мог спокойно смотреть на нее — особенно в те вечера, когда она, вся алая, возвращалась из бани и долго пила чай, сидела с еще темными, влажными волосами, с тихим и томным блеском глаз, в белой ночной кофточке, свободно и широко покоя в кресле свое чистое тело, а ее любимая

шелковисто-белая с розовыми глазами кошка мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук: стряпуха затворяла с улицы крепкие сплошные ставни… в комнате становилось еще уютнее… Дикие чувства и мысли проходили тогда во мне: вот бросить все и навсегда остаться туг, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, под мерный бег будильника!»

Но далее происходит новая встреча с Ликой, в поезде, ночь близости. Кажется, счастье. Но… «это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно и душевно». Он любит ее, ждет, ревнует, она медленно, но верно остывает, устает.

Его продолжают мучить неопределенность, зыбкость, непонимание. Он хочет писать, работать, — как написано это в вышеприведенном письме. «Потом все чаще стало мелькать в уме: о такой ли жизни я мечтал! Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами! Все это только пока, теперь? Ну а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности: этот „вечный раздор между мечтой и существенностью“, вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне». Как он в самом деле еще молод, хотя кажется себе взрослым! Как проявляется и прорывается его нелегкий даже ему самому характер!..

Бунин замечательно фиксирует разницу их натур, взглядов, с тончайшей психологической точностью, наблюдательностью. Он ничего не позабыл, не пробросил походя. «— Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему, — сказала она раз. — Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя…

И точно: по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил — особенно на людях — минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать — и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я, действительно, чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с

ней и как страдал, не достигая ее!»

Бунин не стесняется признания в своей ревности, подозрительности, — таков его опыт, его знание жизни и людей!..

Последующие сцены еще интереснее, взяты наверняка близко к натуре.

«Я часто читал ей стихи.

— Послушай, это изумительно! — восклицал я. — „Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!“

Но она изумления не испытывала.

— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему „как месяц над рощей“? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.

Я негодовал: описаний! — пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась:

— Это только пауки, миленький, так живут!

Я читал:

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли…

Она спрашивала: — Какие змеи?

И нужно было объяснять, что это — метель, поземка…

Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре: она слушала с беспощадным безучастием».

Поэту нужен слушатель, сподвижник, все понимающий и чувствующий, как он сам. Варя Пащенко была девушкой земной, практической, поэзия и литература были для нее слишком высокими материями.

Но зато она любила театр и сама участвовала в любительских спектаклях. Вообще мечтала стать актрисой.

В «Лике» есть убийственные страницы на этот счет.

«Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками

и сладким говорком изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, эти Фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями, — все это приводило меня просто в содрогание! А опера! Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь вопреки всем законам естества и связанными в коленках. Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: „Ты взойдешь, моя заря“, мельник из „Русалки“ с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак! В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались: теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в „Записках сумасшедшего“, и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски-радостном и все растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом: „Се-го-дня-шне-го дня…“ Вот, на другой день, он еще великолепнее притворяется Любимом Торцовым, а на третий — сизоносым, засаленным Мармеладовым: „А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?“… Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой, до трех часов ночи, и я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского».

Стоит отметить, что именно такой театр не принял чеховской «Чайки», не мог ее исполнить, и востребовались Станиславский и Немирович, чтобы сделать иной театр. Напиши Бунин вдруг пьесу, ее бы постигла участь «Чайки».

«…Я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко

впадал в тоску, в отчаяние; однако легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает: тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным».

Прекрасно пишет Бунин провинциальный бал, и себя, и ее, затем, с не меньшим ядом, чем о театре, рассказывает и о любительском драмкружке, где участвует Лика, и о любительском спектакле.

Все не нравится ему, — все, что отнимет ее у него.

Варвара Пащенко, девушка в пенсне, была дитя своей эпохи, декаданса, свободы, вседозволенности, эпатажа, высокомерия ко всему «старому», гордыни и любви лишь к себе самой, — полна того, что коробило и мучило Бунина с его дворянской щепетильностью и презрением к новым веяниям, всякому излому и неправде. Варя играла свою игру, она открыто искала, где и что лучше, уставала от обыденного и рутинного. Мечтала о блеске и благополучии.

«…Теперь у меня было еще одно страдание, еще одна горькая „неосуществимость“. Я опять стал кое-что писать, — теперь больше в прозе, — и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье! — и какой душевный труд!..»

Сие есть важный момент писательского мастерства. Далеко не каждый даже профессиональный писатель, — в размышлении и поиске, что и как писать, способен «образовать» в себе это «нечто»: оно образуется из всей его личности, жизни, взгляда на мир, душевного настроения, — душевный труд, в самом деле, так просто, авось, с потолка не возьмешь.

«…Я написал и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно: один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею, другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой, между тем как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р., и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкапе и вечно, вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность».

История Лики длится еще долго — в повести, в жизни все было более кратко и резко.

Из «Лики»: «Когда мы были в Батурине, брат Николай

говорил: — Жаль мне тебя от души! Рано ты поставил крест на себе!

Но никакого креста на себе я не чувствовал.

Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение: неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь детей? Последнее — дети, дом — представлялось мне особенно нестерпимым.

— Вот мы с тобой повенчаемся, — говорила она, мечтая о будущем. — Все-таки я этого очень хочу, и, потом, что может быть прекраснее венчания! У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы?

Что-то сладко и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучивался: — Бессмертные творят, смертные производят себе подобных».

Так — в «Лике», но, надо думать, так же было и в жизни. Он-то хотел только писать.

Бунин учил английский — для себя, ему нравилось, но и не без меркантильной надежды заработать переводами, поскольку разорение Алексея Николаевича уже достигло апогея. Это увлечение кончилось переводом «Гайаваты» — безусловно первоклассным, лучшего на русском языке нет.

Он увлекся в какой-то момент толстовством, сойдясь с толстовцами, — то ли из своей любви к Льву Николаевичу, то ли в самом деле вдруг приняв идеи опрощения, бескорыстия и т. п., и даже пошел работать физически, набивать обручи на бочки, — кончилось разочарованием. И все равно, все равно ото всего он опять уходил в свою работу, скорее, скорее. В 1891-м много сил и нервов ушло на то, чтобы избежать призыва в армию, — подошел его срок и его могли забрать на целых три года простым солдатом — не хуже, чем в нынешние времена. Никаких льгот у него не было, а была, напротив, как раз в самом разгаре история с Пащенко, и он больше солдатчины и войны боялся, что взбалмошная и странная возлюбленная три года без него не продержится в верности и терпеливом ожидании.

От воинской повинности его спасло то, что вытащил дальний жребий — 471, к тому же доктор Пащенко, обмерив его, крикнул, что объем груди ниже нормы, — обошлось, зачислили в синебилетники, — таких призывали только во время войны.

Не потревожила его даже неожиданная болезнь. Однажды, путешествуя с Варей по Смоленской губернии, — поехали в Рославль, много ходили пешком, потом искупались где-то в

ключевой воде, — Иван Алексеевич простудился, доктор нашел плеврит, велел лечиться, угрожая туберкулезом, — но не тут-то было, исконное, бунинское, отцовское легкомыслие взяло верх — обойдется! — хотя, по словам Веры Николаевны, это пораженное левое легкое мучило его до глубокой старости.

Они переехали к брату в Полтаву, Бунина устроили в Управу библиотекарем, а Варю туда же на 15 рублей жалованья. Но из семейной жизни в самом деле ничего не вышло. Иван Алексеевич увлекся как раз толстовцами, уехал в Харьков. Возле Вари оказался старый их друг Арсик Бибиков, в имении которого когда-то в начале своего романа они провели несколько счастливых дней. Теперь Арсик сделал предложение, и Варя приняла его. Варя попросту бежала, оставив Бунину сакраментальную записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом». Вера Николаевна Муромцева писала в своей книге, что потом всю жизнь у них в семейном обиходе гуляла эта фраза.

Это была смертельная рана. Бунин так страдал, что родные опасались за его жизнь. Он три часа бегал по Ельцу у дома Бибиковых, потом отправился на вокзал, уехать домой, в деревню, но был так плох, что даже боялся ехать один. У него пошла кровь носом, он ослабел. «А потом ночью пер со станции в Огневку, и, брат, никогда не забуду я этой ночи! Ах, ну к черту их — тут, очевидно, роль сыграли 200 десятин земельки».

Что ж, как положено русскому писателю, и любовь выпала ему трагическая, гибельно-прекрасная, гибельно-обманная. Переворотила душу, оставила горестный след, на всю жизнь протянула свою длинную тень. «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана».

Страница в романе о хозяйке подворья Никулиной, эпизоды с редакторшей Авиловой, о неопределенной симпатии к ней типичны не только для Алеши Арсеньева, героя, но и для автора: Иван Алексеевич немало увлекался разными девушками и женщинами, и — особенно после разрыва с Варей: по-прежнему хотелось любви, оставалась неутоленной потребность в человеке близком, любящем и любимом. Он все искал, все стремился куда-то, при всей своей значительности, изрядной важности был он быстр, непоседлив, «охота к перемене мест» была типичной его чертой.

Его будущая жена в своей книге о нем напишет: «Нашла запись, объясняющую эту непоседливость: „Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его… Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и „сезонными толчками крови“ у людей…

Совсем, как птица, был я всю жизнь!“»

Из письма Людмилы Сергеевны, баронессы Врангель, дочери писателя Елпатьевского: «…Иван Алексеевич был еще не женат, когда бывал на наших вечеринках у Александры Аркадьевны Давыдовой… Наша юная компания… собиралась здесь часто. Это были М. И. Ростовцев и его любимая ученица, моя подруга Соня Кульчицкая, дочь Давыдовой Муся, вышедшая впоследствии замуж за А. И. Куприна, сыновья Михайловского, Гайдебурова и разные молодые люди, доставававшие нам билеты в „Александринку“ на Комиссаржевскую и в „Мариинку“ на Валькирию с Литвин…»

В редакции «Нового слова» Иван Алексеевич познакомился с молодой писательницей, сестрой профессора философии Льва Михайловича Лопатина, писавшей под псевдонимом «К. Ельцова», Екатериной Михайловной.

Прошло много лет. Другая писательница Галина Кузнецова (о ней и Бунине речь впереди) в своем «Грасском дневнике» записала: «5 июня 1931. Вечером во время прогулки В. Н. (Вера Николаевна, жена Бунина. — М. Р.) сказала, что Катерина Михайловна (Лопатина) днем рассказывала ей о том, как И. А. когда-то был в нее влюблен и каким он был.

И. А. рассказал: Мне тогда шел двадцать шестой год, но, конечно, в сущности мне было двадцать. Однако Катерина Михайловна вовсе не была „взрослей“ меня, хотя ей было 32–33 года и выросла она в городе. Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатывания — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда, в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того, она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал Вл. Соловьев. В сущности, знала она очень мало, „умные“ разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что-нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней, как к женщине. Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом… Кто я был тогда? У меня ничего не было, кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен

до того и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к Х.: „Выходите за меня замуж…“ Она расхохоталась: „Да как же это выходить замуж… Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить…“ Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с Х. был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей.

В. Н. — Все-таки она думала, что И. А. больше в нее влюблен. Она была очень задета его женитьбой через два месяца после предложения ей…

И. А. — Да, и тоже был поступок идиотский. Поехал в Одессу и ни с того ни с сего женился. А о Катерине Михайловне думал потом с ужасом: что бы с ней делал? Куда бы я ее взял?

Он еще рассказал, между прочим, что когда К. Мих. смеялась над ним, он как-то сказал ей: „Вот увидите, я буду известен не только на всю Россию, но и на всю Европу!“»

Несомненно, обида, ревнивое чувство отмщения, невытравленная и отравленная любовь к Варваре вскоре толкнули его в другую историю, не менее печальную, но на этот раз даже с некоторым оттенком фарса.

Из многих городов, по которым он бродяжничал, Бунин особенно любил Одессу. Море, корабли, порт, — все действовало на него крайне возбуждающе. Да и сам город был хорош. Да еще подружился там с людьми, которые надолго стали близкими: молодые одесские художники, литераторы, журналисты, — Куровской, Федоров, Нилус группировались вокруг популярных «Одесских новостей». Бунин тоже печатался, подрабатывал в этой газете, стал бывать в семье редактора, одесского грека Н. А. Цакни. Его двадцатилетняя дочь Аня, истинная красавица, пышноволосая, большеглазая, торопилась поскорее стать взрослой, носила вуаль, шляпки, смело ходила в ресторан, была окружена поклонниками. Бунин опять попал в домашний театр! Мачеха Ани, «мамаша Ираклиди» собирала в доме музыкантов, певцов, — здесь разучивали и ставили целые оперы. Аня обычно сидела за фортепьяно. А в Одессе бушевала весна.

Отзовется потом в «Гале Ганской», написанной уже в 1940 году, в Грассе, когда будут писаться «Темные аллеи»: «почему-то вспомнилась одесская весна…вся ее совершенно особенная прелесть — это смешение уже горячего солнца и морской еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской…» Бунин гулял с Аней над морем, ездил в имение к Цакни со всей большой компанией, случалось, ночевал у них на балконе. Его

манила эта девушка, ее необычная восточно-еврейская красота, молодость, сильное молодое тело, фиалковые глаза. Душа его была изранена и пуста — этот вакуум не так трудно было заполнить общением и увлечением новым, неожиданным. Хоть и не склонен был к юмору и юмористического не писал, но позже, в «Жизни Арсеньева» Иван Алексеевич разделается с этими операми, доморощенными певцами, мамашей, которая, похоже, в свою очередь, увлеклась молодым красивым писателем и ревновала к нему дочь.

Бунин гулял с Аней, ужинали кефалью с белым вином, но между делом меркантильно прикидывал, каковы доходы папаши Цакни и не будет ли со временем возможности прибрать к рукам его популярную газету. Он даже писал об этом брату Юлию, как всегда делясь с ним своими новостями и планами. К слову, сотрудничая в газете, Бунин напечатал в ней стихи В. Брюсова — Брюсов где-то вспоминает об этом. Все же главное — заглушить, изжить в душе горькую память о Варваре. Сидя с Аней вечерами над морем, он читает ей стихи, целует руки. Девушке нравится, но у нее тоже есть цель: ей двадцать лет, хочется поскорее, поскорее определить свою судьбу. «Мамаша» также ведет атаку на потенциального жениха, — она-то нюхом чует его незаурядность, его перспективы. 23 сентября уже было венчание, — довольно быстро, всего-то лето прошло. Бунин повез молодую супругу в Москву и Петербург, провинциальная девочка прежде мало что видела и понимала. В Москве попали на открытие нового, Художественного театра, на первое представление «Царя Федора Иоанновича», а на обратном пути из Петербурга даже на «Чайку» Чехова.

Из семейной жизни, однако, ничего опять не получилось. Аня запиралась от мужа в своей комнате, «мамаша» влезала в каждую мелочь, репетиции и оперы продолжались, и Бунину все более хотелось лишь одного: бежать, уехать, оказаться поскорее в любимом Васильевском, где ждут его знакомый дом, его комната, стол с пачкой чистой бумаги, перья и открытое в сад окно. «Языческая похоть» к юной Ане уже улетучилась, она к его страсти относилась безразлично.

Через год Аня родила сына, Колю, вскоре они с Буниным расстались. Милый Коля пожил лишь до пяти лет, не принеся Бунину радости отцовства. Его маленькое фото он хранил всю жизнь, до самых последних дней.

Те одесские дни, сама юная Аня отразились во многих рассказах, некие черты Ани достались даже выдуманной Лике.

Свою новую, неожиданную любовь Иван Алексеевич встретил

только в 1906 году в Москве, — это была Вера Николаевна Муромцева, дочь Н. А. Муромцева, члена Московской городской управы и племянница С. А. Муромцева, председателя Государственной Думы. Бунин познакомился с Верой Николаевной в семье Бориса Зайцева, уже известного в ту пору писателя, с которым они дружили всю жизнь, особенно в годы эмиграции. Вера Николаевна была красивая московская барышня, весьма образованная, окончившая естественный факультет Высших женских курсов, самостоятельная, прекрасно знавшая литературу, театр, музыку, владела немецким, французским, итальянским, английским, переводила на русский Флобера и других французских писателей. Была моложе Бунина почти на десять лет. Конечно, совсем другой тип женщины, другой характер, нежели эмансипированная, революционно настроенная Варя, носившая пенсне и всегда вступавшая в отчаянную борьбу за «принципы», или наивная, провинциальная одесситка Аня Цакни, терявшаяся перед мощным напором бунинского ума, не понимавшая его главной страсти — любви к литературе. Вера Николаевна удивительно быстро нашла ключик к страстной и неуемной натуре Ивана Алексеевича, очень скоро стала ему подлинным другом, подлинной женой, заботливой и всепонимающей.

У них начался красивый роман, типично московский: с театрами, концертами, Бунин много встречался в эту пору с писателями, вошел полноправно в московскую литературную среду, подружился с Куприным, Андреевым, Горьким, редакторами, издателями.

Они не могли сразу пожениться — не был расторгнут брак с Цакни. И произошло их венчание много-много лет спустя, в 1922 году, уже в эмиграции.

Они отправились в свое первое длительное путешествие, которое всегда называли свадебным. А Бунин будто повенчался с Востоком: обрело реальность его стремление и пристрастие к древности, к истокам иных цивилизаций, к познанию вечности. «Меня влекли все Некрополи, все кладбища мира!..»

Готовясь к поездке, Бунин снова и снова читал Библию и Коран, в путь взял Саади. Они выехали из Одессы в начале апреля 1907 года, а 15-го уже были в Константинополе, Вера Николаевна записывает в дневнике: «Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады, кладбища… Он знает Константинополь не хуже Москвы». Затем Мраморным морем, через Дарданеллы плывут в Грецию, в Афины. Все возбуждает бунинское воображение, все воздействует на него чрезвычайно. Он думал: не уехать ли на несколько лет из России, совершить кругосветное

путешествие, побывать в Африке, Южной Америке, на островах Таити. Из Греции поплыли дальше: Африка, Александрия, затем Египет, Иудея, Иерусалим, Хеврон, Вифлеем. «Бунин вынул записную книжечку, что-то записал в ней.

— Ты много записываешь? — спросила я.

— Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если сразу не войдет в меня, то, значит, душа моя этого не принимает и не примет, что бы я ни делал».

Из Иерусалима, через Яффу, морем, отправились на север; в Ливан и Сирию, в города Бейрут, Баальбек, Дамаск. Двое суток провели на Тивериадском озере и через Хайфу — обратно в Египет, в Каир, видели Нил, пирамиды. Бунин говорил: «Всякое путешествие очень меняет человека», потом говорил: «Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все представлять себе, а уж если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. Редко кто умеет передать душу страны, дать правильное представление о ней».

Однако в пути Бунин все читал Саади и восхищался им.

В. Н.: «Когда мы опять были в Галате, Ян неожиданно сказал: —„А мое дело пропало — писать я больше, верно, не буду…“

Я посмотрела на него с удивлением.

— Ну да, — продолжал он, — поэт не должен быть счастливым, должен жить один, и чем лучше ему, тем хуже для писания. Чем лучше ты будешь, тем хуже…

— Я, в таком случае, постараюсь быть как можно хуже, — сказала я, смеясь, а у самой сердце сжалось от боли».

Вот так, даже в самые счастливые дни, в прекрасном пути, с любимой женщиной, он все равно думает о том, как писать, как лучше писать.

Это первое путешествие будто спроецировало всю будущую жизнь Бунина и Веры Николаевны, полную скитаний, перемен стран, мест жительства, городов, его нервной и беспрестанной работы, ее помощи ему, понимания и преданности. Они прожили вместе сорок шесть с половиной лет.

РЕМЕСЛО

Литературная слава Бунина между тем росла. Хотя в литературе наступила новая эра — символистов, а Бунин не принимал символизма, но в частной жизни, разумеется, он оставался своим в среде литераторов, участвовал в общих вечерах, выступлениях, салонах, банкетах, как водилось в ту пору.

Вождь символистов Валерий Брюсов мало жаловал Бунина, но в 1900 году, создав издательство «Скорпион» и став его редактором, выпустил книгу стихов Бунина «Листопад» (1901). «Скорпион» издавал Верхарна, Гамсуна, Верлена, Эдгара По, Малларме и Рембо, или «своих» — Бальмонта, Мережковского, Гиппиус, Сологуба. «Листопад» попал сюда почти случайно. Но, к счастью, выдвинул резко Бунина вперед среди современных поэтов. Хотя немало было и критики, и «выходило так, — говорил сам Бунин, — что нет писателя более тишайшего („певец осени, грусти, дворянских гнезд“ и т. п.) и человека более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда».

Тем не менее за «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» Бунин получил свою первую Пушкинскую премию (1903). Вторую Пушкинскую он получил за стихи и переводы в 1909-м, и тогда же был избран почетным академиком.

После «Листопада» вышли «Новые стихотворения» (1902). Брюсов в «Новом пути», в рецензии, подписанной «Аврелий» (Валерий слышится), решил показать Бунину, каков он есть на самом деле. Брюсов взял стихотворение «В Альпах» и вот что понаписал: «Первый сборник стихов г-на Бунина „Листопад“ был записной книжкой наблюдателя. „Да, это бывает“, — вот все, что можно было сказать о его первых стихах. В „Новых стихотворениях“ г-н Бунин неожиданно переходит на иную дорогу. Он перенимает темы парнасцев и первых декадентов… К своим новым темам Бунин относится совершенно так же, как раньше к природе. По-прежнему его стихи остаются вне его личности и вне его жизни. Только сферой его „наблюдений“ стали уже не поля и взморья, а книги и преимущественно сборники стихов. Своим наблюдательным взором г-н Бунин подмечает у действительно *новых* поэтов красивые приемы, красивые образы, красивые чувства — и воспроизводит их, даже не без некоторого мастерства. Если первые его стихи могли иметь значение для ценителей „стихов о природе“, то „новые стихотворения“ будут несомненно интересны тем, кто не знаком с их иностранными и русскими оригиналами… Образцы г-на Бунина — это вчерашний день литературы. Характерны для него стихи о том, как он вырезал „стальным клинком сонет“ на какой-то альпийской вершине. — „Смотрело только солнце, как стилет чертил мой стих по изумрудной льдине“, — гордо сообщает г-н

Бунин и прибавляет, что его стихи вырезаны „лишь для того, кто бродит по вершине“. Увы! то, что господин Бунин считает вершинами, — не более, как модные „климатические станции“, куда давно проведены удобные funikulaire'ы. Там „бродят“ только туристы с бедекерами в кармане и биноклями в руках. Несомненно для них-то и вырезал г-н Бунин свой стих „стилетом“ на льдине, и произошло это событие отнюдь не на высотах Гауризанкара или Эльборуса, а, наверное, где-нибудь на Пилатусе или Риги-Кульм».

Вот так доставалось иногда Ивану Алексеевичу, — так шла вечная российская литературная борьба!..

Несколько слов из «Начала века» А. Белого: «…И является Бунин, Иван Алексеевич, — желчный такой, сухопарый, как выпитый, с темно-зелеными пятнами около глаз, с заостренным и клювистым, как у стервятника, профилем, с прядью спадающей темных волос, с темно-русой испанской бородкой, с губами, едва дососавшими свой неизменный лимон; и брюзжит, и косится: на нас, декадентов, которых тогда он весьма ненавидел, за то, что его „Листопад“ в „Скорпионек“ не шел (а до этого факта тепло относился он к Брюсову); я его, юношей, страшно боялся; он, перемогая едва отвращенье к „отродью“ ему нелюбезных течений, с непередаваемой дрожью, отвертываясь, мне совал кисть руки; и потом, стервенясь (от припадков сердечных, наверное, в нем развивавшихся от одного моего неприятного вида), бросал свои взоры косые, как кондор, подкрадывающийся к одиноко лежащему раненому…»

Бунину ближе были участники горьковского «Знания», телешовской «Среды»: между этими группами и «скорпионами» всегда происходили трения. Впрочем, с Брюсовым они как-то примирились, — между ними даже велась переписка, но рецензию об «Альпах» Бунин не забывал никогда.

Бунин так и не сошелся с декадентами, а что думал о них, высказывал без обиняков. Уже в эмиграции, в начале тридцатых, резко разошелся с их корифеем Мережковским и Зинаидой Гиппиус, которых всегда не любил (как и они его).

Хотя дело, конечно, не в этом, не в Шопенгауэре и Ницше, и «своих ребятах», Константине Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Вяч. Иванове, Брюсове, Белом, Бальмонте, Мережковском. Дело все же во времени, в эпохе, в необходимости и наступлении нового, современного, как во всем, так и в литературе, в искусстве. Русский декаданс, русский авангард наступал достаточно самобытно и мощно. Нельзя было по-прежнему, тихо-спокойно, следуя старым, проверенным законам и наработанным правилам, ни картины писать, ни книги и стихи, ни на театре играть, ни

дома строить. Сам Толстой боролся и мучился со своей «художественностью», «литературой», боясь неправды.

Между тем проблема и много сложнее и проще. Бунин сам был модернистом, одним из лучших. Ведь ни Горький, ни Андреев, Зайцев, Замятин, ни сами Толстой и Чехов не писали такой прозы, какую поистине изобрел и создал Бунин. Феноменальную, новую, сверхсовременную.

Ремесло, школа, традиции, мастерство — это одно; подлинный творец, в отличие от просто мастера, всегда совершает открытие, прорыв, создает нечто новое в своем деле. Великие художники отличаются друг от друга, каждый вырос сам из себя и неповторим.

Мир изменился, разорвался, разрушился, человек тоже. Человеческую психологию, внутренний мир каждого уже невозможно передать средствами «реализма». Психологизм самого Толстого кажется искусственным, чересчур «выстроенным»: люди не размышляют столь долго и подробно, мир чувств быстрее, резче. По Бунину, вообще поведением человека руководят не сознательные волевые усилия, а инстинктивные импульсы, малые взрывы чувств.

Поэзия — есть Божья любовь, разлитая в мире. Душа поэта устроена — ловить ее, передавать другим. Д. С. Лихачев, говоря о прозе Б. Пастернака, сказал немало того, что прямо относится к прозе Бунина: «Он объединял поэзию и прозу как единое искусство слова… Пастернак писал: „Не отделимые друг от друга, поэзия и проза — полюса. По врожденному слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, предается затем импровизации на эту тему…“ Искусство по Пастернаку, — продолжает Лихачев, — создается не творцом, а действительностью. Поэзия разлита в мире. Она не в поэте, а в окружающем. В образе преображенной действительности она является творцу, как некогда являлась поэтам Муза. Мир сам говорит с поэтом и заявляет о себе в его поэзии. Пастернак пишет: „Искусство реалистично как действительность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело…“ Внутренний мир поэта необыден, внешний же мир обыден. Поэтому поэзия, самая праздничная, самая богатая неожиданностями, самая торжественная, слагается из обыденностей, но в их необыденном положении — в их активности, в их вторжении во внутренний мир поэта. „Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии“, — пишет Пастернак… Вторжение во внутренний мир всегда внезапно, всегда победительно и производит решительные изменения…

Факты действительности сгорают в художественном творчестве. Их мало, но они вспыхивают метафорами (они названы), превращая действительность в фейерверк поэтической праздничности… они врываются в сознание поэта, они диктуют ему мысли, как поэтические поступки… и, больше того, диктуют ему стихи и прозу».

Бунин не изучал, подобно Пастернаку, философии в Москве и Марбурге, вообще мало теоретизировал, — его наитие, природный дар сами вели его верным путем: не игра в форму, не замена условностью реальности, а поиск простоты, искренности, поиск «метафоры в природе», переход от «приемов» и рутинных принципов в прозе ко все более открытому, «очерково-дневниковому авторскому „я“» вместо нагружения этим авторским «я» измышленных героев, искренность и исповедальность поэта — вот его путь в прозе. Можно только дивиться тому, как устроен был его чувствующий аппарат, — постичь этого все равно не дано: тайна.

В статье Иосифа Бродского «Поэт и проза» есть слова: «Отбрасывание лишнего, само по себе, есть первый крик поэзии — начало преобладания звука над действительностью, сущности над существованием: источник трагедийного сознания».

Бунин краток не ради краткости, а оттого, что в жизни, если вглядеться, все кратко, мимолетно, мгновенно. Он часто отсекает начало «истории» и как бы с конца начинает, с финала, потому что знает эту жизненную обычность: стянуть все в последний узел, к последней точке, — а все нагроможденное до того, сама эта «история» мало обязательны для искусства, для поэзии.

Еще из статьи Бродского, опирающегося в основном на прозу Цветаевой: «Со дня возникновения повествовательного жанра любое художественное произведение — рассказ, повесть, роман — страшатся одного: упрека в недостоверности. Отсюда — либо стремление к реализму, либо композиционные изыски. В конечном счете каждый литератор стремится к одному и тому же:,настигнуть или удержать утраченное или текущее Время. У поэта для этого есть цезура, безударные стопы, дактилические окончания; у прозаика ничего такого нет. Обращаясь к прозе, Цветаева вполне бессознательно переносит в нее динамику поэтической речи — в принципе, — динамику песни, — которая сама по себе есть форма реорганизации Времени… какова бы ни была тема повествования, технология его остается той же самой. К тому же повествование ее, в строгом смысле, бессюжетно и держится, главным образом, энергией монолога».

Как нельзя более, кажется, относится это и к бунинской прозе: несомненны ее монологичность и неповторимость

интонации, — музыка его прозы.

И еще одно соображение Бродского: «…дело в различиях между искусством и действительностью. Одно из них состоит в том, что в искусстве достижима — благодаря свойствам самого материала — та степень лиризма, физического эквивалента которому в реальном мире не существует. Точно таким же образом не оказывается в реальном мире и эквивалента трагическому в искусстве, которое — трагическое — суть оборотная сторона лиризма — или следующая за ним ступень».

Весьма подходит тоже Бунину! «Реалист» Бунин, обладающий чувством и проникновением в космическую цельность мира, отказывается от его линейности, прямолинейности: его художественный мир отрывочен, фрагментарен, эпизодичен, высоко лиричен и столь же трагичен: покоя и порядка в нем нет.

Мы уже говорили, он писал рассказы как стихи: на выплеск, сжато, точно, на одном дыхании.

Читатели и критика изрядно удивлялись (да и писатели тоже), когда видели, что Бунин часто печатает свои вещи в символистских изданиях — «Золотое руно», «Перевал», «Корабли», «Факел», «Гриф», «Шиповник». При том, что одни хвалили его за «модернизм», другие — за верность традициям. И ругали, соответственно, — за то же.

Самого Бунина это не смущало. Он дело делал.

Стиль Бунина всегда узнаешь и ни с кем не спутаешь. Напряжение, высокая нота его фразы, особые сложносоставные эпитеты, пристрастие к оксюморону (холодный пламень, горячий лед и т. п. — несовместимость, сшибка противоположных понятий, дающих неожиданный эффект) — таковы его отличия. Кстати, об этом много и подробно сказано в одном из лучших исследований о писателе — книге Юрия Мальцева («Иван Бунин», Посев, 1994).

Другое дело, что он не впадал в отчаяние декаданса, не фантазировал на темы то прошлого, то будущего, то потустороннего, не уходил от жизни в чистое искусство, в условность, в чистую форму. Он просто писал по-своему, и это уже было ново, странно, непривычно. Он с младых ногтей занят был тем, как писать, — какие же еще нужны искусственные поиски? Его форма рождалась всегда слитно с содержанием, образуя единый сплав, один стиль.

Он слышал музыку времени, — она была иной, чем прежде.

Бунин сжимает и сжимает прозу: «сгущенный бульон» уже кажется ему не так крепок, он свивает слова в пружину, он приходит к самоценности всего одной фразы, к емкости назывных предложений, к самодостаточности блестяще исполненного

фрагмента. Является многозначность подтекста, как у более поздних писателей нового века. Прорывается то и дело почти киношный, сценарный стиль. Характеристики, портреты все суше, строже. Давно отставлены в сторону «за-вязка-кульминация-развязка»; никаких экспозиций, лишних описаний. Рассказ может начаться с финала, автор — перейти в «я» героя или, наоборот, писатель сосредоточен на мысли, на самом главном, говорит как бы только сам с собою, мало заботясь о бегущем за ним вниманием читателя. Так впоследствии будет писать Фолкнер. Из друзей-противников — только Сологуб, Мандельштам, Пастернак. Позже — Булгаков, Платонов, затем и многие из советских писателей.

Конечно, это совсем новая проза. Отчего же Бунин так сердит на декадентов, не сходится с ними, злится?

Он движется своим путем, — как убежден, самым верным. То, что он делает, — не формалистика, не игра в литературу, не подмена реальности лишь отображением представления о ней, он хочет быть правдивым до конца, реалистом до конца, ему не до фокусов. Поэтому он суров и строг. Он рыцарем стоит на страже русского стиха, ненавидит все эти «дыр-бул-щир».

Между прочим, в «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой (еще не раз придется обратиться к нему) есть такое место о стихах Ивана Алексеевича: «…изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры, и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства… Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнажения души…»

Вероятно, это дельное и близкое к истине замечание. Но неисповедимы пути творчества! — кто может знать, — и сам творец стихов не знает, — возможно, так предопределено было свыше: не обнажить душу даже в стихах, чтобы сделать это с огромной силой в будущей прозе! Писатель лучше знает свой путь, верит своему наитию, и — в конце концов выигрывает! А как и когда — не суть важно.

История произвела свой водораздел: мы не причисляем к декадентам, — к целой плеяде талантливейших русских поэтов, прозаиков, философов, составивших собою то, что называется теперь «Серебряный век», — ни Л Н. Толстого, ни

Ф. Достоевского, ни А. Чехова, ни М. Горького, ни Бунина.

Казалось бы, шли все вместе, жили и работали в одну эпоху, шли тесно, плечо в плечо, но история отчего-то отделила «чистых» от «нечистых». Хотя, возможно, есть какая-то ошибка в этом слишком строгом счете, и мы, уже далекие потомки, продолжаем твердить то, что утверждалось и канонизировалось чопорной и малограмотной послереволюционной, «красной» критикой, просто мстившей русскому авангарду, поскольку весь цвет его, — кто сам, а большинство не по своей воле, — оказался после революции в изгнании, в эмиграции, гордо держал голову, не преклоняя ее пред узурпаторской властью Ленина-Сталина.

Судьба в этом смысле слегка поиздевалась над Буниным: в конце концов ему пришлось провести вторую часть жизни среди тех и с теми, кого он так резко не хотел принять в дореволюционную пору.

Впрочем, и потом он продолжал стоять на своем, принципы его не изменились.

Очень трудно согласиться с Буниным, не принимавшим напрочь многих современных ему поэтов. Все же, сам поэт, знаток поэзии и литературы, как мог не принять и свысока смотреть на Блока, Белого, Цветаеву, Ахматову, Мандельштама, Волошина, Георгия Иванова, Ходасевича, Пастернака. Ругал футуристов и Маяковского, но не видеть в Маяковском поэта вообще — как можно? Могла не нравиться Зинаида Гиппиус, обзывал ее мошенницей, — но как не оценить, не отметить таланта и души Цветаевой? не чувствовать Ахматову?.. Какое-то чрезмерное предубеждение. Оценил и принял Твардовского, — написал добрые слова о «Василии Теркине», и как же при том ругательски ругать Есенина?.. Ни слова лестного о Гумилеве, Мандельштаме, Пастернаке, будто их вовсе не существовало, но они были, были! уж вровень-то стояли с ним, — нет, молчание, отказ, неприятие. При том есть одно письмо Бунина (1950) Л. Ржевскому, — о чем сообщил лучший у нас исследователь биографии Бунина А. Бабореко, — где сказано: «Естественно, — пишете вы, — что „реалист Бунин не приемлет символизма Блока“! Называть меня реалистом, значит… не знать меня как художника. „Реалист Бунин“ очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе».

Чем же объяснить такое неприятие «своих», тоже близких «символической мировой»? Упрямым, ядовито-желчным характером? Упорным консерватизмом, отсутствием какого-либо смирения и гордыней, чрезмерно высокой самооценкой, не позволявшими поставить кого-либо вровень с собою или выше себя?.. Может быть, видя чужой талант, он ревновал, возможно,

любое отступление от канона, классики, Пушкина заставляло его, — он не был просто злым никогда, — Рыцаря литературы, тут же хвататься за меч, вздымать копье?..

Приходится признать, жизнь отомстила Ивану Алексеевичу тем, что по сей день многие мало читают и ценят его как поэта, всячески превознося его прозу. Так было и при жизни: символисты отвечали ему таким же неприятием или недооценкой его поэзии.

Впрочем, довольно хоть немного сойтись с поэтами, подружить с ними, пожить в этой среде, повариться, чтобы узнать, как этот замечательный народ тщеславен, капризен, ревнив, пристрастен друг к другу. Древо нашей цивилизации выросло из греческого семени, все оттуда, и ежегодные конкурсы поэтов-драматургов не могли не образовать в конце концов ген соперничества, соревновательности, — кто лучше?.. «Там жили поэты, — сказал Блок, — и каждый встречал другого надменной улыбкой». Каждый про себя думает, что он лучше всех, и, конечно, метит на первое место, и лидеры идут посменно. Поэты знают весь свой клан, они готовятся к своим незримым турнирам, как красотки к конкурсам, вступают на подиум столь же капризно-кокетливо, так же красуясь и заражаясь один от другого, перенимая по-обезьяньи манеры, ужимки, самый шаг, принятый модой и условиями, ими же самими означенными. Актерство, лицедейство, интриги, подножка ближнему, восторг и зависть, братство и братоубийство, — все здесь. Главное — отличиться. Потому можно прихвастнуть, приврать, распустить павлиний хвост, подразниться. Как дети. Детски-чисты поэты и, бывает, детски-жестоки. Есть старый анекдотец, как слон с мышкой в прятки играли или взапуски бегали. И слон нечаянно на мышку наступил. «Ах, мышка! извини, я не хотел, я нечаянно, прости, маленькая!» — «Да что ж, — ответила мышка, ничего, слон. Такая игра». Вот и у поэтов — «такая игра», что поделаешь.

Удивительно все же это свойство таланта, — а здесь лучше сказать гения, — верить в свою правоту, быть судьей и другим, и, главное, себе, — «Ты сам свой высший суд», по Пушкину, — он не принадлежит ни к какой партии, заряжаясь ее идеологическими установками, ни к религии или секте, чтобы руководствоваться их догматами и жестокими законами, хотя он несомненно верующий человек. Более всего он верит в себя, в свою звезду, свое предопределение. А точка отсчета его, критерий — тоже свой, один: жизнь. Он уже знает ее и подумал о ней достаточно. Жизнь — великое счастье, и великая трагедия, человек мал, одинок и бессилен, праздник жизни заключается непостижимым таинством смерти, разум и душа живут в непрерывной борьбе, эмоции

переплетаются и движутся в душе самыми невероятными противоречивыми сочетаниями. И все же есть истина жизни, и она едина и проста: идти, двигаться, изменяться. Есть единое время: сразу и прошлое, и настоящее, и предстоящее, и день наступающий ничем не лучше, не надежнее проходящего или предыдущего. «И вот я… отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, — главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах… „Все читаете, все книжки выдумываете“. А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» («Книга», 1924)

Да, конечно, он жил, чтобы писать. Он все бросал, отторгался, иной раз чуть хитря, уходил отовсюду — из Харькова, из обеих столиц, из Орла, где так кипела-проходила его любовь, из Ялты от Чехова, с которым было так приятно, душевно дружиться, из Крыма, который обожал, из Одессы, — отовсюду стремился он в свое любимое Васильевское. Работать! Вырабатывать себя! Добиваться совершенства. Чехов, повторим, сказал, что его рассказы трудно читать, задыхаешься, — они так насыщены, словно двойной бульон; это уже была особая, бунинская проза.

РЕЧЬ О ЛИТЕРАТУРЕ

Он разошелся с символизмом так же, как разошелся с революционно-демократическим движением. Декаданс ведь, в сущности, тоже пришел с Запада, из Европы, и вся русскость Бунина, его преданность русской культуре и литературе отчасти и поэтому сделали его противником символизма и даже борцом против него.

Можно немало говорить на эту тему, но все равно не скажешь лучше самого Ивана Алексеевича. Он очень рано, единожды и навсегда сказал все, что думал об этом. Известная, популярная газета «Русские ведомости» осенью 1913 года праздновала свой полувековой юбилей. После юбилейного заседания состоялся, как водилось, большой, на 680 персон банкет в «Славянском базаре». Среди прочих слово было дано почетному академику И. А. Бунину. Вот главная часть его наделавшей шуму речи:

«Приветствую „Русские ведомости“ с благодарностью за то, что дали они русской литературе, и за их отношение к ней. Не останавливаюсь на том, что непосредственно прошло через „Русские ведомости“ и осталось в литературе: столбцы их украшались именами бесспорными — именами Толстого, Чернышевского, Салтыкова, Глеба Успенского, Чехова, Короленко. Отмечу только то, что имена эти были не случайными на этих столбцах, что они не терялись в пестром списке других имен, что до последнего времени окружены они были именами, если и меньшими, то всегда приблизительно того же порядка и ценности определенной, устойчивой, а не созданной теми или иными обстоятельствами. Другая заслуга „Русских ведомостей“ не менее, если не более важна: это — позиция, которую занимали они по отношению к литературе за последние пятнадцать, двадцать лет, и воздействие их на нее, прямое и косвенное. Трудно учесть это воздействие, каждодневное воздействие всякой газеты; но несомненно, что оно огромно, а у нас и за последнее время — особенно.

Наша читающая масса еще малокультурна; газета для нее еще в новинку и действует на умы резко. А потребность в газете растет с каждым днем… А мы — еще далеко не европейцы; мы еще не чувствуем в той мере, как европеец, грани между печатным словом истинно литературным и так называемым бульварным; да у нас еще и не обозначилась как следует эта грань. „Нам печатный лист все еще кажется святым“, — сказал Пушкин, и мы еще должны помнить эти слова. У нас не редкость, что не только газета, претендующая быть литературным органом, но и журнал уделяет столько же места и столько же серьезности при разборе „Хаджи Мурата“, как при разборе произведения, недалеко ушедшего от какого-нибудь „Разбойника Чуркина“. Мы еще не совсем понимаем, что такое реклама, — мы, как провинциал: видим вывеску — „центральный магазин“ — и полагаем, что этот магазин и впрямь центральный. Подумайте же, что означает для нас газета в то время, когда мы с такой быстротой европеизируемся, порождаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной, пестрой жизнью… А ведь писатель испытывает влияние двойное, — власть и газеты, и толпы. Много ли тех, что могут противиться этой власти, жажде нравиться толпе, жажде вырвать у нее славу, даже хотя бы скандальную? Таких стойких всегда было мало, а у нас, теперь, особенно мало, да иначе и быть не может: ведь и писатель наш мало культурен, он не менее нервирован сменой событий и настроений и столь же мало подготовлен к нашей новой, ломающейся жизни, не говоря уже о том, что русская

действительность сделала все возможное, чтобы искалечить нас, что она дала нам такие ужасающие контрасты, как шестидесятые, семидесятые годы, а вслед за ними — восьмидесятые, дала девяностые — и начало девятисотых!

Вы, господа, слишком хорошо знаете, чем была русская жизнь за последние двадцать лет, знаете все радостные и все уродливые или ужасные явления ее. Чем же была русская литература за эти годы? По необходимости отвечая на этот вопрос кратко, в самых общих чертах, я должен твердо сказать, что уродливых, отрицательных явлений было в ней во сто крат более, чем положительных, что литература эта находилась в периоде во всяком случае болезненном, в упадке, в судорогах и метаниях из стороны в сторону. И тысячу раз был прав Толстой, когда говорил: „На моей памяти совершилось поразительное понижение литературы, понижение вкуса и здравого смысла читающей публики“. Толстой причину этого видит в развитии рекламы, в приспособлении писателей и вообще печатного слова ко вкусам и интересам наибольшего числа потребителей, ко вкусам всегда грубым и низким, по его определению.

Но у нас в России есть и другие причины этого падения художественных произведений и вообще печатного слова. Каковы же эти причины? На мой взгляд, вот одна из них. Был известный уклад в русской жизни, тяжелый во многих отношениях, но — уклад. Он должен был разрушиться, исчезнуть — и почти исчез. Была известная культура, не глубокая, не имевшая крепких, вековых корней; она тоже осуждена была на исчезновение еще в те дни, когда „порвалась цепь великая“. Успела ли эта культура создать себе преемницу, основать прочные культурные традиции? Вы знаете, что нет. Писатель — „разночинец“ шестидесятых, семидесятых годов еще дышал этой культурой, да и само время определяло его путь, направляло его. Этот „разночинец“ странствовал, спивался, страдал, болел, но это была другая болезнь, это были муки совести, сердца, — и вы знаете, что это сердце бывало порою поистине „золотым сердцем“.

Теперь в литературу пришел новый „разночинец“, духовный разночинец, уже совсем почти традиций лишенный, сбитый с толку годами восьмидесятыми, девяностыми, а, кроме того, и тем, что должно было встретиться с ним, — европейскими влияниями. Я говорю не о всех представителях современной литературы. Я говорю о типе писателя, еще так недавно преобладавшем. Каков же этот писатель? Он, мало культурный, чуть не подросток во многих и многих отношениях, и начал и жил эксцессами, крайностями и — подражанием, чужим добром. Он нахватался лишь верхушек кое-каких знаний и культуры, а

возгордился чрезмерно. Он попал в струю тех течений, что шли с Запада, — и охмелел от них, и внезапно заявил, что и он „декадент“, „символист“, что и он требует самой коренной ломки всего существующего в искусстве и самых новейших форм его (как будто форма отделима от содержания, как будто форма не есть последствие, порождение индивидуальности таланта и того, что он хочет сказать). Конечно, все это было бы совсем смешно, когда бы не было грустно: грустно потому, что нет действий без причин, а на причины — и горестные — я уже указывал; смешно же потому, что разве не нелепо было это требование баррикад и битв за свободу в литературе русской, одной из самых молодых, одной из свободнейших и разностороннейших литератур в мире? Понятны были литературные революции в Европе, эти битвы классицизма с романтизмом, романтизма с реализмом там, где были долголетние твердыни их. А во имя чего начался наш бунт? разве не у нас был Пушкин и почти рядом с ним — Лермонтов, Лев Толстой — и Достоевский, Фет — и Некрасов, Алексей Толстой — и Майков? Разве не с чужого голоса закричали мы и продолжаем кричать?

Да, так вот каково было, господа, начало. Нужно ли мне напоминать дальнейшее? Здесь не место и не время для этого. Я только напомню вам, какое невероятное количество школ, направлений, настроений, призывов, буйных слав и падений видели мы за последние годы! Послушайте писателя нового типа: он, на своем пошлом жаргоне, своими устами или устами своего критика — и чаще всего газетного — скажет вам, что он создал несметное количество новых ценностей, преобразовал прозаический язык, возвел на высоту и обогатил стихотворный, затронул глубочайшие вопросы духа, „выявил“ новую психику, поставил себе великие „задания“, стремится к великим „достижениям“ и „возможностям“, он, не стыдясь, назовет себя „мудрым“, „многогранным“, „дерзновенным“, „солнечным“… А меж тем, за немногими исключениями, не только не создано за последние годы никаких новых ценностей, а, напротив, произошло невероятное обнищание, оглупление и омертвение русской литературы:

> Не многое исчезло: совесть, чувство,
> Такт, вера, ум… Растет словесный блуд…

Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота (вот они, критерии Бунина! — М. Р.) — и морем разлились вульгарность, надуманность, лукавство,

хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости — называемой „виртуозностью“ — стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы, к которому можно чувствовать теперь уже ненависть, ибо ведь „все можно опошлить высоким стилем“, как сказал Достоевский. Вы вспомните, господа, чего только не проделывали мы с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись! Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением „проблемы пола“, и боготворчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и „пролеты в вечность“, и садизм, и снобизм, и „приятие мира“, и „неприятие мира“, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом „футуризм“. Это ли не Вальпургиева ночь! И сколько скандалов было в этой ночи! Чуть не все наши кумиры начинали свою карьеру со скандала! И какую поистине огромную роль играла в этом газета!..»

А крутенек, как видите, бывал милый и интеллигентный Иван Алексеевич. И зол, яростен, и какой темперамент, — его подлинный темперамент!..

Но еще. Чуть далее. Стоит дослушать эту великую речь.

«„Русские ведомости“ не есть эта газета. „Русские ведомости“ одна из тех немногих газет, которые никого не рекламировали, не гонялись за сенсацией, не создавали скороспелых репутаций, со спокойствием отмечали плюсы и минусы писателей и перворазрядных и второстепенных. „Русские ведомости“ проявляли отношение неизменно беспристрастное даже и к тем, которые после шумной „славы“ падали и подвергались в других изданиях, ранее превозносивших их, издевательству. „Русские ведомости“ отмечали, — конечно, с своей точки зрения, с которой можно и не соглашаться, — все ценное даже и у тех, которые по общему своему направлению совсем не подходили к ним. „Русские ведомости“ замалчивали нелепости литературы последних лет, справедливо полагая, что то внимание, которое, в угоду толпе, обращалось на них, лишь содействует их развитию, их популярности, хотя бы и скандальной.

„Русские ведомости“ протестовали против тех течений в

литературе, которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать полную разнузданность все себе позволяющей личности, прославлять под видом утонченности самый простой и старый, как мир, разврат, искоренить идеи общественности, разрушить веру в силу разума и нагонять мистические туманы, шаткие метафизические построения, часто нарочито сочиненные, собственного изделия и весьма слабо продуманные, прославлять смерть, квиетизм и даже самоубийство. „Русские ведомости“ порою указывали и на происхождение того, чем жила наша литература за последние годы: на общую расшатанность, неустойчивость нашей общественной мысли и неорганизованность общественного мнения, на нашу подражательность Европе, большею частью жалкую, ученическую, — очень нередко сводившуюся даже к плагиатам, — на низкие стремления выделиться не оригинальностью, а оригинальничаньем, на что имелся особо бойкий спрос со стороны нашей уродливо формирующейся буржуазии и всех праздных слоев общества, на увлечение некоторых из писателей, хотя и искренних, но неспособных, вследствие отсутствия истинной культурности разобраться в явлениях жизни, в различных теориях, смешивающих движение вперед с чисто дикарским отрицанием заслуг всех своих предшественников, несовершенство научных методов с крахом науки, дерзновенные полеты мысли с дерзостью, рост и разносторонность индивидуальности с развращенностью ее…»

Вот вам обвиненный сто крат в дворянском презрении общественных проблем академик и «небожитель» Иван Бунин! Какой строй речи, какой пафос, знание и глубочайшее понимание всех проблем жизни!

Речь заканчивается таким образом: «Толстой в статье, которую я цитировал, особенно упирает на те подделки под художественные произведения, которые в таком огромном количестве появляются в наше время, и на роль газеты, журнала, критики, проводящих в жизнь эти подделки. „От газет, журналов, критики, — говорит он, — зависит вся будущность просвещения европейского мира“. Господа, за „Русские ведомости“ вы могли быть спокойны. „Русские ведомости“ — один из самых благородных органов печати во всей Европе. Поклонимся же им за это благородство».

Какая поразительная серьезность, даже величавость, какой поистине хозяйский гнев, — кто смеет поганить русскую литературу! Какие почести благородной газете! Уж Бунин ли это в самом деле? Да, Бунин. И его понятие о литературе, понимание ее и преклонение перед *настоящей* и гнев против поддельной.

Вот так он и с современной ему, *новой* литературой разошелся, — тоже, как с женщиной, из-за слишком большой любви и обмана.

Не продолжаю историю этой речи, хотя она, разумеется, вызвала самые резкие и обиженные отзывы Бальмонта, Брюсова, Арцыбашева, Балтрушайтиса, Зайцева и других писателей, в которых Бунин и метил. Газета «Голос Москвы» провела летучий опрос и потом напечатала ответы писателей. В свою очередь Бунин еще раз на эти мнения ответил, — и не менее резко. Оспорить его никому не удалось.

Иван Алексеевич Бунин был философ. Подобно самым древним в мире жрецам, египетским ли, буддийским, или подобно поздним греческим, которые познавали мир, задавая друг другу вопросы и отвечая на них по мере знаний, Бунин в своем одиночестве и сосредоточенности всю жизнь занят был тем же: познанием, сопоставлением одного с другим. Кто-то сказал: философия начинается с удивления. Это очень подходит Бунину: мир непрестанно удивлял его. Всегда влекла древность. Он тщился постичь Время, — что это? Где граница меж прошлым, нынешним и будущим? И есть ли она вообще?.. Смерть — тайна, и жизнь — тайна. Живя, не узнаешь жизни. Надо остановиться, оглянуться, задуматься. Он любит читать Саади: «Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество… Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей…Я коротал дни с людьми всех народов по колоску с каждой нивы…» («Тень птицы», 1907)

Бунин, начиная писать свою прозу, хочет уйти от стереотипов, от беллетристики. Он пишет прозу как стихи: кратко, собранно, лично. Ему нет охоты рассказывать, пересказывать, конструировать, — я передам, я выражу *свое* впечатление, *свой* взгляд, понимайте сами, как хотите.

Среди первых знаменитых его рассказов есть «Сосны» — краткая словно бы поэма о зимней ночной метели в лесу, смерти и похоронах в деревне Платоновке сотского Митрофана, — без всяких лишних описаний, объяснений автор, без подставного рассказчика, от *себя* повествует об этой метельной ночи, о гуле вьюги и леса, о лежащем в своей избе покойнике Митрофане, о дне похорон его: мир полон красок, жизни, зимнего солнца, пушистого снега, красоты гигантских сосен с зелеными их кронами. Зрелище покойника, знаки смерти, горе людей, ужас рассказчика, — здесь же все воедино. Красота Мира многозначна, слишком насыщена, таинственна. «Тонко пахло свежим снегом и

хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек… Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду… Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни…»

Прочтешь этот рассказ и будто заглянешь в пропасть, — такое остается чувство. В пропасть жизни? Смерти? Времени? Вечности?.. Нелегко объяснить, но впечатление именно такое, несомненно.

Это рассказ 1901 года, когда Бунин пишет уже много, широко, все более уверяясь в себе самом, своем стиле, — и своей правде.

Есть, между прочим, фотография этого года: Бунин очень красив, тонкое лицо, усы и бородка, ладный сюртук, галстук с белым стоячим воротничком, белые манжеты с выступающими из них кистями «изящных рук». Вид покойный, взгляд остро-открытый, ни глаза, ни светлый лоб ничем не омрачены. Приличный, вполне благополучный господин, по виду ни за что не скажешь, что пишет такие далеко не веселые рассказы. И что так знает эту, кажется, должную быть далекой от него какую-то Платоновку, зиму, вьюгу, просеку с гудящими соснами, какого-то Митрофана.

А между тем…

А между тем уже в 1899 году произошла всероссийская стачка студентов. И именно с нее, по новейшей истории, и началась *русская* революция.

Конечно, как и многое прочее, революция пришла к нам с Запада (теперь толкуют, чуть ли не с Петра Великого). Но есть, однако, исторически и резко очерченная русская революция. Сто лет она витала в воздухе, начиная с 1812 года, с возвращения армии из Европы, — в этом смысле Наполеон не виноватее Петра, — вернулись, огляделись, — оказывается, *так жить* нельзя. Россия была вечно влюблена в революцию, — так у Гоголя каждая женщина влюблена в черта, — и Россия любила и выгревала ее, змеюку, на своей груди: «Вольность» Пушкина, Радищев, Рылеев, декабристы, Герцен… Жизнь, как всегда, коварно обманула и все повернула по-своему. Свобода, равенство и братство обратились — во что? Свобода — в свободу для одних, в оголтелый эгоизм и индивидуализм; равенство — в равенство для равных; братство — в братоубийство и человеконенавистничество.

Кто ж знал! (Кто знал — того не послушали, да и поздно было.)

Может быть, начиная еще с тех молодых харьковских социалистов возникла бунинская неприязнь, непримиримость ко всему революционному, и разошлась его дорога с дорогой русской революции.

Впрочем, как же разошлась? Другое дело, что его туда не втянуло, — служить этой революции, воспевать ее, остаться с нею. Но именно революция изломала его судьбу, отняла у него родину, Россию, перевернула весь привычный мир.

Они никогда и не могли сойтись.

Иван Алексеевич Бунин, философ и знаток своей страны, своего народа, — как и всего мира, всего мирового пространства и времени, — не мог поверить в то, что обещали, чем плакатно размахивали. Он верил в другое и другое знал: материальное — еще не все, социальное — далеко не все, человек — не есть просто пролетарий или буржуй, всех проблем человеческих не решить разом, а тем более силком, напором.

В этот период, перед самой революцией, несмотря на столь мрачные мотивы в стихах и прозе, личная жизнь писателя идет довольно бурно, активно, можно сказать, радостно. Его много издают, читают, знают, — он известен не только кругу профессионалов-писателей, но и читающей публике… У него бывают вечера в Политехническом, в Петербурге, он выступает, читает сам свои стихи и рассказы, участвует в юбилеях, литературных собраниях, присутствует на панихидах, обедах, премьерах. Слава Богу, он теперь обеспечен, нищенская юность позади, он может позволить себе что хочет: поездки, покупки, рестораны. Единственно, чего у них нет с Верой Николаевной — своего дома: уж это, видно, на роду ему было написано, навсегда, — кочевать, жить по гостиницам, по гостям, чужим городам.

Что же, все было во имя главной цели: я жил, чтобы писать…

Однако…

«Две трети всех сил своей жизни я убил на этот будто бы необходимый для меня труд. Но жил все-таки не затем, чтобы только писать. Хотел славы, похвал, даже посмертной памяти (что уже бессмысленнее всего). Но всегда содрогался от мысли о том, что вот будут после моей смерти (без меня) сохнуть на полках библиотек мои книжки, от представления о моем бюсте на могиле под кладбищенской сенью или в каком-нибудь городском сквере, где в летнее предвечернее время с идиотским визгом будут носиться друг за другом вокруг него, вечно немого, неподвижного, тонконогие мещанские дети. На постаменте: „такому-то“, а к чему все это? Кто об этом „таком-то“ думает?

Ниже две даты: год рождения, год смерти, с чертой между ними, и вот эта-то черта, ровно ничего не говорящая, и есть вся никому не ведомая жизнь „такого-то“… просто в земле, как тысячелетнюю древность, как тот или иной лик или след легендарных времен, какой-то незапамятной жизни со всеми ее первобытными (на взгляд нашедшего) людьми, одеждами, обычаями, жилищами, утварью — и вечной, вовеки одинаковой любовью мужчины и женщины, ребенка и матери, вечными печалями и радостями человека, тайной его рождения, существования и смерти.

Тот, кто умер за две, три тысячи лет до нас, и подобия не имеет того, кто умер и погребен полвека тому назад в нашем мерзком гробу, в сюртуке или мундире, и в покойницких туфлях. Две, три тысячи лет — это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, печальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей…»

Вот, например, заметный в его биографии небольшой московский период. 17 января 1910 года Художественный театр отмечал пятидесятилетие со дня рождения А. П. Чехова. В. И. Немирович-Данченко обратился к Бунину с просьбой почитать воспоминания об Антоне Павловиче. «Немного. Минут 15–20».

В театре присутствовало множество друзей и почитателей Чехова. «В литерной ложе с правой стороны сидели родные…: мать, сестра Мария Павловна, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья, — не помню». — Это поздняя запись самого Бунина. — «Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антон Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.

Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу».

Впрочем, такое предложение они делали Бунину еще когда-то в Ялте, в тот знаменательный приезд театра в Крым, когда специально приехали показать Чехову «Чайку» и «Дядю Ваню», и на его Белой Даче в Аутке днями толпились артисты, шутили, читали наперебой Чехова, — Бунин уже тогда сошелся тесно со всеми.

19 января состоялось «чеховское утро» в университете, здесь тоже собралось множество профессоров, преподавателей, писателей, читали Чехова Москвин и Качалов. А Бунин снова свои

воспоминания и рассказ Чехова «В усадьбе».

Вера Николаевна вспоминала: «Чуть ли не на другой день после чеховского праздника обедали у Ольги Леонардовны Книппер… Там я познакомилась и с Марией Павловной Чеховой, она пригласила нас в следующее воскресенье к себе на обед».

Бунины впервые встретились с молодым Михаилом Чеховым, еще учеником театра. Впоследствии Бунин увидит его на сцене и будет восхищен игрой в «Сверчке на печи», а затем и в «Потопе».

В эти дни на одной из телешовских «Сред» — здесь Бунин бывал на правах уже полноправного члена — Леонид Андреев читал свою знаменитую пьесу «Дни нашей жизни», еще чуть позже — другую пьесу «Гаудеамус». Бунину понравилось, хотя у него были довольно сложные отношения с Андреевым. В 1910 году в интервью газете «Одесский листок» Бунин рассказал: «Как знают читатели, я никогда не был в восторге от нынешних модных писателей, а в том числе и от г. Л. Андреева. Когда я писал о произведениях г. Андреева, что они туманны и хаотичны, не художественны и бессодержательны, некоторые из господ читателей осыпали меня строгими нотациями… Заблуждение публики не может быть бесконечным. Публика скоро отрезвилась…»

Более тесные и более дружеские отношения из «модных» складывались у Бунина с Куприным, с Горьким.

7 февраля 1910 года праздновался тридцатилетний юбилей «Русской мысли», — чествовали основателя и издателя В. М. Лаврова. Давался по всем правилам банкет. Выступали литераторы, деятели театра: А. Грузинский, Немирович-Данченко, Бунин в том числе, как постоянный автор журнала.

Но снова и снова, несмотря на светскую суету, Бунин сидел и работал над «Деревней» — она оставалась главной его заботой в ту пору.

Чтобы работать спокойно, Бунин уехал из Москвы в Одессу. Повесть уже ожидал «Современный мир», где работала жена Куприна Мария Карловна. Ею была послана Бунину телеграмма: «Не отдавайте повести никому до переговоров с нами». В те годы писатели имели возможность выбирать себе издание или издателя, которые предлагали хорошие условия, солидные гонорары. То есть существовали нормальные, во всем мире и всегда принятые взаимоотношения между писателем и издателем. Бунин отдал первую часть повести в «Современный мир» 10 февраля. А 20-го писал Куприной: «Дорогой друг, вчера послал вам корректуру „Деревни“. Простите, что немного запоздал, — я был в Ефремове, в Тульской губернии, — очень больна моя мать».

Приехав в Одессу, Бунин действительно засел за работу. Хотя

они с Верой Николаевной собрались в новое путешествие, и уже были выправлены заграничные паспорта.

Первая часть «Деревни» вышла в мартовской книжке «Современного мира», остальное Бунин обещал дать в апреле и мае.

Так бывает: кажется, писатель целиком погружен в ту вещь, которую делает, — и даже срочно, подгоняемый не только своим запалом, но уже и внешним обязательством, но что-то еще до конца нё додумано, чего-то не хватает, что-то требует проверки, дополнения, и нервы заставляют переключиться на другое, занять себя другим, отвлечься. Не так-то легко идет «Деревня», требует углублений и уточнений, но Бунин вместе с Верой Николаевной все-таки отправляется вдруг в новый вояж за границу, — путешествие, как часто бывало, выручает его, — возможно, необходимо новое возбуждение, осмысление написанного. Они едут в Вену, Милан, в Геную, затем в Ниццу. Переписываясь с Горьким, который в это время живет на Капри, — Бунин обещает непременно навестить его, — и вот теперь они отправляются и на Капри.

«ДЕРЕВНЯ»

В «Грасском дневнике» Г. Кузнецова пишет, как однажды спросила И. А., как он писал «Деревню», с чего началось.

«— Да так… захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в 4 дня. И на год бросил.

— А вторая часть?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву, почему-то в июле. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут и получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал…»

Это горькое признание на удивление связывается со всем трагическим, отчаянным настроением «Деревни», — видимо, такое личное переживание, горе смерти матери может дать писателю то состояние, настроение, которое способствует созданию наиболее глубокого и верного по отчаянию произведения. Горе-злосчастье, как ни странно, всегда продуктивнее для бунинского мастерства.

Бунинские «деревенские» рассказы 1910-х годов почти все жестко-реалистичны, насыщены картинами явно обличительными, — жестокой, тупой, нищей жизни, образы их мрачны или печальны, жизнь беспросветна («Веселый двор» например, или «Сила», «Древний человек»). Но «Деревня» самая откровенная, наполненная многопересеченными между собою событиями, образами, философией, и написана всех гуще, ярче. Вот ярмарка, например: «…была всегда шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечеру по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами… Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями…

Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых

сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах: подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цвета…»

Кажется, стоишь перед полотном какого-либо русского художника, в зале или мастерской, где разбросаны по стенам или стоят на полу в безрамных холстах этюды к нему, портреты многочисленных живописных персонажей. Суриков вспоминается, «Крестный ход» репинский, Нестеров, Корин.

Если вспомнить о портретах, то «Деревня» богата и образом брата Кузьмы Ильича, и ставшего классическим образом Молодой, ее мужа Родьки, и Серого, и Дениски.

Кроме ярких русских типов и живописных картин полна повесть откровенных и нелицеприятных разговоров о Руси, русском народе — эти тяжелые, убойные характеристики тоже поражали и поражают читателя.

Разговор с Кузьмой:

«… — Я, видишь ли, — анархист…

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, — драть шкур не буду.

— Да и времена не те, — вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще, — драть-то».

Русский писатель всегда искренен. Вообще Бог русской литературы — правда. А искренность предполагает и заставляет говорить что думаешь, о самом любимом, в том числе: о семье ли, о родителях, возлюбленных, о родине, родном народе. В этом — учителя и Примеры — опять Пушкин, Гоголь, Грибоедов, «дедушка» Крылов, Тургенев, Гончаров, уж не говоря о Чаадаеве, Чернышевском, Герцене, Аксакове, Лескове. Бунин писал ту Русь, которую видел, понимал, открывал то, что лежало на душе.

Писатели, как подросшие и оперившиеся дети, вечно спорили, роптали, делались непокорны устойчивым семейным порядкам. «Отцы и дети»! — кричали обществу; «Обломовщина»! «Мертвые души»!.. «Горе от ума»! «Униженные и оскорбленные»!.. «Бесы»! «Господа Головлевы»!.. «Тарелкины»!

Хотел или не хотел Бунин, но «Деревней» стал в ряд обличителей. Нет, конечно, совсем не желая того, не идя следом за тем же Горьким. Просто он так видел жизнь, так понимал ее и

человека в ней. И выходило — правда.

В чем же секрет этой прославленной повести? Все, все ее читали, обсуждали, говорили, писали о ней, — самую большую славу принесла она Бунину — дореволюционному. Впрочем, Горький, например, никогда не прерывавший своей внутренней связи с Буниным, любя его и восхищаясь, даже в советское время, в 1931 году собирался переиздать ее: «Ничего, что он — барин, белогвардеец, дореволюционную деревню изобразил жестоко и правильно».

Пожалуй, в этом «жестоко» и надо искать секрет. Жестокая, злая, свирепая повесть, такая же, как и герой, Тихон Красов, новый тип хозяина, из бывших крепостных, кулака, кровопийцы и мироеда. Нет, нет, впрочем, оставим сразу эти отжившие, отшумевшие словечки. У Бунина, как всегда, все сложнее и проще, — и хотя много сказано злого даже про революцию, про самый русский народ, дорвавшийся до бунта, до пожара хозяйской Дурновки, — но не тот это пожар, не тот народ, который сто лет любила и воспевала вся русская литература, — о где ты, детский, пушкинский, идеальный кузнец Архип из «Дубровского», что приказных в избе запер и сжег, а за кошкой, бегавшей по горящему сараю, полез на крышу!..

Может показаться, Бунин сгущает краски: столь нищ, грязен, уныл клопиный быт деревни, — даже в глазах, в восприятии все видевшего, не среди оранжерейных роз прожившего Тихона Кузьмича. Настроение у Тихона — никуда, злое, агонизирующее, и Бунин беспощаден: ясно, как самому ему невыносимы более этот быт, низкие страсти, вся эта жизнь.

Горький написал Бунину в декабре 1910-го серьезные слова о «Деревне»: «Конец „Деревни“ я прочитал — с волнением и радостью за Вас, с великой радостью, ибо Вы написали первостепенную вещь. Это — несомненно для меня: так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал. Можно бы говорить о Льве Николаевиче, но „Утро помещика“ и прочее — это другая эпоха, и это эпизоды из жизни Толстого. „Мужики“, „В овраге“ — тоже эпизоды — простите! — из жизни ипохондрика. Я не вижу, с кем можно сравнить Вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это — ново. *Так* еще не писали».

Бунин очень вырос и изменился в эти годы своих первых «настоящих» рассказов. Сами рассказы, как это бывает с писателями, влияли на автора, оттачивали и взгляд, и мысль, и само перо.

Вот строки из итальянского дневника Веры Николаевны: «Хотя мы платили в „Погано“ за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку от Горьких, что нас просят к завтраку, а затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, послушать рассказ или обсудить „животрепещущий вопрос“»…

«…17 марта. Именины Горького, танцы, тарантелла, мандолина, стихи…»

«…Ян всегда был в ударе. Нужно сказать, Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но все же *главное* любили по-настоящему…»

Это главное — несомненно литература, художество.

И еще: «Последнее наше пребывание на Капри было тихое, мы продолжали почти ежедневно бывать у Горьких. Иногда втроем — писатели и я — гуляли. Они часто говорили о Толстом, иногда не соглашаясь, хотя оба считали его великим, но такой глубокой и беззаветной любви, как у Ивана Алексеевича, я у Горького не чувствовала…»

Русскому писателю — при всей многомиллионоликости родного народа и величия родимой географии — предопределено всю жизнь чувствовать свое отчаянно-отчетливое одиночество. Потребность в человеке близком, слушающем и понимающем покрывали в изрядной степени любимые женщины, — пирамиду увенчала и вершину заняла в конце концов Вера Муромцева. Роль близкого друга, наставника, почти отца выпала на долю Юлия Алексеевича, — хорошо иметь такого старшего брата: умного, образованного, по-на-стоящему близкого, любящего, помогающего. Идеалом, эталоном литературным оставался, пусть далекий физически, — всегда самый близкий в душе Толстой. Но хорошо еще иметь сотоварища, соратника, сподвижника по профессии, по поколению, — писатели обычно так и входят в литературу своим кланом, своей когортой. Отчего не сойтись было Бунину ближе с Куприным, Короленко, Андреевым, даже Потапенко? Что произошло с Горьким, — казалось бы, наиболее близстоящим, возраставшим в ту же пору, принятым и одобряемым любимым Чеховым? Дружба с самим Чеховым носила все же оттенок отношений учитель — ученик, старший — младший, знаменитый — начинающий, хотя душевно и идейно все складывалось хорошо, а по бытовому, житейскому даже попросту, едва не родственно: можно было пожить и поработать в Белой Даче в отсутствие хозяина, как это случилось однажды

зимой.

Всегда страстно влюбленный в настоящую литературу коллекционер талантов Горький прямо-таки с ума сходил по Бунину, — какие письма писал, какие слова говорил! Отличал его как самого лучшего из современных писателей, восторгался и стихами и прозой особенно. Почти подобострастно, до самоуничижения возносил его до небес перед другими. Печатал в своих сборниках «Знание», помогал. Бунин писал: «„Знание“ сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в „Сборниках Знания“ кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он (Горький) — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил».

А вот в воспоминаниях Владислава Ходасевича о Горьком есть такая забавная страница: «…Дука — домашнее прозвище Горького… В эпоху первой эмиграции, когда Горький жил не в Сорренто, а на Капри, его тогдашняя жена М. Ф. Андреева старалась создать легенду вокруг него. Домашней прислуге, лодочникам, рыбакам, бродячим музыкантам, мелким торговцам и тому подобной публике она рассказала, что она — русская герцогиня, дукесса, которую свирепый царь изгнал из России за то, что она вышла замуж за простого рабочего — Максима Горького. Эта легенда до крайности очаровала романтическое воображение каприйской и неаполитанской улицы, тем более что Андреева разбрасывала чаевые с чисто герцогской щедростью. Таким образом, местная популярность Горького не имела ничего общего с представлением о нем как о писателе, буревестнике, певце пролетариата. В сущности, она была даже для него компроментантна, потому что им восхищались, как ловким парнем, который сумел устроиться при богачке, да еще герцогине, да еще красавице. Все это рассказывал мне Максим, который терпеть не мог свою мачеху. Думаю, что отсюда же возникло и прозвище Дука, то есть, герцог».

Они были слишком разные. Во всем. Бунин — всегда эстет, аристократ, дворянин, не скрывавший, а подчеркивавший принадлежность к своему классу, древнему роду. Он чуть свысока и даже почти брезгливо говорил о мнимо-простонародном происхождении и корнях Горького, а тот восхищался его дворянством, повторял, что Бунин — последний представитель дворянской литературы, давшей всех «главных», от Пушкина до Толстого. Горький носил свою рабочую блузу с кожаным ремешком, грубые сапоги, заправленные в них штаны, широкую шляпу, пускал слюну в мундштук, гася папиросу, — этот наряд переняли у него Скиталец и Андреев, и однажды, в фойе Художественного театра, встретив всех троих, так одинаково

одетых, Бунин не удержался пошутить: «Вы что, охотники?..»

Бунин любил одеваться наимодно, наикрасиво, — всегда твердые воротнички, галстук лучшего качества. Любил носить белое, шляпы, канотье, красивые кепи. При этом Бунин всегда был беден, а под старость просто нищ, еле сводя концы с концами, а «пролетарский» писатель, издававшийся по всему миру, а в советское время имевший необыкновенные тиражи, жил постоянно богато и благополучно. Горький, примыкавший к революционно-демократическому движению, постепенно сошелся с социал-демократами, стал «буревестником» революции, а затем сблизился с Лениным, с большевиками. Бунин всегда сторонился даже народничества, не любил никакой революционности, а революцию просто отринул, а затем и проклял, оставив из-за нее любимую свою Россию. Горький никогда не знал и не любил мужика, деревню, говорил о них в годы революции тоже горькие и суровые слова. Бунин, выросший в деревне, писавший о единстве, о нерасторжимости мужиков и «бар», плакавший об уходящей, умиравшей на его глазах патриархальной Руси, написал об этом самые пронзительные свои рассказы, свою «Деревню», которой так восхищался Горький. Горький заклеймил власть «народных комиссаров» в своих «Несвоевременных мыслях», не раз уезжал, покидал Россию, в конце концов разошелся с Лениным, — но — вечный мастер компромисса, — вернулся и задружился уже со Сталиным, отдал дань Ленину, написав о нем свою знаменитую и талантливую книгу. Бунин навсегда расстался с Советской Россией в 1920 году, жил, как все эмигранты, тосковал и страдал, но никогда не поддался на уговоры о возвращении. Горький ревностно оберегал свою славу и положение ведущего, великого, ему невозможно было отказаться от той лести и славословий, которыми окружали его в СССР, — пришлось даже держать близко в доме, своим человеком знаменитого Крючкова, подосланного наркомом Ежовым. Бунин знал себе цену и не очень удивился даже Нобелевской премии.

Они оба преданно любили русскую литературу, были птенцами одного гнезда. И оба ревниво боролись с декадансом, со всеми «измами». Но если Горький, например, следуя воспитанной в самом себе доброте к талантам, сказал свое напутствие и одобрение молодому Маяковскому, то Бунин, как никто другой, обозвал Маяковского чуть не самыми последними словами.

Бунин приезжал к Горькому на Капри, подолгу гостил там, работал, три зимы подряд они провели с Верой Николаевной у Горького. Каждый день и каждый вечер писатели мирно беседовали, выпивали, обсуждали проблемы литературные и, надо полагать, политические тоже.

Уже немало было прожито, пройдено вместе: Чехов и Ялта, Москва, редакции, книги, посылаемые, как правило, друг другу с приятными посвящениями, переписка, — они изрядное число писем написали один другому, Японская война, 9 января и первая революция 1905 года, «Среды» Телешова, где собирались все ведущие в те годы писатели и где оба читали свои новые сочинения, и стихи, и рассказы. Московские и петербургские гостиницы и рестораны, Московский Художественный театр, общая дружба со всеми известными писателями, актерами, художниками. Горький сделался популярным драматургом, почти вровень с Чеховым, женился на мхатовке Марии Федоровне Желябужской-Андреевой. Бунин театра не любил, даже чеховских пьес не любил.

Гениальная энергия и фанатизм В. Ленина заморочили миллионы мозгов, — писателю Горькому в том числе. Писатель Горький был человек восторженный и истово мечтательный: желание видеть людей лучше, чище, богаче помешало ему помнить, что люди не меняются и нельзя придумать того, чего нет. Пока суд да дело, он с мещанской хитроватостью спешил сам пожить хорошо, — в чем преуспевал. Но доверчивость — слишком мягкое тесто для большевистского штыка. Был Горький нужен — носили на руках, нимбы рисовали вокруг чела, стал капризничать и мешать — отодвинули, по всей вероятности, просто убили.

Бунина нельзя было обольстить марксизмом, надудеть в уши басен о светлом будущем, о служении народу, человечеству и прочей фальши, — он оказался крепче и жестче: веру в себя не переменил на чужую религию.

Они оба были одинаково значительными, необычайными индивидуальностями, крупнейшими талантами, русскими весомо-причудливыми самородками. Упаси Бог возвышать одного за счет другого! Сегодня, в конце XX века, когда пишутся эти страницы, возникла и существует некая ревизия Горького. Это, к сожалению, в нашей манере: свалivши один гнилой дуб, начать валить огулом чуть не весь лес, все могучие дерева подряд. А то и сжечь, смести с лица земли, — будто и не было никогда ничего!

Помнят Горького-буревестника и не вспоминают (не знают!) Горького-автора «Несвоевременных мыслей» в газете «Новая жизнь», закрытой в конце концов большевиками. А стоит помнить и знать!..

Например. «Новая жизнь», № 53, 28 (15) марта 1918 г.:

«Все чаще разные люди пишут мне: „Мы не верим в народ“. „Я потерял веру в народ“. „Я не могу верить в народ, не верю партиям и вождям“.

Все это искренние вопли людей, ошеломленных тяжкими

ударами фантастической и мрачной русской жизни, это крики сердца людей, которые хотят любить и верить.

Но — да простят мне уважаемые корреспонденты! — их голоса не кажутся мне голосами людей, желающих знать и работать. Это вздыхает тот самый русский народ, в способность которого к духовному возрождению, к творческой работе отказываются верить мои корреспонденты. Уважаемые мои корреспонденты должны признать, что они плоть того самого народа, который всегда, а ныне особенно убедительно, обнаруживал — и обнаруживает — полное отсутствие веры в самого себя. Это народ, вся жизнь которого строилась на „авось“ и на мечтах о помощи откуда-то извне, со стороны — от Бога и Николая-угодника, от „иностранных королей и государей“, от какого-то „барина“, который откуда-то „приедет“ и „нас рассудит“. Даже теперь, когда народ является физическим „хозяином жизни“, он, все-таки, продолжает надеяться на „барина“; для одной части ею этот барин — „европейский пролетариат“, для другой — немец, устроитель железного порядка; некоторым кажется, что их спасет Япония, и ни у кого нет веры в свои собственные силы.

Вера — это всегда хорошо для удобства души, для спокойствия ее, она несколько ослепляет человека, позволяя ему не замечать мучительных противоречий жизни, — естественно, что все мы стремимся поскорее уверовать во что-нибудь, в какого-нибудь „барина“, способного „рассудить“ и устроить добрый порядок внутри и вне нас. Мы очень легко веруем: народники расписали нам деревенского мужика, точно пряник, и мы охотно поверили — хорош у нас мужик, настоящий китаец, куда до него европейскому мужику.

Было очень удобно верить в исключительные качества души наших Каратаевых — не просто мужики, всечеловеки! Глеб Успенский „Властью земли“ нанес этой вере серьезный удар, но верующие не заметили его. Чехов, столь нежно любимый нами, показал нам „Мужиков“ в освещении еще более мрачном, — его поругали за неверие в народ. Иван Бунин мужественно сгустил темные краски — Бунину сказали, что он помещик и ослеплен классовой враждой к мужику. И, конечно, не заметили, что писатели-крестьяне — Ив. Вольный, Семен Подьячев и др. — изображают мужика мрачнее Чехова, Бунина…

У нас верят не потому, что знают и любят, а именно — для спокойствия души, — это вера созерцателей, бесплодная и бессильная, она — „мертва есть“. Верой, единственно способной горы сдвигать, мы не обладаем. Теперь, когда наш народ свободно развернул перед миром все богатства своей психики,

воспитанной веками дикой тьмы, отвратительного рабства, звериной жестокости, мы начинаем кричать: — Не верим в народ!

Уместно спросить Неверов:

— А во что же и почему вы раньше верили? Ведь все то, что теперь отталкивает вас от народа, было в нем и при Степане Разине, и Емельяне Пугачеве, в годы картофельных бунтов и холерных, в годы еврейских погромов и во время реакции 907–8 гг. Во что верили вы?

Хороший честный мастер, прежде чем сделать ту или иную вещь, изучает, знает материал, с которым он хочет работать.

Наши социальных дел мастера затеяли построение храма новой жизни, имея, может быть, довольно точное представление о материальных условиях бытия народа, но совершенно не обладая знанием духовной среды, духовных свойств материала.

Нам необходимо учиться и особенно нужно выучиться любви к труду, пониманию его спасительности.

Вера — это очень приятно, но необходимо знание. Политика — неизбежна, как дурная погода, но, чтобы облагородить политику, необходима культурная работа, и давно пора внести в область злых политических эмоций — эмоции доброты и добра. Верить нужно в самого себя, в свою способность к творческой работе, остальное приложится.

„Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться“, чтобы спорить с мерзостями жизни и преодолеть их.

Верить — это удобно, но гораздо лучше иметь хорошо развитое чувство собственного достоинства и не стонать по поводу того, в чем все мы одинаково виноваты».

Умел и Алексей Максимович быть сердит и сказануть!..

Любопытное совпадение вот с какой записью в дневнике Бунина: «22 марта 16 г. Ах, уж эти русские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! Все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать. А это идиотское деление народа на две части: в одной хищники, грабители, опричники, холопы, царские слуги, правительство и городовые, люди без всякой чести и совести, а в другой — подлинный народ, мужики, „чистые, святые, богоносцы, труженики и молчальники“. Хвостов, Горемыкин, городовой — это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство и нечего все валить на самодержавие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления для русского народа, не даром же она продержалась триста лет! Ведь вот газеты! До

какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-ни-будь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то и т. д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: „мирские устои“, „хоровое начало“, „как мир батюшка скажет“, „Русь тем и крепка, что своими устоями“ и т. д. Все подлые фразы! Откуда-то создалось совершенно неверное представление о организаторских способностях русского народа. А между тем нигде в мире нет такой безорганизации! Такой другой страны нет на земном шаре! Каждый живет только для себя. Если он писатель, то он больше ничего, кроме своих писаний, не знает, ни уха ни рыла ни в чем не понимает. Если он актер, то он только актер, да и ничем, кроме сцены, и не интересуется. Помещик?.. Кому неизвестно, что представляет из себя помещик, какой-нибудь синеглазый, с толстым затылком, совершенно ни к чему не способный, ничего не умеющий. Это уже стало притчей во языцех. С Другой же стороны — толстобрюхий полицейский поводит сальными глазками — это „правящий класс“»…

Далее в том же дневнике были такие, вычеркнутые потом фразы: «А что они сделали для этого народа, столь забитого, действительно жалкого народа. Ничего. Погоди, погоди, этот доблестный народ, над которым они так умиляются, им покажет!»

Позже судьба еще сведет Бунина и Горького как прямых соперников, — это будет уже в бунинской эмиграции, в начале тридцатых, по поводу Нобелевской премии. Конечно, и в памяти, в «раскладке» потомков, будет продолжаться это несоразмерное, неправомерное отдание слав, пение фанфар всегда в честь одного, и официальное, государственное, идеологическое затмевание, затушевывание другого. Но русская литература имеет свойство все и всех расставить в конце концов по своим, надлежащим каждому местам.

Сейчас я говорю лишь о дореволюционном периоде, о ранних, еще «нормальных» отношениях двух писателей, о несомненной привязанности Бунина к Горькому.

Осуждают Горького за поездку на лагерный Беломорканал и книгу о нем, о «хороших» чекистах, о «гении» Сталина. А забывают, скольких людей спас Горький после Октября от тех же чекистов и просто от голода. Тычут Горькому в глаза скверно написанной и ложной книжкой «Мать» и забывают его — автора четырехтомного «Клима Самгина», совсем не слабого, мягко говоря, романа. Поминают Горького, — сделавшегося пастырем

братьев-писателей, согнавшего всех огулом в один Союз Советских… и опять забывают, скольким он был подлинно крестным отцом. Выставляют его чуть не мучителем, предателем, — напрасно, он по слабости человеческой, сам мученик, служил власти, как служивали царям и королям очень серьезные и могучие таланты. Просто, как сказал когда-то Стендаль после Французской революции, «посмотрим еще, кому лучше служить, герцогу Гизу или своему сапожнику». Советским писателям пришлось служить даже не сапожнику, а сыну сапожника (если на самом деле был таким Сосо Джугашвили!).

Одно из самых низких свойств человечьих — быть Иванами, родства не помнящими, клеветниками своего же прошлого. Я движусь в своем сравнении двух писателей слишком по узенькому краю пропасти, — если бы я писал о Горьком, наверное, у меня и Бунин высвечивался бы по-другому.

Я стараюсь сберечь правду, показать, какою была связь и что она все же была, не могла не быть.

Вот небольшой эпизод из воспоминаний Нины Берберовой о Горьком (Горький живет в Германии, Берберова гостит у него): «… Это было в день присылки ему из русского книжного магазина, в Париже, только что вышедшей книги последних рассказов Бунина. Все было оставлено: работа, письма, чтение газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку вышел с опозданием и в такой рассеянности, что забыл вставить зубы. Смущаясь, он встал и пошел за ними и там долго сморкался.

— Чего это Дука (так его звали в семье) так расчувствовался нынче? — спросил Максим, но никто не знал. И только к чаю выяснилось.

— Понимаете… замечательная вещь… замечательная… — больше он ничего не мог сказать, но долго после этого он не притрагивался ни к советским новинкам, ни к присланным неведомыми гениями рукописям.

Бунин был в эти годы его раной: он постоянно помнил о том, что где-то жив Бунин, живет в Париже, ненавидит советскую власть (и Горького вместе с нею), вероятно — бедствует, но пишет прекрасные книги и тоже постоянно помнит о его, Горького, существовании, не может о нем не помнить. Горький до конца жизни, видимо, любопытствовал о Бунине. Среди писем Горького к А. Н. Толстому можно найти одно, в котором он — из Сорренто — пишет Толстому, что именно Бунин „говорил на днях“. Ему привезла эти новости М. И. Будберг, которая только что была в Париже…»

(В письме, от начала февраля 1932 года буквально сказано: «…Иван Бунин был спрошен одним из поклонников его: „Вот

приедет Алексей Толстой и покается перед тобою, гений, в еретичестве своем, — простишь ли ты его?“ Закрыл Иоанн Бунин православные очи своя и, подумав не мало, ответил со вздохом: „Прощу!“

Весьма похоже это на анекдот, сочиненный человеком, недоброжелательным Бунину, но рассказано сие как подлинная правда, и я склонен думать, что так оно и есть — правда! Жутко и нелепо настроен Иван Алексеев, злопыхательство его все возрастает и — странное дело! — мне кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, само-внушенная, выдумана им для самосохранения. Так бывает: В. И. Икскуль однажды любезно предложила себя Дмитрию Мережковскому, но он, испуган этим, почему-то заявил ей: „У меня — люэс!“ Сходство отдаленное, но есть.

Плохо они живут, эмигранты. Старики — теряют силы и влияние, вымирают, молодежь не идет их путями и даже не понимает настроения их…»)

Берберова продолжает: «В свете случившегося много позже сейчас ясно, что в этих сплетнях замешан был некто Рощин, член французской компартии, долгие годы живший в доме Буниных как друг и почитатель, о чем до 1946 года никто, конечно, не имел никакого представления.

Читая Бунина, Горький не думал, так ли бывает в действительности или иначе. Правда, сморкаясь и вздыхая у себя над книгой, он не забывал исправлять карандашом (без карандаша в ровных, чистых пальцах я его никогда не видела) опечатки, если таковые были, а на полях против такого, например, словосочетания, как „сапогов новых“, — будь это сам Демьян Бедный — ставил вопросительный знак. Такие словосочетания считались им недопустимыми, это было одно из его правил, пришедших к нему, вероятно, от провинциальных учителей словесности, да так в памяти его и застрявших. К аксиомам относились и такие когда-то воспринятые им „истины“, как: смерть есть мерзость, цель науки — продлить человеческую жизнь, все физиологические отправления человека — стыдны и отвратительны, всякое проявление человеческого духа способствует прогрессу. Однажды он вышел из своего кабинета, пританцовывая, выделывая руками какие-то движения, напевая и выражая лицом такой восторг, что все остолбенели. Оказывается, он прочел очередную газетную заметку о том, что скоро ученые откроют причину заболевания раком.

Он был доверчив. Он доверял и любил доверять. Его обманывали многие: от повара-итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина — все обещавшего ему какие-то

льготы для писателей, ученых и врачей. Для того чтобы доставить Ленину удовольствие, он когда-то написал „Мать“. Но Ленин в ответ никакого удовольствия ему не доставил…»

Мы сегодня еще недостаточно знаем о внутреннем эмигрантстве Горького, о его инакомыслии, и всей той тайной полицейской слежке, что велась за ним и вокруг него. Он оказался, к несчастью, между эмиграцией, где его кляли на все корки, и когортой новых советских писателей, за которых болела его душа. Коварная ласка Сталина и ему сжимала горло, несомненно. Страх и чувство самосохранения калечили и его душу, заставляли прислуживаться, — хоть оно и тошно.

Мне не представляется возможным на этих страницах заняться неким принципиально-художественным анализом и сравнением, — хотя следовало и было бы интересно: сравнить «Жизнь Арсеньева» и трилогию Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». В этом тоже ярко обозначилось бы и сходство и различие обоих художников. Почему-то в одно время, почти параллельно они создавали свои самые исповедальные творения. Некий знак и символ в том есть.

В одесском дневнике Веры Николаевны 1918 года можно найти следующее:

«— Вы слышали, — спросил Ян Яблоновского, — говорят, Горький стал товарищем министра Народного Просвещения?

— Это хорошо, теперь можно будет его вешать, — с злорадством ответил Яблоновский».

И далее: «Ян говорит, что никогда не простит Горькому, что он теперь в правительстве.

— Придет день, я восстану открыто на него. Да не только как на человека, но и как на писателя. Пора сорвать маску, что он великий художник. У него, правда, был талант, но он потонул во лжи, в фальши…»

Много лет спустя Бунин все продолжает свой спор с Горьким, ревизию его. Вот запись из дневника: «20.1.42… Пробовал читать Горького, „Вареньку Олесову“, которую читал лет 40 назад с отвращением. Теперь осилил только страниц 30 — нестерпимо — так пошло и бездарно, несмотря на все притворство автора быть „художником“. „Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь листву кустов сирени и акаций, пышно разросшихся у перил террасы, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами… Воздух был полон запаха липы, сирени и влажной земли…“ (И липы и сирень цветут вместе)…»

Вера Николаевна продолжает: «Мне грустно, что все так случилось, так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на Капри, после пения, мандолин, тарантеллы и вина Ян сделал

Горькому такую надпись на своей книге: „Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, я всегда буду любить вас“… Неужели и тогда Ян чувствовал, что пути их могут разойтись, но под влиянием Капри, тарантеллы, пения, музыки душа его была мягка, и ему хотелось, чтобы и в будущем это было бы так же. Я, как сейчас, вижу кабинет на вилле Спинола, качающиеся цветы за длинным окном, мы с Яном одни в этой комнате, из столовой доносится музыка. Мне было очень хорошо, радостно, а ведь там зрел большевизм. Ведь как раз в ту весну так много разглагольствовал Луначарский о школе пропагандистов, которую они основали в вилле Горького, но которая просуществовала не очень долго, так как все перессорились, да и большинство учеников, кажется, были провокаторами. И мне все-таки и теперь не совсем ясен Алексей Максимович. Неужели, неужели…» Да, конечно, мог ли Бунин и все вообще знать, как на самом деле жил Горький, под каким «конвоем»[3]!

В 1936 году, узнав в Грассе о смерти Горького, Бунин написал о нем довольно жестко-ироничный, хоть и грустный очерк, совсем не польстив старому товарищу. «Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: „Алексей Максимович хочет поговорить с вами“. Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда оконченными».

И все же они были, эти отношения, и оба писателя никогда не забывали друг о друге, знали, кто что пишет и как живет. А Горький, — я уже упоминал, — и в советское время пытался печатать Бунина и призывал своих советских питомцев-самоучек учиться у него мастерству.

Но не более того, — ибо сам же когда-то давно сказал: «Хорошо пахнут „Антоновские яблоки“ — да! — но они пахнут отнюдь не демократично… Ах, Бунин!..» Речь шла о том, включать или нет Бунина в очередной сборник горьковского «Знания».

Есть устойчивая и давняя традиция представлять Ивана Алексеевича Бунина, классика русской литературы, противником всякой политики, революционности, самой революции и наступившей в России новой («самой передовой и демократической в мире») советской власти. Он, мол, наплевал, уехал, все бросил, эмигрант, изгой, автор «Окаянных дней».

И все же, отношения его с Горьким не сравнить, например, с дружбой с другим известным современником, человеком своего писательского поколения — с Алексеем Толстым.

АЛ. ТОЛСТОЙ

Бунин сам рассказал об их взаимоотношениях в едких воспоминаниях «Третий Толстой»: «…Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала „первой революции“) так трагически декламировал Блок: „Мы — дети страшных лет России — забыть не можем ничего!“ — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале „Северное сияние“, который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне („граф Алексей Толстой“) и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием „Сорочьи сказки“, ряд коротеньких и очень ловко сделанных „в русском стиле“, бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого).

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие… Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь „Алешкой“, хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом… ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный…

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня: — Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот, как,

например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с эдаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-ни-будь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы… Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк… И все наряжены: Маяковский носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин — поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри… Все мошенничают, дорогой мой!..»

(Как знать, возможно, этот совет Толстого был частью и принят Буниным: мы видим его на всех портретах одетым весьма изысканно, — и рубашки такие, и галстуки, — разве что длинных волос Иван Алексеевич никогда, кажется, не нашивал.)

Бунин рассказывает далее о совместной жизни в Одессе, о бегстве оттуда, о жизни во Франции, когда еще продолжали дружить, встречаться.

Бунину трудно было пережить возврат Толстого в СССР, служение его Советам, хотя известно, что он послал на имя Толстого открытку, прочтя «Петра Первого»: «Алеша! Хоть ты и…, но талантливый писатель. Продолжай в том же духе». А накануне Отечественной войны именно Толстому писал о своем желании вернуться. Толстой даже написал о Бунине Сталину. Хотя ранее в одном из интервью, вернувшись как-то из Парижа, сказал, что от «Бунина осталась одна оболочка».

Сюда следует добавить, что после «Хождения по мукам» ближайший друг Бунина Марк Алданов написал книгу-антитезу — роман «Самоубийство» — не о том, как интеллигенция приняла советскую власть и стала служить ей, как у Толстого, — а о трагедии и гибели нескольких героев из «бывших», и о большевиках, в том числе — о Ленине: о нем Алданов написал очень мощно, серьезно, показав откровенно, как подлинно исторический писатель, и всю гениальную организаторскую роль Ленина, и все недостатки его, и ожидавшую его в конце концов трагедию несовершенства новой власти и партии, и трагедию, самоубийственную трагедию самого вождя «мирового пролетариата». Такая книга была несомненно ближе Бунину, чем

книга Толстого, хоть Бунин и похвалил снова его писательский дар.

Бунин дружил с Б. Зайцевым, Марком Алдановым, семьей Цетлиных, много ему помогавших, с И. Шмелевым, писал изредка Телешову. Когда Бунины жили в Грассе, у них почти постоянно бывали и даже жили подолгу писатели Л. Зуров, другой литератор Н. Рощин, молодая поэтесса и прозаик Галина Кузнецова.

МОСКВА

Хочется особо сказать, как любил Бунин Москву. Русский писатель не может не любить Москвы и не писать о ней, — довольно вспомнить пушкинский каскад перечислений московских признаков в «Онегине»:

«…Прощай, свидетель нашей славы,
Петровский замок. Ну не стой!
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют, вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах».

Бунинские описания Москвы по-пушкински энергичны, подробны, точны, многопредметны и многолики.

В феврале 1895 года Бунин впервые приехал в Москву, остановился в меблированных комнатах Боргеста у Никитских ворот. Позже написал: «„…Старая, огромная, людная Москва“ и т. д. Так встретила меня когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение. Через два года после того я опять приехал в Москву — тоже ранней весной и тоже в блеске солнца и оттепели, — но уже не на один день, а на многие, которые были началом новой моей жизни, целых десятилетий ее, связанных с Москвой. И отсюда идут уже совсем другие воспоминания мои о

Москве, в очень короткий срок ставшей для меня, после моего второго приезда в нее, привычной, будничной, той вообще, которую я знал потом около четверти века».

«Чистый Понедельник»: «Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи — в сумраке уже видно было, как с шипеньем сыпались с проводов зеленые звезды — оживленнее спешили по снежным тротуарам смутно чернеющие прохожие… Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер — от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него, каждый вечер я возил ее в „Прагу“, в „Эрмитаж“, в „Метрополь“, после обеда в театры, на концерты, а там к „Яру“, в „Стрельну“… В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные…

Я стоял, смотрел в окна… за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы, в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него… „Странный город! — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блаженный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах…“»

Этот один из исключительных бунинских шедевров дает нам Москву не только в изощренной бунинской изобразительности, в красоте и оригинальности его образов, но и передает самый дух Москвы, таинственной, древней и современной сразу, волшебной.

«Благосклонное участие»: «И целых три недели Москва работает, торгует, веселится, но среди всех своих разнообразных дел, интересов и развлечений, втайне живет только одним — ожиданием знаменательного вечера двадцать седьмого декабря. Великое множество афиш всех цветов и размеров пестрит на всех ее улицах и перекрестках: „На дне“, „Синяя птица“, „Три сестры“, Шаляпин в „Русалке“, Собинов в „Снегурочке“, Шор, Крейн и Эрлих, опера Зимина, вечер Игоря Северянина… Но теперь всякому бьет в глаза только та маленькая афиша, на которой крупно начертано имя, отчество и фамилия благосклонной

участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников пятой московской гимназии».

Какой тоже московский рассказ! Какой незабываемый образ старой актрисы — московской актрисы!..

«Митина любовь»: «…В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта… Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капели, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим небом. Вдали, с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь…»

«Казимир Станиславович»: «Вечерело, воздух был тепел, зеленели черные деревья на бульварах, всюду было много народа… Одиноко человеку, прожившему и погубившему свою жизнь, в весенний вечер в чужом людном городе! Казимир Станиславович пешком прошел весь Тверской бульвар, снова увидел вдали чугунную фигуру задумавшегося Пушкина, золотые и сиреневые главы Страстного монастыря… В кофейне Филиппова он пил шоколад, рассматривал истрепанные юмористические журналы. Выйдя, постоял в нерешительности, глядя на огненную сквозную вывеску кинематографа, сиявшую вдали по Тверской в синеющих сумерках… От прежнего ресторана, известного Казимиру Станиславовичу, осталось одно звание. Теперь это был большой, низкопробный ресторан. Над подъездом горел электрический шар, гелиотроповым, неприятным светом озарявший лихачей второго сорта, наглых и беспощадных к своим запаленным, костлявым рысакам, тяжело ревущим на бегу. В сырых сенях стояли горки с тропическими растениями, из тех, что переезжают с похорон на свадьбы и обратно… В большом зеленоватом зале со множеством широких зеркал и с малиновой лампадкой, теплившейся в углу, было еще пусто и зажжено всего несколько рожков. Чувствовалось, что еще не совсем стемнел за окнами в белых шторах долгий весенний вечер, слышалось с улицы цоканье копыт по мостовой: однообразно плескался среди зала фонтанчик в аквариуме, где ходили облезлые золотые рыбки, откуда-то снизу, сквозь воду, освещенные. Белый половой подал прибор, хлеб, графинчик

холодной водки… Потом седой, кудрявый грузин принес ему на железной пике полусырой пахучий шашлык, с каким-то развратным щегольством срезал мясо на тарелку и, для пущей азиатской простоты, собственноручно посыпал луком, солью и ржавым порошком барбариса… Потом подавали Казимиру Станиславовичу рокфор, красное вино, кофе, нарзан, ликеры… Машина давно смолкла. Вместо нее играл на эстраде оркестр немок в белых платьях, освещенный и все наполнявшийся народом зал нагрелся, потускнел от табачного дыма, густо насытился запахом кушаний: половые носились вихрем, пьяные требовали сигар, от которых тошнило: метрдотели расточали крайнюю заботливость, соединенную с напряженным соблюдением собственного достоинства… Казимир Станиславович несколько раз выходил из жаркого зала в прохладные коридоры, в холодную уборную, где странно пахло морем, шел точно по воздуху и, возвратясь, снова требовал вина. Во втором часу, закрывая глаза и сквозь ноздри втягивая в свою одурманенную голову ночную свежесть, он летел на лихаче, на высокой пролетке с дутыми шинами, за город, в публичный дом, видел вдали бесконечные цепи поздних огней, убегавших куда-то под гору и снова поднимавшихся в гору, но видел так, точно это был не он, а кто-то другой…»

Утром, проснувшись с похмелья, этот несчастный, никому не ведомый Казимир Станиславович, открыл окно, — «оно выходило во двор, — и на него запахло свежестью и городом, понеслись изысканно-певучие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск экипажей, музыкальный гул колоколов… Город давно уже жил своей шумной, огромной жизнью в этот яркий весенний день…

…Ровно в шесть он был возле низенькой старинной церковки на Молчановке. За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево, играли дети, — у одной худенькой девочки, прыгавшей через веревочку, все спадал черный чулочек, — и сидели на скамье, перед колясками со спящими младенцами, кормилицы в русских нарядах. Все дерево трещало воробьями, воздух был мягок, — совсем, совсем летний, даже пылью пахло по-летнему, — и нежно золотилось вдали за домами небо над закатом, и чувствовалось, что в мире есть радость, молодость, счастье…» Далее о церкви (тоже очень московской, типичной): «В церкви уже горела люстра и стоял налой, пред ним лежал коврик. Казимир Станиславович осторожно, стараясь не испортить прически, снял цилиндр, вступил в церковь несмело, — он не бывал в церквах уже лет тридцать, — и поместился в уголке, но так, чтобы ему было видно венчающихся. Он оглядывал

расписные своды, поднимал глаза в купол… Церковь, блестя золотом, выжидательно потрескивала свечами. И вот, крестясь, но свободно, привычно, стали входить священнослужители, певчие, потом старухи, дети, свадебные нарядные гости и озабоченные шафера…»

Невозможно остановиться и не процитировать дальше. Здесь, видимо, весь секрет жизни этого неизвестного, «нерассказанного», без всякой прежней истории Казимира, обретающегося в «странноприимной» (по Цветаевой) Москве: «Когда же послышался шум возле паперти, захрустела колесами подъехавшая карета, и все обратились ко входу и грянула встреча: „Гряди, голубица моя!“ — Казимир Станиславович покрылся от сердцебиения смертельной бледностью и невольно двинулся вперед. И близко, близко прошла мимо него, даже фатой своей его коснулась и ландышем овеяла та, которая даже не знала о его существовании на свете, прошла, склонив свою прелестную голову, вся в цветах и сквозном газе, вся белоснежная и непорочная, как принцесса, идущая к первому причастию… И за все время венчания только одно было пред его глазами: склоненная, в цветах и фате, голова и маленькая до боли в сердце милая, прелестная рука, с дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой лентой с бантом…»

«Ида»: «… По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу с полукруглым диваном. Пошли туда.

— Господа, — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, — я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, услужающий, самобраную скатерть, как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы мои королевские замашки знаете.

(Это место так и отзывается бунинской любовью к ресторанам, к случавшимся не единожды посиделкам за рюмкой с братьями-писателями, загулам и кутежам хоть с тем же Куприным, с одесскими друзьями. Много, до тяжкого похмелья, Иван Алексеевич никогда не пил, голову берег, но выпить вообще всегда был большой охотник. Особенно если красиво, в хорошем месте, с хорошим вином, хорошим столом, — и в этом был

несомненно эстет.)

— Как не знать, пора наизусть выучить, — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. — Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся…

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смуглотелесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским… Начали с перцовки…»

«В одной знакомой улице»: «…Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко — и я, студент, какой-то тот я, в существование которого уже не верится…

Там огонек таинственный
До полночи светил…

И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и светилось вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской…

Ах, что за чудо девушка
В заветный час ночной
Меня встречала в доме том
С распущенной косой…

И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы… И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок — и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась — и на нее, ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью… Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде и темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой…»

Какая тоже знакомая, каждому, думаю, памятная Москва, снежная, окраинная, юно-знакомая, далекая…

А конец? Как всегда у Бунина, после нежного, лирического

почти всхлипа, восторга идет сдавленно сдержанное: «как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов… Больше ничего не помню. Ничего больше и не было».

Музыка, музыка, нежная, милая, музыка, и — последний удар, аккорд! Все. Всему конец.

«Памятный бал». Здесь совсем другая Москва, и герой, и вся музыка: «…Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах, но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на нарядной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти все покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующе гремевшей с хор. Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда, — она накануне сказала мне, что приедет в двенадцать, — и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты…»

Совсем другая Москва, какая-то толстовская, «война-и-мировская» (!), и лестница, и героиня, и герой, который «уже давно был болен любовью к ней и как-то волшебно боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером!..»

Бунин передает нам всю атмосферу бала, рокового объяснения героев, безумный с горя поступок рассказчика, который мог привести его к дуэли и гибели.

Да и произошла уже, случилась его погибель на этом балу: ее отказ ему и признание — дикое! — что влюблена в своего мужа.

Грустно после таких рассказов, такой Москвы написались однажды вот какие стихи:

Москва.
Темень, холод, предрассветный
Ранний час.
Храм невзрачный, неприметный,
В узких окнах точки желтых глаз.
Опустела, оскудела паперть,
В храме тоже пустота,
Черная престол покрыла скатерть,
За завесой царские врата.

В храме стены потом плачут,

Тусклы ризы алтарей.
Нищие в лохмотьях руки прячут,
Робко жмутся у дверей.

Темень, холод, буйных галок
Ранний крик.
Снежный город древен, мрачен, жалок,
Нищ и дик.

12. IX. 19.

Эта дата говорит сама за себя. Прежней, красочной, сочной, богатой на краски и чувства, прежней Москвы более нет.

В советское время эти стихи, разумеется, не печатались.

«… В жаркий майский день ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: „Это должно быть, туда, где церква с синим кумполом“. Шел долго, устал. Но весна, тепло, было очень хорошо. Увидал, наконец, древний собор, с зелеными главами, которые мужик назвал синими, весенний сквозной лес, в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосифа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, — в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нем синих и лазурных облаков…

Теперь тут казармы имени Баумана. Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы из них выдраны, пол завален мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет дырами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи взвились с полу, с мусора, и с иконостаса в дырах, с выступов риз над ликами святых…»

А как знаменита когда-то была эта вотчина! Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

«Рощи 115 десятин. Рощи, числом 5, заповедные. Роща цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады, числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льняной двор для мятия льна. Скотный двор, в нем 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нем 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мельница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нем лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На

мукомольне 7 мельниц. Стеклянный завод… Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, умощенный дубовыми брусьями… 27 прудов, в одном щуки, в другом стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики…»

И такою, оказывается, была бунинская Москва!..

Правда, это написано уже в эмиграции, в книге «Под серпом и молотом», в 1930-м. Какое еще могло у него быть отношение к «серпу и молоту», к «казармам имени Баумана», кроме того, которое было?..

ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Русский писатель — всегда европеец. Образованный человек не может не быть европейцем, не втянуть в себя мировой культуры. Если мы только поглядываем и подглядываем в прорубленное Петром окно, то Европа-то влезла через него к нам целиком. Светское общество всегда с детских лет лопотало по-французски, книги читали французские, немецкие, английские, журналы тоже выписывали. Что уж говорить об учителях, гувернерах, гувернантках! Молодые люди ехали учиться в Германию и Францию, — Гейдельберг; Кенигсберг и Сорбонна были столь же доступны, как свои университеты, от Петербургского до Казанского. На театре сплошь ставили французов и англичан. Лечиться ездили на воды, путешествовали, где хотели. Художники не обходились без Италии и Парижа. Полтавчанин Гоголь «Мертвые души» писал в Риме, Достоевский не вылезал из Германии. Герцен из Лондона, его «Колокол» тайно провозили через таможни так же, как сто лет спустя провозили Сенявского и «Архипелаг ГУЛАГ». Все знали о Французской революции. Потом о социализме. А Польша? Польское восстание 1831 года нанесло николаевской России не меньший удар, чем потом Гданьская верфь и «Солидарность» режиму советскому. Русский интеллигент не глядел на Монголию или Китай, но о делах европейских всегда был осведомлен, наслышан, — от моды на сюртук или коляску до моды на идеи и революции. Пушкина никогда не выпустили за границу, как он ни рвался, но воображением своим он достигал и Испаний, и Англий и даже Соединенных Штатов, — и, кстати, первые стихи напечатал не в каком-нибудь журнале, а в «Вестнике Европы». Вечный спор западников и славянофилов всегда кончался не в пользу последних: общество все равно глядело на Европу и у нее училось, а не в Костроме или в Самаре.

Бродяжничество в натуре художника, в крови, — о, прелесть этих юношеских скитаний! Беспечно ехать незнамо куда, повинуясь одному своему зову, просто географическому названию, или провожая друга, а то, увлекшись мимолетным женским личиком, вскочить в вагон и оказаться наутро уже в Питере, в Риге, еще где. Выпить в буфете вокзальном с офицерами-моряками, и — с ними — уже в Севастополе: Примбуль, Малахов курган, Херсонес, Балаклава. А дальше — Крым: чуть не пешком, на ослике татарском, на волах, — как выйдет, — Бахчисарай, Яйла, Байдарские ворота, и море, море, наконец, господа хорошие! Ялта, Мисхор, Ореанда, Массандра, настоящий херес и настоящий брют!.. А куда ваш пароход? На Одессу?.. Когда?.. Уже отходите?.. А что, не махнуть ли в Одессу?.. Одесса, порт, лестница, привет Александру Сергеевичу!.. В трамвае, по дороге на Большой Фонтан, — некая милая дамочка, нерусская, ловко складывающая легкие фразы, оказалась женой какого-то писателя… Оставайтесь, можете у нас переночевать… А то еще можно в приморской степи выйти пешком на цыганский костер, зацепиться взглядом за черные веселые девичьи глаза, тоже заночевать прямо на земле, на сене, завернувшись снизу и сверху в воняющий паленой шерстью старый тулуп… А Киев! Днепр! Целоваться, сидя на Владимирской горке в бурьяне с Лидой Ващук или как уж ее звали!..

А там, далее, Канев, могила Кобзаря, — оказывается, какой хороший поэт был Тарас Шевченко! И уж какая судьбина выпала, горькая жизнь-невзгода… Мир вокруг огромен, надо поехать к пирамидам, или в Палестину, Святую землю, — все увидеть, оглядеть своими глазами.

У Бунина была страсть к путешествиям, бродяжничеству, — всю жизнь. Должно быть, еще с юношеских прогулок пешком или верхом по окрестным полям, лесам, селам вошла в него тяга к свободному и одинокому движению, возбужденно-обостренному вглядыванию в привычное, наблюдению за всякой мелочью и фиксации ее в себе, обрисовке словом. Путешествия — страсть к новым местам, приключениям, городам, незнакомым еще людям, природе, стихиям, — грозе, буре, метели, желание все испытать, быть тем и другим, подобно артисту, в разных ролях, быть охотником и дичью, играя порою и самою жизнью, — «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю» — покорять пространства, стихии, противников, женщин, целое общество, — быть жадным, устремленным, отважным, гореть. В пути, у окошка особенно хорошо сочиняется, проверяется задуманное, повторяется. Остаешься один на один с собою, с любимой

думой, — горы, поля, леса, деревни, лошаденки, огни, облака, закаты, — все мимо, мимо, но присутствует и действует, точно музыка. Вот так, должно быть, путешествовали Пушкин, Байрон, Лермонтов, молодой Толстой. «А горы! — говорит Оленин в „Казаках“. — А горы!..»

Иван Алексеевич путешествовал в Италии, Турции, на Балканах, в Греции, Палестине, Алжире, Тунисе, он добирался до Индии, до Цейлона. Любил пароходы, порты, острова, океан, новые моря и новые земли. Конечно, он видел, как расслоен, разителен контрастами своими современный мир, как по-разному живут в нем разные люди. Принято считать, что никогда не затрагивали его социальные проблемы, политика, общественная борьба. Он и сам откровенно признавался: «Я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности, я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом, а меж тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он из „народа“, был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той „литературной революции“, которая, — в большей части из-за подражания Западной Европе, — столь шумно подделывалась в эти годы среди быстро развивающейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей… Я, как сказал Саади, стремился обозреть лицо мира и оставить в нем „чекан души своей“, меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические».

В 1915 году Ивану Алексеевичу Бунину уже сорок пять лет. Он бодр, изящен, живет напряженной и внешней и внутренней жизнью. В мире идет война, Россия ее на глазах проигрывает, миллионы людей гибнут, страдают, но никто из рядовых простых российских граждан ничего, как у нас водится, поделать не может. Бунин говорит, беседуя с родственником своим Пушешниковым (это их — Васильевское, Глотово, Пушешниковых): «Я — писатель, а какое значение имеет мой голос? Совершенно никакого. Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк». Бунин редактировал свое собрание сочинений, писал стихи и рассказы, весной вышла его новая книга «Чаша жизни». Он бывает в Петербурге, встречается с

Горьким, Чуковским, Репиным. Он перечитывает Тургенева — «Дворянское гнездо» и остается недоволен, хотя любит и чтит Тургенева всю жизнь. И как-то в городской суматохе, в Москве, в витрине книжного магазина случайно видит обложку книги Томаса Манна «Смерть в Венеции», — название дало «затем, уже в Орловщине, толчок ассоциативному движению мысли», он вспомнил о внезапной смерти какого-то американца на Капри, «и тотчас решил написать „Смерть на Капри“, что и сделал в четыре дня».

В дневнике осталась запись:

«14–19 августа писал рассказ „Господин из Сан-Франциско“. Плакал, пиша конец…И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в „Квисисане“) я выдумал».

Выдумывал и сам плакал, пиша конец!.. Вот вам и привет опять от Александра Сергеевича, родника нашей литературы: «Над вымыслом слезами обольюсь…»

Впоследствии Бунин множество раз редактировал рассказ, сокращал, чистил, в целом работы выйдет поболее, чем в четыре дня. Но, — я уже говорил, он приучил, научил себя писать рассказы, как стихи, — вдруг, единым выливом, разом, и даже этот, весьма густой, плотный, а развести, как бульон, кипяточком, то и огромным окажется, целой повестью, — все-таки он сжат кулаком и бьет кулаком, этот удивительный, один из самых знаменитых в мире рассказов, переведенный на все человеческие языки и всем известный.

Бунинская мощь, бунинский прием и принцип (уже выверенный, проверенный) писать как бы ни о чем, без пространного сюжета, «разработки» героев и приспособления к какому-нибудь направлению, кроме направления собственной мысли, — все здесь явилось в совершенном, законченном виде.

Все его возбуждение от современной жизни, от зрелища всего мира вложено в описание могучего корабля, «Атлантиды» (похожего на «Титаник»), идущего из Нового Света в Европу. Ледяная пурга, зима, океан, шторм, — ничто не страшно пароходу, «похожему на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой», — кажется, пароход есть символ всемирной цивилизации XX века, машинной, высокотехничной, с расслоенным, разъятым человечеством, — от кочегаров, обливающихся потом у страшных, адских машин корабля в его утробе, до утопающей в роскоши и удобствах жизни публики первых классов, вплоть до самого 58-летнего господина из Сан-

Франциско, богача, который «только что приступил к жизни». «До той поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее».

О, это бунинское будущее! Неведомое время, в которое он никогда не верит, — потому что знает о единстве Времени, пора древности столь же близка для него, как сегодня или вчера — нет разницы и все тщетно. Завтра — неведомо, непредсказуемо. Вся роскошь и счастье путешествия сквозь ледяную океанскую бурю, на безопасном, роскошном корабле, — миниатюра земного мира, несущегося в ледяной пустоте космоса. Все эти бунинские скупые, сдержанные и емкие описания корабля читаешь с чувством художественного наслаждения и понимаешь, как ему самому все это нравилось, каждая мелочь, каждая фигура, — хотя бы дочери господина, эти почти религиозные ритуалы завтраков, обедов, ужинов, прогулок, а затем — острова Капри, где господин из Сан-Франциско высадился, гостиницы, — конечно же, безусловно, это все личные впечатления, воспоминания самого писателя, так много бывавшего на Капри. «На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова».

Зачем-то о римском тиране Тиберии вспоминает автор, — зачем? О роскоши и разврате, о рабстве, патрицианском блаженстве и духовно нищей старости, приведших великий Рим к падению — для чего?..

Господин из Сан-Франциско делает, что и как хочет, — он достиг своего ожидавшегося им будущего, счастливого плавания на этом пароходе и туда, куда мечтал.

И что же? Что же?.. Подготовка к изысканному обеду в отеле, описание одевания к нему, затем послеобеденная роскошная сигара, уютная, тихая и светлая читальня, газета, в глубоком кожаном кресле… И что же?.. И все. «Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско… Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как

зарезанный, закатил глаза, как пьяный… Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, — прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса… Но тут он уже и головой перестал мотать».

Человека уже по сути нет, а ложь, условности и «порядок», чтоб все, как надо, еще обступают его: хозяин, лакеи, гости, обед, сами части его костюма, эти распущенные волосы и корсет дочери.

Смерть, господа, смерть стоит и склонилась над каждым, стиснутыми словами кричит нам писатель, а что ж вы-то? чем заняты? Ведь все тщета и суета сует перед зраком госпожи Смерти.

Этот глобально-символический, мощный рассказ, потрясавший потом много лет тысячи читателей, не мог не быть и глубоко личным: писатель не может не побывать в момент творчества своим персонажем и не испытать прежде описания того, что испытывает персонаж. Бунин уже слишком много сам думал о смерти к этому 1915 году, слишком много понял в жизни и смерти. Это его личное передается нам и так сжимает нам сердце.

Мало того, что он вспоминает тирана Тиберия и тщету всех богатств, власти и соблазнов мира и что в конце рассказа является сам Дьявол, — но явлена и Богородица: «… над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, Матерь Божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, Непорочной Заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и Рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной…»

«В этом злом и прекрасном мире…» — о таком, об этом мире и есть рассказ.

А что же несчастный и тщеславный покойник, господин из Сан-Франциско?.. «Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова

попало на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко опустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь».

«У вас есть чувство корабля!» — восклицал Бальмонт, хваля Бунину рассказ.

Можно добавить, что так же точно было у Бунина и чувство поезда, вокзала, телеги, коня, дороги вообще. А чувство океана, неба? — Если возможны такие отдельно-особые чувства. Впрочем, возможно, конечно, — как и особое чувство, пристрастие к солнцу, отмеченное еще в «скорпионском» гороскопе.

Но далее.

«Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь».

…Опять людный бал, люстры, сияние, — ничем не проймешь вас, господа, — будто хочет воскликнуть под конец автор.

«Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем».

И снова схватывает автор точные и сочные детали корабля, его адского чрева, и настойчиво возвращается опять к царящему на нем празднику, но капает туда всего одну, но полную печали каплю-деталь, окрашивающую весь розово-искрящийся раствор дегтярно-сумрачным оттенком: «И опять мучительно извивалась и порой судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых возлюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы прикленными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными

недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу…»

Опять ложь, господа! Опять детская преступная беспечность, незнание истины, пустые надежды. На что? — позвольте спросить. — На кого?..

Бунин не мог не понимать, — видел и понимал, что весь привычный, прежний мир, все, им любимое, свое, его Россия со всем ее укладом, историей, народом, царством, — все движется в пасть к Дьяволу. Он так ощущал, так кожей чувствовал сгущение беды в воздухе, что иначе не мог выразить себя, как в жестких, жестоких рассказах, в основном о русской деревне, и самых печальных стихах. Все почти стихи 1916 года, — многие Бунин отдал в новый журнал Горького «Летопись», — пронзительно-печальны, горьки, безотрадны.

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз…
Жара, страда… Куда летит
Через усадьбу шалый пес?

На голом остове варка
Ночуют старые сычи,
Днем в тополях орут грачи,
Но тишина так глубока,
Как будто в мире нет людей…
Мелеет теплая река,
В степи желтеет море ржей…
А он летит — хрипят бока,
И пена льется с языка.
Летит стрелою через двор,
И через сад, и дальше, в степь,
Кровав и мутен ярый взор.
Оскален клык, на шее цепь…
Помилуй Бог, спаси Христос,
Сорвался пес, взбесился пес!
Вот рожь горит, зерно течет,
Да кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И, как Мамай, всю Русь пройдет…

Но пусто в мире — кто спасет?
Но бога нет — кому карать?

Это называется — «**Канун**».
А вот — «**Дедушка в молодости**», год тоже 16-й:

Вот этот дом, сто лет тому назад,
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми
Сплошь темными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем, как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон
Торжественный и празднично-счастливый.
Напоминал, что в должный срок
Пойдет он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
И золотистый цвет дробится
В тени раскидистых берез,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчелы теплый мед,
Где иволга так вскрикивает резко,
То окариною поет,
А вдалеке, за валом сада,
Спешит народ, а краше всех — она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнем потупленного взгляда.

Все те же знакомые бунинские мотивы, тот же Бунин. Но, однако, не совсем, — в других стихах этой поры, — о Востоке, Орде, на мотивы фольклора, истории, религии, — открытый пессимизм, печаль, предчувствие беды.

«Святой Прокопий»

Бысть некая зима Всех зим лютейших паче.
Бысть нестерпимы мраз и бурный ветр,
И снег паде на землю превеликий,
И храмины засыпа, и не токмо

В путех, но и во грады померзаху
Скоты и человецы без числа.
И птицы падаху мертвы на кровли.

Бысть в оны дни:
Святой своим напутствующим телом
От той зимы безмерно пострада.
Единожды он ношию прииде
Ко храминам убогих и хоте
Согретися у них, но ощутивши
Приход его, инии затворяху
Дверь перед ним, инии же его
Бияху и кричаще: — Прочь отсюда!
Отыде прочь, Юроде! — Он в угле
Псов обрете на снеге и соломе,
И ляже посреде их, но бегоша
Те пси его. И возвратися паки

Святой в притвор церковный и седе,
Согнуся и трясыйся и отчаяв
Спасение себе. — Благословенно
Господне имя! Пси и человецы —
Единое в свирепстве и уме.

Так кончалась эпоха.

Так начиналась другая.

Безумная громада мирового парохода, несясь сквозь ночь, вьюгу и вечный океан, двигалась к черту в пасть. «Пси и человецы» единились в свирепстве.

РУССКАЯ ПРОЗА

Говоря о Бунине, нельзя не поговорить о русской прозе вообще. Русский писатель — всегда звено могучей цепи: русские писатели слишком плотно, тесно стоят друг с другом, друг за другом, учась один у другого, следуя предшественникам-образцам, по ним выверяя себя, напрягаясь всей жизнью, чтобы быть не только не хуже, но изо всех возможностей стремясь сделать шаг вперед, дальше, смелее великих предшественников.

Мы знаем, одно из первых и лучших произведений в русской прозе — «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина. Пушкинский лаконизм, точность, широта взгляда и вместе с тем всегда лиризм, передача своих душевных движений и мыслей, желание изобразить увиденное как можно ярче, выпуклее, красочнее. Бог русского писателя — правда. (Вспомним тут же Толстого, «Севастополь в мае»: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».) Эти слова могут быть золотом выбиты на фронтоне всего великого и великолепного здания русской литературы, — от Державина с Ломоносовым, от Пушкина — до Набокова и Солженицына. «Правда — всегда была, есть и будет прекрасна». Истинно!

Пушкин пишет в «Арзруме»: «…Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подниматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда поспешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый…

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслью было: не лежу ли я в лихорадке. Но чувствовал, что слава Богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. „Что за гора?“ —

спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: „Это Арарат“. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу взлетающих, символы казни и примирения…»

Пушкинские простота, ясность, отсутствие каких-либо украшений или украшательств, почти документальность, — уж вполне современная! — навсегда, остались азбукой русской прозы, эталонами ее.

Но каждый шел по-своему, каждый в конце концов находил свой стиль, — писатель тем и занимается всю жизнь, что ищет и выражает себя, — немало соли приходится съесть, чтобы достичь этого.

Когда иные критики писали о Бунине как о подражателе Тургенева или Чехова, он возмущался: «Да я из Гоголя!.. Из Гоголя!..»

Из Гоголя, Иван Алексеевич?

Возьмем Гоголя. «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту не виданных землею плеч, — и там она чудо! Но чудеснее всего, когда глянет она очами прямо в очи, водрузивши хлад и замирание в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец созданья, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове, — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямей летит вверх кипарис, и красавица южных деревь, римская пинна, тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе верхушкою. И все: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки,

переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — все, кажется, для нее, чтобы ярче показать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой…» (Н. Гоголь, «Рим»).

Из Гоголя? Что же, можно сказать, что и из Гоголя…

Но не забудем еще одного классика, которого особенно любил Бунин, к кому часто обращался и даже собирался писать книгу о нем: это Лермонтов. Лермонтов!.. Любимое дитя русской литературы, мальчик, за свои краткие 27 лет вписавший огромную главу в книгу нашей прозы.

Позволю одно личное воспоминание. Когда-то, в молодых своих скитаниях по Руси, по всему СССР, по любимой, душою избранной Пензенской земле, проехавши город Белинский (бывш. Чембар, вторая родина неистового Виссариона), очутился я в селе Тарханы, в знаменитом имении бабушки поэта Арсеньевой, где Лермонтов жил мальчиком и где провел несколько дней зимой 1841 года, уже перед последним и роковым его отъездом на Кавказ. В Тарханах и похоронен поэт. Дом-музей сохранялся в ту пору еще в пристойном виде, я обошел все комнаты, лестницы, бродил окрестностями, по аллеям, вдоль прудов, по деревне. Напитал Лермонтовым полное сердце. Там же пришлось мне и заночевать. Не забуду, как сильно ощущал я сам себя молодым Лермонтовым, понимал, кажется, про него все. И, конечно, захотел тут же написать об этом, — и написал: сначала небольшой рассказ, а потом, вооружась замечательной книгой Эммы Герштейн о судьбе Лермонтова, еще и целую пьесу «После дуэли», — о самых последних днях жизни поэта, о всем клубке хитросплетений вокруг него, его личности, его поэзии и прозе — там персонажами были все, начиная от проклятого фанфарона Мартынова до царя и царицы (Николай сильно не любил поэта, а царица была весьма благосклонна, что на пользу ему тоже не пошло).

Говорю и вспоминаю об этом потому, что полагаю: Бунин наверняка так же близко, родственно, ревниво воспринимал всегда Лермонтова.

Обратимся к замечательному мастеру русской прозы М. Ю. Лермонтову, для примера. «…Лизавета Николаевна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные волосы упали на плечи: но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеею и сухими

плечами, на которых обозначились красные рубцы от узкого платья, всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николаевна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла ка-кой-то французский роман…» («Княгиня Литовская»).

Разумеется, времена меняются, в литературе, как и повсюду, бывают периоды смены эстетических критериев; подвержена литература и моде, подобно архитектуре, одежде, мебели.

Я привел здесь классические отрывки, чтобы подчеркнуть, сколь зорче, стереоскопичнее, ново-современнее взгляд Бунина, выбор и отбор деталей, сколь ярче эти его: «вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз», или портрет Ли, словно оконтуренный вонзенными вокруг фигуры ножами: «тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете…» («Генрих»).

Более всего связывали Бунина с Чеховым, — иные прямо говорили о подражании. Некий резон, конечно, был: Бунин, любя Чехова, впиваясь в каждую его новую вещь, имея содружественный и взаимно-близкий с ним взгляд на вещи, человека, общество, работая рядом в одно и то же время, насыщенное множеством проблем, которые они брали и разрабатывали весьма похоже, — конечно, не мог не испытывать влияния Антона Павловича.

Вместе с тем довольно легко показать и доказать, как по-разному писали оба даже на очень близкую, почти как в школе дают сочинения, одну, кажется, тему.

Еще прошу читателя укрепиться терпением: мы возьмем знаменитую, прославленную чеховскую «Степь» и сравним ее с маленьким рассказом Бунина «Далекое».

«Степь». «Из М. уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники».

В бричке, если помните, ехали купец Иван Иваныч Кузьмичов, настоятель местной церкви старичок Христофор Сирийский, кучер Дениска и «мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и благословения о. Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию…». Мальчик не понимает, куда и зачем едет, грустит и мучается от жары и однообразия

дороги. Бричка движется медленно, но еще тише движется автор, избрав бедного Егорушку передатчиком своих неторопливых наблюдений и ощущений от невеселой и неспешной поездки. Бричка долго покидает город, и Чехов в столь же замедленном ритме описывает отнюдь не обязательные вещи: острог с часовыми, старое кладбище, окраинные кузницы, кирпичный завод. Лениво переговариваются между собой Кузьмичов и о. Христофор, ведя весьма скучную беседу насчет «ученье — свет, неученье — тьма». Едут и едут. «Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали… Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу».

Начинается и продолжается подробное описание летней степи: то умытой росой и ожившей от влаги, то опять томящейся от жары. «Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы… Музыка в траве притихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи: все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной. Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница…»

В наивном глубокомыслии здесь якобы все еще слышится голос (уровень) Егорушки. Но — несомненно, что уже сам автор выступил вперед, это его голос и его резюме об увиденном.

В чеховских рассказах вообще мало бывает событий, историй. Чехов не любит фабулы: довольно самого потока жизни, а выводы читателю предлагается делать самому.

Бунин в этом отношении пошел еще дальше Чехова: его рассказы почти бессюжетны и держатся, опять же, как стихи, на атмосфере, на слове, на игре словом. И на предельной, еще большей, чем у Чехова, краткости, сжатости.

Вот **«Далекое».** «Иле девять лет. На нем гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, кожаные сапожки с сафьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках, дрожки шибко катятся большой дорогой, вокруг — поле, жаркое, летнее утро…»

Событий в «Степи» всего несколько: навстречу едет воз со

снопами. «На самом верху лежит девка. Сонная, изможденная зноем… Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора. — На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска. — Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!»

Потом встречаются: картинка жатвы, отара овец со злыми собаками и двумя чабанами. Далее — отдых у ручейка, передышка и кормление лошадей. Чехов постепенен и однообразен, как сама степь, ему важны атмосфера, подробности этого долгого дня пути, неторопливость и как бы необязательность любых незначащих действий и разговоров. Сама степь — ее бесконечность и приволье — героиня рассказа. «А вот на холме показался одинокий тополь: кто его посадил и зачем он здесь — Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один…»

Даже удивителен такой неожиданный наивный лиризм, и уж Егорушка здесь ни при чем. Чеховское мироощущение и чеховский нерв другие, все-таки более спокойные, чем у Бунина, перешагнувшего уже в иное, — хоть и на коротком отрезке, — время. У Бунина: «Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой, повиликой, какими-то белыми и желтыми цветами на длинных стеблях. Ничего не видно ни впереди, ни по сторонам — только бесконечный, суживающийся вдали пролет меж стенами колосистой гущи да небо, а высоко на небе — жаркое солнце. Синие васильки, лиловый кукольник, желтая сурепка цветут во ржи… И опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки навертевшихся на втулки цветов, запрыгали дрожки по выбоинам…»

Чехов признавался, что истратил на «Степь» много сил, писал трудно. «К несчастью, от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее я впадаю в крайность: каждая страница выходит компактной, как маленький рассказ, картины громоздятся, теснятся и, заслоняя друг друга, губят общее впечатление… В результате получается… конспект, сухой перечень впечатлений…»

Вот как даже Антон Павлович, пиша, учится писать, проверяет себя. Он невольно сбивается на беллетристику, перемежает свои пейзажи введением в них человеческих фигур, чтобы не дать заскучать читателю. Отсюда является довольно случайный двор еврея Моисея Моисеича, с его семьей, братом

Соломоном, — есть нечто неприятно-брезгливое в обрисовке этих фигур, почти карикатурное. Столь же принужденно явление красавицы-помещицы Драницкой; вяло плетется сеть вокруг неуловимого, неведомого Варламова, за которым торопится Кузьмичов. Чехов хочет показать нам людей степи, как-то живущих в ней, вроде сусликов и кузнечиков, — так Егорушку передают в обоз возчикам шерсти, далее он едет с ними, и автор опять стремится развлечь читателя по-ночному смутными, странными фигурами, мало обязательными в повести.

Побеждает все же героиня-степь: «В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью… Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня: едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного „а-а!“, и дремота опускает веки. А то, бывало (как много за этим нечаянным, выдающим все секреты повести „бывало“. — М. Р.), едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: „сплю! сплю! сплю!“, а другая хохочет или заливается истерическим плачем — это сова. Для кого она кричит и кто их слушает на этой равнине. Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы… Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен… А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни».

Вот в этом, надо полагать, и весь фокус этой повести и тона писателя, его неторопливости: ему, будто природе, тоже жаль утерять хоть мгновение жизни!..

И далее печальный наш мечтатель Антон Павлович, будто один из героев пьесы, продолжает совсем высоко-лирически: «И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинает чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, и излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут

даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!..»

А что же у Бунина?.. Маленький Иля с отцом-охотником съезжают к реке, к болоту, отец с собакой Джальмой идет с ружьем по кочкам в высоких сапогах, потом слышен выстрел, отец возвращается. «Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого чирка, и Иля… с жадностью ловит его на лету. Чирок еще теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесою пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови… Но как славно оно пахнет тиной и порохом! И Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле, — точно в черных чулках…

Ах, когда Иля вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире! Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промывать свое ружье, будет варить себе кулеш, спать возле порога дома на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено-серебристый рассвет».

Какая, однако, резкая разница! — Между желанием лететь птицей над степью и убитым зачем-то чирком!..

Маленький рассказ Бунина — несомненно из первых его приготовлений к «Жизни Арсеньева», к портрету отца, к детским путешествиям с отцом по соседним усадьбам. У Бунина все короче, жестче, сама мечта бытовая, прозаическая. Можно сказать, что он занят только собой и видит только себя в вымышленном девятилетием Иле.

Уж никак не заподозришь в уподоблении Чехову!

«Степь», между прочим, была написана в 1888 году, а под «Далеким» стоит дата: 1903–1926.

Нет-нет, Чехов совсем другой писатель. Он по-другому думает о мире, о людях, о жизни. Он сугубый реалист, у него жесткий, даже жестокий взгляд на людей: он видит их пустые мечты, прекраснодушие, ошибки, наивность, пошлость, повторы и повторы все одних и тех же пустых мечтаний и дел, безделье, праздность, лень.

Слишком хорошо знал жизнь, ее закон, — все свести к нулю, на круги своя, и беспомощность людей, глупых, лишенных этого знания и не умеющих извлекать уроки из своих же историй. Чехов печален, потому что все видит. Он не был безумцем, нервно-

экзальтированным поэтом, был, напротив, всегда объективен, спокоен и прост, как проста и ровна жизнь. Видел людей насквозь, как доктор, — в отличие, скажем, от Горького, который всегда выдумывал или приукрашал людей. Если являлся пафос, то тоже глубоко скрытый и окрашенный той же самоиронией.

Где-то у Бунина, кажется, сказано, что «они» (большевики) Чехова разрешили только потому, что не поняли.

Чехова иногда хочется назвать немецким писателем: из-за точности, аккуратизма. Особенно это заметно, когда немцы привозят и играют Чехова (Питер Штайн, например, с «Тремя сестрами»): как все аккуратно, пригнано, проверено-продумано, выстроено и расставлено по местам! Словно едешь в дорогом хорошем немецком поезде. Жестка и суха чеховская правда, не допускает капли фальши. Не зря Немировичу со Станиславским пришлось создать особый театр, чтобы играть Чехова: старые мехи не годились для нового вина. Не зря глубокий правдоискатель и психолог Олег Ефремов молился на Чехова, как на святую икону, учился у него и был вечно верен ему. «Почему Чехов близок? — спрашивал Ефремов. — Может быть, потому, что он говорил о том, что все мы люди слабые и все-таки пытаемся как-то совершенствоваться… Чехов — один из самых глубоких и честных писателей, как и Пушкин. И он все понимал, вернее, пытался понять, сочувствовал людям — у него нет злодеев, наоборот, везде мы, люди…»

Принявшись приводить примеры связи Бунина с лучшими мастерами, как миновать Ивана Сергеевича Тургенева, которого Бунин также всю жизнь ощущал родственным себе, близким писателем. Случалось, правда, и раздражался, перечитывая «Дворянское гнездо» или что-нибудь еще из Тургенева.

Возьмем наугад самую классику тургеневскую, — «Первую любовь».

«…Я воспользовался тем, что она не поднимала глаза, и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне: так все в нем тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой: солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ея пушистые, золотистые волосы, ея невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. — Я глядел на нее — и как дорога и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не знал и не жил до нея… На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником: я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ея ботинок выглядывали

из-под ея платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам… И вот, я сижу перед ней, — подумал я: — я с ней познакомился… какое счастье, Боже мой! Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами поболтал немного, как ребенок, который лакомится».

Иван Сергеевич Тургенев опытный беллетрист, автор большой и малой прозы, великий мастер. Но как тонет он в пространных описаниях, приблизительных сравнениях, не очень точных психологических характеристиках, — то расплывчатых и велеречивых, то внезапно обрывающихся. Иногда и дерзости ему не хватает, при всей его смелости.

Бунинские определения рядом — точно вонзенные стрелы, вбитые накрепко гвозди. Другая энергетика, другой стиль самой жизни, взгляд иной.

«…В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака, — все время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами, в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милом. И все усмехались — знали, отчего так бежит, так неустанно играет и притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна. Но глядела небрежно брезгливо» («Первая любовь», 1930).

Это, конечно, уже поздний, совершенно бриллиантовой прозы достигший Бунин, но все же…

Вспомним, однако, главного корифея русской прозы, гения прозы, самого упорного искателя и выразителя природы, — подлинного гуру, Учителя, Льва Николаевича Толстого. Как раз в ту пору, когда начинал крепнуть молодой писатель Бунин, в 80-е годы, после «Анны Карениной» Толстой переживает свой глубокий душевный кризис, свое недовольство «художественностью» вообще и своей личной в частности. Толстой возвращается к себе, художнику, уже совсем в новых для него произведениях: пишутся «Холстомер», «Хозяин и работник», «Крейцерова соната», «Отец Сергий».

Вот «Смерть Ивана Ильича»: «…Доктор, стоя на коленях на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор. Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и

чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему. Да ведь он не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему — ноги кверху».

И далее, после обеда и сборов жены в театр, на Сару Бернар: «…Вошла дочь, разодетая, с обнаженным телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой a la Capoul, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ними вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжечка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич. Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле, произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно…

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами перед собою, очевидно негодуя на них. Надо было поправить это как-нибудь, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть…»

Таков наш великий Лев Николаевич, в простоте своей правды.

Далее в русской прозе явится и сделает шаг на еще более высокую ступень мастерства другой русский классик — Владимир Набоков. С ним уж некому будет посоревноваться, посчитаться по гамбургскому счету.

«…Она тогда приехала к нему на две недели после

трехлетней разлуки, и в первое мгновение, когда, до смертельной бледности напудренная, в черных перчатках и черных чулках, в распахнутой старой котиковой шубке, она сошла по железным ступенькам вагона, посматривая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг, с лицом, искаженным мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею, ему показалось, что красота, которой он так гордился, выцвела, но по мере того, как его зрение приспособлялось к сумеркам настоящего, столь сначала отличным от далеко отставшего света памяти, он опять узнавал в ней все, что любил: чистый очерк лица, суживающийся к подбородку, изменчивую игру зеленых, карих, желтых восхитительных глаз под бархатными бровями, легкую, длинную поступь, жадность, с которой она закурила в такси, внимание, с которым вдруг посмотрела — не ослепнув, значит, от волнения встречи, как ослепла бы всякая — на обоими замеченный гротеск: невозмутимый мотоциклист провез в прицепной каретке бюст Вагнера: и уже, когда приблизились к дому, прошлый свет догнал настоящее, пропитал его до насыщения, и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине три года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда» (В. Набоков «Дар»).

Владимир Набоков, как стилист, несомненно занимает самую верхнюю ступеньку на лестнице русской прозы: это он сделал следующий шаг вверх после Бунина, — хотя, казалось бы, писать еще гуще, еще виртуознее, свободнее, пронзительнее, чем Бунин, просто невозможно: плотность такая, детализация такая, что читать невозможно, читатель задыхается: плотность прозы достигает почти плотности воды, — уже не двойной бульон, по слову Чехова, а тройной, четверной, — так только уху прежде варили: один сорт рыбы, за ним второй, следом еще один, до желатинной густоты.

Однако, если пойти от Набокова вспять, по ступенькам — Бунин — Чехов — Толстой — даже Достоевский (хотя у Федора Михайловича было совсем другое письмо, хаотическое, многословное, безразмерное), так вот, если пойти вспять, то выйдет путь от микронизации, изыска, сверхметафоры, — к укрупнению: персонажа, мысли, — мысли о жизни, о том, что человек в ней, что есть она, что есть смерть, что Бог, время, пространство и прочее в таком духе. Со временем извечный вопрос о форме и содержании, что важнее: что писать или как писать — сам собою вышел на ответ: важно не что или как, а важно кто пишет.

Возможно, еще до Набокова (или рядом, или сразу за ним)

следует поставить Мандельштама, Цветаеву и Пастернака, обогативших русскую прозу, — один — «Четвертой прозой», вторая — своим «Из дневников», Пастернак — «Охранной грамотой», «Детством Люверс» и «Доктором Живаго».

Это подлинная проза, нет сомнения. Но все же за нею более сгущены тени Э. М. Рильке и невероятного Пруста. Так мне кажется…

Грешно было бы забыть таких мастеров прозы, как Олеша, Бабель, Булгаков, но дело не в некоем списке.

Читатель, надеюсь, поймет, мои сопоставления сделаны не для показа, кто лучше, каждый замечателен по-своему. Речь о движении русской прозы к ее идеалу правдивости и выразительности, художественности, о верном пути Бунина к своей вершине.

«…его стихи впервые появились на страницах отцовского „Руля“, газеты, которая, считая себя преемницей славной петербургской „Речи“, намеревалась продолжать ее давнюю традицию — поддерживать хорошую литературу. Для первых номеров редакторы ничего не нашли, но уже 27 ноября газета смогла напечатать рассказ самого маститого из эмигрантских писателей, академика Ивана Бунина рядом с молодым поэтом В. Набоковым (как было не спутать его с редактором газеты и ее постоянным автором В. Набоковым-старшим?). Конечно, появиться на одной полосе с Буниным — большая честь для начинающего поэта. Бунин для юного Набокова был не просто знаменитый русский писатель. Бунин был его любимый поэт, может быть, лучший современный поэт — Набоков в тогдашних стихах присягал на верность бунинской прозе:

> Твой стих роскошный и скупой, холодный
> и жгучий стих один горит, один
> над маревом губительных годин,
> и весь в цветах твой жертвенник свободный…
> Безвестен я и молод в мире новом,
> кощунственном, но светит все ясней
> мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
> не согрешу пред музою твоей.

Вряд ли к кому-нибудь еще обращался Набоков так восторженно, так открыто»[4].

Русская литература не жила отдельно от английской, немецкой, французской, а позже от американской или

испаноязычной литератур. Отличие лежало в русской жизни, русском характере и герое. Хотя правда жизни, кто-то сказал, не была и не будет правдой искусства.

Чехов очень умен, глубок, у него, — особенно в поздних рассказах и пьесах, где переплетаются, переходят один в другой похожие мотивы, герои, одна и та же постоянная печаль о жизни и человеке.

Возможно предположить, что Чехов пришел к драматургии, как к более компактной, свободной форме, возможно, в самом деле высшей литературной форме. Чехов как бы устал от описательности, от необходимости волей-неволей быть беллетристом. Постоянная мечта написать роман привела его также, — сначала к поздним повестям, каждая из которых если не маленький по сути роман, то несомненно конспект романа. «Моя жизнь», «Записки неизвестного человека», «В овраге», «Скучная история», «Бабы», «Дуэль», «Мужики» — разве все это не маленькие компактные романы? А пьесы? Каждая пьеса стоит романа. Начиная с «Чайки», которая легко представима просто небольшим рассказом и вместе с тем вполне обладает материалом, «мясом» на целый роман, да еще с параллельными линиями судеб ее героев, как в настоящем романе.

Вот «Моя жизнь» — какая умница! Какой огромный роман в малой повести! И мысль, прежде всего мысль господствует надо всем. Ни капли беллетристики, болтовни, глупости: все выверено, точно, глубоко, благородно. А написано — с ума сойти! И что сказано о мужике, о народе, — внутри полемика с Л Н. Толстым, с идеей опрощения, необходимости труда для каждого. Не в этом дело, — говорит суровый и жесткий доктор Чехов, естественник и реалист. Жизнь, говорит он, жизнь, смерть, ничего более нет. А Маша — какой образ, а сестра, отец!.. «Маленькая польза». Гений! То же самое — в «Мужиках», «В овраге».

Шедевры русской прозы.

РЕВОЛЮЦИЯ 17-ГО. ИСХОД

Но вернемся к Бунину, к его судьбе.

У русского писателя конец жизни — всегда трагедия. Убивают на дуэли, ссылают, отлучают от церкви, вынуждают уйти из дома, устраивают публичную казнь, подвергают остракизму, лишают родины…

У Владислава Ходасевича есть статья «Кровавая пища», где говорится, что «в известном смысле историю русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писателей.

„Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды, в какой-то праздник, потребовал оду у придворного пииты, Василия Тредьяковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростью оплошного стихотворца“.

Так, с холодною живописностью историка, хотя, впрочем, не совсем точно, рассказывает Пушкин… За Тредьяковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрьмы, ссылка, изгнание, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на кого он поднимает руку, эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, венчающих „чело“ русского писателя… И вот: вслед за Тредьяковским — Радищев; „вслед Радищеву“ — Капнист, Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Одоевский, Полежаев, Боратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев (особый, ни с чем не сравнимый вид издевательства), Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский, Короленко… В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семенов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей и расстрелянный Гумилев.

Я называю имена лишь по одному разу. Но ведь на долю скольких пришлось по две, по три „казни“ — одна за другой! Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде чем был убит, не узнал солдатчины и не побывал тоже в ссылке? Разве Достоевского не возили на позорной тележке и не возводили на эшафот, прежде чем милостиво послали на каторгу? Еще ужаснее: разве Рылеев не дважды умер?..»

Далее автор пишет, что все это были «бичи и железы», а сколько было тайных казней, когда надо всеми измывались цензоры, любимые творения коверкали, сжигали, за писателями следили, ловили, позорили.

Далее: «снова идет череда: голодный Костров, „благополучный“ Державин, преданный Екатерине и преданный Екатериной; измученный завистниками Озеров, Дельвиг, сведенный в могилу развратной женой и вежливым Бенкендорфом; обезумевший от „свиных рыл“ и сам себя уморивший Гоголь; дальше — Кольцов, Никитин, Гончаров; заеденный друзьями и бежавший от них, от семьи, куда глаза глядят, в ночь, в смерть Лев Толстой; замученный Блок, загнанный большевиками Гершензон; доведенный до петли Есенин. В русской литературе трудно найти счастливых, несчастных — вот кого слишком довольно. Недаром Фет, образчик „счастливого“ русского писателя, кончил все-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться, и в эту минуту умер от разрыва сердца».

Ходасевич писал свою статью по смерти Есенина, — не знал еще о Маяковском, Цветаевой, Мандельштаме, Пильняке, Бабеле, сотнях других русских писателей, сгинувших в самом ГУЛАГе или в эпоху ГУЛАГа.

И здесь закономерность судьбы русского писателя не обошла Бунина.

Бунину выпало оказаться в общей катастрофе, выпала революция. Катастрофа общая — катастрофа личная. Впрочем, скорпион и тут выстоял, сжался до предела. Еще пожил на свете.

Необычайно суровой, говорит история, была зима 1916/17 года: в Петрограде доходило до минус 27, в Москве — за 30°. Железнодорожные пути позамело сугробами, локомотивы стояли, подвоз продуктов в города иссяк, не было дров, угля, электричества, газа. К хлебным лавкам ночами вытягивались длинные очереди. Шла война. Тяжкая, кровавая, уже, по сути, проигранная. 21 февраля царь уехал в Ставку в Могилев, и в этот же день стал Путиловский завод. 23 (8) марта социалисты организовали шествие в честь Международного женского дня: толпы двигались к Думе с лозунгами о женском равноправии, но более с криком: хлеба! Погода отмякла, засверкало солнышко, и, как опять же говорят историки, перемена погоды способствовала народному возмущению и возбуждению. Полиция разгоняла толпы, по мостовым понеслись — зацокали казаки. Мосты блокировали войска, чтобы не дать народу с окраин переть в город, но народ шел по невскому льду, минуя кордоны.

Этот год, еще не самый страшный среди подступающих, Бунины провели частью в деревне, частью в Москве, бывал Иван Алексеевич и в Петрограде. Как ни странно, тогда и потом, под коростой голода-холода, тифа, перестрелок на улице, декретов-запретов, чекистских облав, обысков и арестов, русская либеральная и особенно художественная интеллигенция еще продолжала — за кремовыми булгаковскими занавесками спорить, посиживать за самоварами, ужинами, читать стихи и рассказы, как-то жить и сохранять ту атмосферу, которая возникла еще в последние годы старого века и первые годы нового, двадцатого, заявившего себя так круто, что круче некуда. Художник Нилус и другие одесские друзья звали к ним, — на юге все же тепло, легче с продуктами, но только проблемой стало — добраться куда-нибудь, не рискуя жизнью. К тому же на юге уже разгоралась Гражданская война, — тот самый русский бунт, о котором предупреждал, ярость которого предвидел Бунин.

Они вели совместный дневник (слава Богу, сохранившийся до нас, потомков). Бунин по лени, по небрежности, недостатку времени оставил в нем не так много записей, — больше

записывала мужнина верная жена Вера Николаевна: понимала, что муж умнее, опытнее, старалась передать его впечатления и слова, когда не хватало своих.

Бунинский необыкновенный мозг отбирал, оставлял в памяти сам, что ему было надо. Писатель все равно всегда работает, всегда пишет: глядит ли в окно, глядит кино, кого-то встречая, кого-то провожая. Из Глотова, из деревни в 17-м году Бунин пишет Нилусу: «Жить в деревне и теперь уже противно. Мужики вполне дети, и премерзкие. „Анархия“ у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь, и чисто идиотское непонимание не то что „лозунгов“, но и простых человеческих слов — изумительное. Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, — это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся на счет совершенно неведомого ему народа, — вспомнит мою „Деревню“ и пр.!»

В других письмах есть признания: «употребляю чуть не половину жизни на газеты, не написал пока еще ни единой строки!», «Все лето с утра до вечера читаю газеты».

Зима 1917/18 года прошла в Москве. Все дневниковые записи Ивана Алексеевича об этой зиме вошли потом в его уже в эмиграции написанную книгу «Окаянные дни». Из записей Веры Николаевны можно привести совсем малую: «Мы с Яном были у заутрени в церкви „Никола на курьих ножках“. Родители не рискнули пробираться в темноте… Маленькая, уютная старинная церковка была полна народом. Когда мы вошли, пели „Волною морскою“ и слова „гонители“ и „мучители“ отзывались в сердце совершенно по-иному. Настроение было не пасхальное — многие плакали. И первый раз за всю жизнь „Христос Воскресе“ не вызвало праздничной радости. И тут, может быть, мы впервые по-настоящему поняли, что дышать с большевиками одним воздухом невозможно…» И далее: «…устаешь от впечатлений шумных улиц, приобретавших все более хамский вид, от бульваров с зелеными газонами, где в прежнее время желтели и мохнатились одуванчики, а теперь парами лежит освобожденный народ и засыпает шелухой подсолнечной свежую траву — вот и свернешь незаметно для себя в переулок от одного особняка до другого и думаешь о былых временах, смутно ощущая уже, что старый мир, полный несказанной красоты и прелести, уходит в Лету»…

Старый мир, будто свирепым кавалерийским ударом шашкой, уже был развален наискось от ключицы до задницы.

Настроения, чтобы сесть и писать, конечно, не могло прийти. Если он жил, чтобы писать, то теперь это стало невозможно. Ни жить, ни писать.

Как же все это случилось? Вот свидетельство и размышления

Нины Берберовой из ее книги «Курсив мой»: «Мне и сейчас кажется еще какой-то фантасмагорией та стремительность, с которой развалилась Россия, и то гигантское усилие, с которым она поднималась — сорок лет. Тогда на верхах люди просто бросали все и уходили, сначала царь и его министры, потом кадеты, потом социалисты. Оставались самые неспособные и неумные, пока не провалились в тартарары и они. От святых (вроде кн. Львова) и до бесов, имена которых всем известны, все были тут налицо, вся гамма российских бездарностей, слабоумцев, истериков и разбойников. А главный виновник всего тот, который дал России опоздать к парламентскому строю на сто лет, тот, который не дал возможности кадетам и социалистам выучиться ответственному ремеслу государственной власти или хотя бы ремеслу оппозиции государственной власти, тот, кто вел страну от позора к позору двадцать три года, кто считал, что, прочитав в день коронации молитву „помазанника“, он, принимая символ за реальность, стал действительно этим „помазанником“, никакой так называемой мученической смертью не заплатил за свои ошибки: они остались при нем.

То, что можно платить смертью за жизнь, есть предрассудок, апеллирующий к чувственности чувствительных людей. Она сама есть часть жизни… во всех российских несчастьях прежде всего и больше всего повинен царь… Николай Второй жил в убеждении, что Бог реально мазал его и строго запретил делить власть с кем бы то ни было…

Счастливая толпа, гневная толпа, колеблющаяся толпа, свет, блеснувший на мгновение (особенно среди интеллигенции и рабочих), и кровавый развал всего, и искусственно продлеваемая война, преступно и бессмысленно подогреваемый патриотизм, дешевый и вредный, и слова, слова, и неумение сделать то, что нужно, все было в ту весну и в то лето, кроме быстрых, верных и необходимых мер. Не было гения, и когда пришел Октябрь, то мы все оказались не с ним (даже Горький в своих „Несвоевременных мыслях“), потому что мы не могли принять ни „немецких денег“, ни постепенного уничтожения целых классов населения, ни грозящей гибели двух поколений интеллигенции, ни „все позволено“ ленинской идеологии, ни снижения культуры, ни ставки на мировую революцию… рушилось то, что не только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд, стыд за подлость и глупость старого режима, стыд за гниение его на глазах всего мира: Цусима, „Потемкин“, Восточная Пруссия, Распутин, царица, виселицы, и сам он, тот, кому нет и не может быть прощения, пока на земле останется хотя бы один русский. Он думал, что он второй царь Алексей Михайлович и что Россия — та самая

допетровская Русь, которой нужны помазанники, синоды и жандармы, когда России нужны были быстрые шаги сквозь парламентский строй и капитализм к планированию, новым налогам, свободному слову и технологии двадцатого века, к цивилизации для всех, к грамотности для всех, к человеческому достоинству для каждого. А те шутники, которые пришли ему на смену, думали, что их пригласили на праздник: не понравилось — уйдем, а понравилось — останемся и будем веселиться, это наш день. Но это был день России, и они этого не учли. Не учли, что их оглядка на демократических министров Франции и либеральных послов Англии не только смешна и недостойна, но и преступна и что сермяжный демос шел в историю, сметая все, и прежде всего их самих, на своем пути».

И далее (большое искушение продолжить цитату. — М. Р.): «Ничего не неизбежно, кроме смерти. И революция не была неизбежна. Двадцатый век научил нас, что нищету и неравенство, эксплуатацию и безработицу преодолевают иначе. В Швеции сто лет тому назад было три короля под-рад, вносивших в парламент законопроекты слишком радикальные, и парламент их проваливал, пока парламент не стал столь же радикален, как и сам шведский король, и законопроекты наконец прошли (пенсии на старость). Не „даровать“ сверху конституцию надо было, а совместно с оппозицией разработать ее и повернуть туда, где страна могла бы дышать и развиваться; не дворцовый переворот был нужен, а спокойный отказ от всех вообще дворцов и фонтанов, чтобы провести линию между мифом и действительностью. А если несчастные войны были России не по силам, то надо было оставить мысль о великой России раз и навсегда. Только недоразвитые страны делают революции — этот урок был нам преподан двадцатым веком, развитые страны меняются иначе».

Зиму 1917/18 года Бунины прожили в Москве, весной с немалым трудом перебрались в Одессу, ради безопасности, ради тепла, ради продуктов, которые в Первопрестольной все дорожали или исчезали совсем. Однако здесь тоже не медом и сахаром текла жизнь, шла просто война.

Любимые Буниным усадьбы, барские дома, наполненные духами и вещами старины, культуры, истории, красоты, — стоит ли много говорить об этом?..

В воспоминаниях замечательного художника Юрия Анненкова, в первые годы революции вполне лояльного к советской власти, писавшего портреты и Ленина, и Троцкого, есть одна необычайная страница. Кажется, она вмещает все!..

«…Мой куоккальский дом, где Есенин провел ночь нашей

первой встречи, постигла несколько позже (после смерти Есенина) та же участь. В 1918 году, после бегства Красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куоккалу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись отметки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту.

Вырванная из потолка с мясом висячая лампа втоптана в кучу испражнений. Возле лампы — записка: „Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила“.

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда — кастрюли, сковородки, чайники — до верху наполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: на всех этажах, на полу, на лестницах — сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: „Понюхай нашава гавна ладно ваняит“.

В третьем этаже — единственная уцелевшая комната. На двери записка: „Тов. командир“. На столе — ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой.

…Руины моего дома и полуторадесятинный парк с лужайками, где седобородый Короленко засветил однажды в Рождественскую ночь окутанную снегом елку; где, гимназистом, я носился в горелки с Максимом Горьким и моей ручной галкой „Матрешкой“; где я играл в крокет с Маяковским; где грызся о судьбах искусства с фантастическим военным доктором и живописцем Николаем Кульбиным; где русская литература творила и отдыхала, — исчезли для меня навсегда, как слизанные коровьим языком…»

О, революция!.. О, целый век звеневшее в воздухе: «К топору зовите Русь!» О, наивная, прекраснодушная вера в мирный, добрый наш народ, богоизбранный и боголюбивый!..

Разумеется, революция, катастрофа, изгнание, — всё, с этим связанное, оставалось в людях, продолжало в них клокотать, — как могло быть иначе? Вот из «Грасского дневника»

Г. Кузнецовой:

«21 октября 1928 г. В сумерки И. А. вошел ко мне и дал свои „Окаянные дни“. Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это, — я же была во время всего этого девчонкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью».

И далее:

«12 мая. Вчера за обедом Илья Исидорович (Фондаминский. — М. Р.) рассказывал о том, что, читая два года об Империи, он только в последние дни почувствовал ее, стал представлять ее себе:

— Каждую вещь представляешь себе как-то издали. Империю я представляю себе как какой-то ассирийский храм, величественный и мрачный. Люди сгибались от тяжести этого храма. Они любили царя, поклонялись ему, видели в нем отца, но на устах у них даже в праздники не было улыбки.

И. А. — Это зависит от свойства русского человека. Никто так тяжело не переносит праздник, как русский человек. Я много писал об этом. И все остальное проистекает отсюда. В русском человеке все еще живет Азия, китайщина… Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему еще подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом под стать ему, и в конечном счете великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой радостной религии… ложь, ничто так не темно, страшно, мрачно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги… А стояние по восемь часов, а ночные службы… Нет, не говорите мне о „светлой“, милосердной нашей религии… Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же наш Карташев (проф. богословия академии в Париже. — М. Р.), будь он иереем, — жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным… Нет, уж какая тут милосердность. Самая лютая Азия…»

«28 июня… Я читала о Николае 1-ом и о телесных наказаниях, о шпицрутенах. Дойдя до описания экзекуций, кончавшихся, как известно, по большей части смертью, и затем об ответе Николая одному из министров: „Я не могу его казнить. Разве вы не знаете, что в России нет смертной казни? Дать ему двести шпицрутенов“ (что равносильно смерти), — я не могла удержаться от слез и, выйдя затем в коридор, говорила об этом с негодованием В. Н. и Илье Исидоровичу. И. А., услышав мои слова, позвал меня к себе в спальню, запер двери и, понизив

голос, стал говорить, что понимает мои чувства, что они прекрасны, что он сам так же болел этим, как я, но что я не должна никому высказывать их…

— Все это так, все это так, — говорил он, — я сорок лет болел этим до революции и теперь десять лет болею зверствами революции. Я всю жизнь страдал сначала одним, потом другим… Но не надо говорить о том… не надо…

Так как у меня все еще текли слезы, он гладил меня по голове, продолжая говорить, почти шепотом:

— Я сам страдал этим… Но не время…»

У Бунина словно бы остается страх перед подслушивающими, подозревающими, — как перед красными, так и перед белыми.

Запись, между прочим, относится к 29-му году…

Летом 1918 года Буниным со всякими дорожными мытарствами удалось все же уехать в Одессу.

Вот небольшая выборка из «Дневников» о тех днях: «Слухи, что сегодня в ночь восстание большевиков, и австрийцы уходят… Цетлин сидел часа два. Велись разговоры на политические темы (Михаил Осипович Цетлин, критик, литератор, эсер, и его жена Мария Самойловна были большими и самыми верными друзьями Буниных, всегда помогали, до самого последнего часа и Ивана Алексеевича и Веры Николаевны, когда Бунина уже не стало. — М. Р.)…У нас в городе стрельба… Сегодня австрийские солдаты ходили по городу с красным флагом… Ян сказал: „Как это сочетать, революционеры всегда за свободы, а как только власть в их руках, то мгновенно, разрешив свободу слова, они закрывают все газеты, кроме своей“.

Революция производится во имя борьбы против насилия, а как только власть захвачена, так сейчас же и казни. Вот Петлюра уже расстреливает офицеров Добровольческой армии… Гроссман просит у Яна два тома — один рассказов, другой стихов, издание должно быть в пять тысяч экземпляров… Дома вчера у нас был пир, который затянулся до трех часов вечера… Вчера убито много в стычке между немцами и легионерами… Петлюровцы приблизились к Одессе… Петлюровские войска в касках, вероятно, взятых от немцев… Опять началась жизнь московская. Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение, выходить из дома можно до девяти часов вечера. Вчера выпустили пятьсот уголовных… Ян был подавлен. Он говорил, что прошлую ночь три часа сидел на постели, охватив руками колени, и не мог заснуть.

— Что я за эти часы передумал. И какое у меня презрение ко всему!..

На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно,

зверски… Вчера весь день шел бой. Наша улица попала в зону сражения: трескотня ружей, пулемет, изредка орудийные выстрелы… Ян недавно перечитал „Семейное счастье“ и опять в восторге. Он говорит, что мы даже и представить себе не можем, какой переворот в литературе сделал Лев Николаевич. Ян перечитывает старые журналы, а потому ему очень ярко бросается в глаза разница между Толстым и его современниками.

— По дороге неслись телеги, и дрожали ноги, — прочел он, — ведь это модерн для того времени, а между тем как это хорошо! Ясно вижу картину.

Ян много читает по-русски, по-французски. Политика чуть-чуть менее занимает его. Слухи: французы уходят из Одессы… Сейчас я долго сидела с Яном. Он возбужден, немного выпил и стал откровеннее. Он все говорил, что была русская история, было русское государство, а теперь его нет. Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь нет и истории никакой… Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловцы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен быть писателем, а должен принимать участие в правительстве… Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка, ты и представить не можешь, как я страдаю… Радио: Клемансо пал. В 24 часа отзываются войска. Через 3 дня большевики в Одессе!..

… Я позвонила Цетлиным. Они уезжают, звали и нас. Мы пошли проститься. У них полный разгром. Им назначили грузиться через 2 часа, на пароход. Фондаминский хорош с французским командованием, он устраивает им паспорта… Цетлина опять уговаривает нас ехать. Сообщает, что Толстые эвакуируются. Предлагает денег, паспорт устроит Фондаминский. От денег Ян не отказывается, а ехать не решаемся. Она дает нам десять тысяч рублей…»

Запись Бунина: «В городе говорят, что на слободке Романовке почти не осталось „жидов“!

Эдвардс говорит, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым попавшимся…»

Но пройдет еще почти целый год, — опять тяжелая зима, очень голодная, унизительная, лишенная какого-либо высокого смысла жизнь, — прежде чем Бунины решатся наконец на отъезд.

«…Никодим Павлович сказал: — Вот, Иван Алексеевич, вы опять правы оказались в своем суждении о русском народе: и бестолочь, и слабоволие, разрозненность, недоведение дела до конца, вечная вражда партий, подставление друг дружке ножки, азиатское интриганство.

— Да, — ответил Ян, — Троцкий правит Россией и что же? Не желают или не могут свергнуть это иго. Двести лет под татарами сидели, теперь советской власти подчиняются…»

«Ян сказал: — А царя, вероятно, причислят к лику мучеников и будут считать святым. Как он мог не бежать, ну, сначала он, может быть, не хотел, а потом — как он мог сам оставаться среди таких негодяев, да еще с дочерьми…»

26 января 1920 года на пароходе «Спарта» Бунины покинули Одессу, двинулись на Константинополь.

В одном из первых рассказов, написанных уже за границей («Конец», 1921), Бунин пишет, каков был отъезд, путешествие в шторм и ночь на «Патрасе», старом, ненадежном корыте, мало похожем на роскошную «Атлантиду» «Господина из Сан-Франциско». Пассажиры парохода — словно общий портрет всей будущей парижской эмиграции: «Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет неплохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием, как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и, наконец, добежавшие до последней русской черты».

Цетлины сдержали свое слово о помощи: в Белграде, — уже в Белграде! после Константинополя, Буниных ожидали деньги и французские паспорта. В Париже они же поместили приезжих на первое время в своей квартире.

Но вернемся к прекрасному, мрачно-возвышенному, горько-выстраданному «Господину из Сан-Франциско». Этот шедевр обрел свою долгую и великую, великую для автора, о том еще и не ведавшего, историю. Как говорят биллиардисты, хороший удар не пропадает.

В 1921 году, уже в эмиграции, в Париже вышел сборник рассказов Бунина «Господин из Сан-Франциско». Это издание будто взорвало общество, — и читавших и не читавших Бунина прежде. Французскую прессу заполнило множество откликов: «… настоящий русский талант, кровоточащий, неровный и вместе с тем мужественный и большой», «…он рисует перед нами картину всего человечества в целом и русского народа в частности — в пессимистической манере…», «господин Бунин прибавил еще

одно имя, мало известное во Франции, к именам самых больших русских писателей».

Бунина читают Ромен Роллан, Томас Манн, Андре Жид, Эрих Мария Рильке, — корифеи европейской литературы. В 1922 году Р. Роллан выставил кандидатуру Бунина на Нобелевскую премию.

Бунины снимают квартиру на улице Оффенбах, весьма скромную. Надо ведь работать. Легко представить себе, сколько передумано, пересмотрено вновь, сколько новых навалилось впечатлений.

Русский писатель всегда в долгу перед тем, чего еще не написал, что годами держит под спудом, обкатывает, обдумывает, готовит к тому, чтобы перевести на бумагу. В Париже не легко сосредоточиться. Вокруг — брожение и кипение эмиграции.

Подобно разношерстному обозу в гражданскую, эмиграция тянулась за остатками Белой армии, а поскольку армия расползалась после галлиполийских лагерей на пол-Европы, полки и дивизии стояли во Франции, Чехии, Болгарии, Польше, — генералы и члены царской семьи во главе с великим князем Николаем Николаевичем старались сохранить войско, — беженцы соответственно оседали в Париже, Праге, Белграде, Берлине, на востоке — в Шанхае и Харбине. Начиная с Врангеля во главе «Русского совета» (готового якобы правительства) и кончая Савинковым, засылавшим через границу диверсантов в красную Москву и Питер, все надеялись на одно: новое вторжение для разгрома большевиков. Хотя мир эмиграции, жизнь, быт, люди были столь же пестры, как описанные Буниным пассажиры «Спарты», — многие уже перестали надеяться, хотя тема у всех оставалась одна: Россия и что делать?.. Наиболее популярная парижская газета Милюкова «Последние новости» все более выступала за отказ свержения Ленина оружием: надеялись на крестьянина, опять на русского мужика и русский бунт, — уже против новой власти.

Жила эмиграция почти автономно, по-своему, по-русски. Продолжали махать после драки кулаками: монархисты, эсеры, кадеты. Опять были бедные и богатые, знатные и безвестные, высокоблагородные и низкопородные. Выходили газеты и книги, десятками создавались издательства. Художественная интеллигенция собиралась в раздельные группы-салоны, с той или иной партийной ориентацией. Писатели и артисты жили более за счет благотворительно-любительских собраний, вечеров, с продажей билетов. Тем зарабатывали на хлеб Куприн, Зайцев, А. Толстой, Мережковский, Шаляпин, Рахманинов, многие другие.

Бунин, как всегда, сторонился политики, — однако «Окаянные дни» напечатал в монархическом «Возрождении»,

выходившем под редакцией П. Б. Струве, там же печатал рассказы, очерки о французской революции. Литературная борьба все равно продолжалась, и не без политической окраски, так или иначе приходилось влезать в драку, выставлять скорпионское жало против врагов.

Например, в журнале «Воля России» ведущий критик М. Слоним мог написать: «Париж остается не столицей, а уездом русской литературы. Старшее поколение русских писателей не существует».

Внешне мирные, с посиделками по кафе и вечеринкам, межпартийные и межгрупповые связи и отторжения взрывались иногда скандалами и обагрялись кровью. Не обходилось и без вмешательства разведок — русской, советской, французской, немецкой.

29 марта 1922 года в Берлине русские монархисты совершили покушение на П. Милюкова в момент его лекции. Милюков остался жив благодаря тому, что его заслонил собою В. Д. Набоков (Набоков Старший), отец писателя Вл. Набокова-Сирина, известный либерал, редактор «Руля», член Государственной Думы, кадет, борец против антисемитизма, «черной сотни» и «Союза русского народа». Тремя пулями Набоков был сражен наповал (об этом трагическом дне осталась пространная запись в дневнике В. Набокова). Убийцами были некий Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий, бывшие офицеры, монархисты и черносотенцы.

Бунин в своем соболезновании написал: «Даже если Господь пошлет в будущем „новой“ России самые щедрые блага, когда еще снова увидит она Набокова?..»

Эмигрантский раскол в эту пору был уже так силен, что некому было поначалу и отпевать покойного: РПЦ разделилась, образовалась так называемая Карловацкая церковь, которая все борется с жидомасонством, словами первоиерея владыки Виталия сказав, что «масонство пострашнее, чем Гитлер».

Эта трагедия была одной из самых заметных во всю пору эмиграции. Так что стычки литературные бледнели рядом с подобным. Но все же…

К сожалению, мы все еще мало знаем, — думается, пришла пора собрать и издать «Энциклопедию русской эмиграции» — вот была бы книга!

Отличало эмиграцию и еще одно чувство, которое выразил в своих известных стихах Георгий Адамович и которое наверняка было близко Бунину:

…За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье,
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет силы сладостней — все потерять,
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты не был к Богу ближе,
Чем здесь, устав скучать, устав дышать,
Без сил, без денег, без любви,
В Париже…

16 февраля 1924 года в Париже проходил вечер, посвященный миссии русской эмиграции, выступали Шмелев, Д. Мережковский, И. Манухин, К. Кульман, другие либеральные деятели, вместе с ними — Бунин. Среди прочего Бунин говорил: «… Да, колеблются устои всего мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще небывалой жаждой корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморре. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгают, Содом и Гоморра ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобресть власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гоморру, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей… В свое время непременно падет на все это Божий гнев, — так всегда бывало. „Се Аз востану на тя Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря…“ И на Содом и Гоморру, на все эти Ленинграды надет огнь и сера, а Сион, Божий Град Мира, пребудет во веки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?..»

Многие эмигрантские издания быстро отреагировали на это собрание: «Вечер страшных слов», «Голоса из гроба», «Бессильные потуги» и т. п. Отозвалась и Москва: 16 марта 1924 года — статья в «Правде»: «Парад мертвецов».

Москва вообще не церемонилась со своими «бывшими», — могли написать, что Мережковский умер, а Бунин где-то утонул в Швейцарии. Знаменитый критик А. Воронский в статье о Бунине, Мережковском, Куприне, разбирая «Розу Иерихона», писал: «Бунин хороший писатель, хотя для меня мертвый, потому что не двигающийся, застывший и принадлежащий к завершенной главе в истории русской литературы. Она давно уже дописана, а Бунин к ней только приписывает».

Так, кстати, начиналась советская практика клеймения, отставки талантливых и настоящих писателей от литературы, чтобы потом административно освободить места «передовым», «выдающимся», «лучшим» советским.

За тридцать три года жизни в эмиграции Бунин не только много написал, но еще много выступал, читал на литературно-благотворительных вечерах, элементарно зарабатывал тем деньги на жизнь, выпустил несколько книг и собрание сочинений в берлинском «Петрополисе». Его критиковали, его многие не любили, не принимали, — он мало обращал внимания. Зинаида Гиппиус написала разносную статью на «Митину любовь», — Бунин, однако, пришел в дом Мережковских, когда она умерла, проститься и плакал над нею, уйдя в соседнюю комнату.

Особенно клевали его (те же Мережковские), когда было объявлено о его Нобелевской. Бунин, конечно, не мог знать, но Москва не только не поздравила его, — русское посольство в Париже и особенно знаменитая Александра Коллонтай, советский посол в Швеции, делали все возможное, чтобы повлиять на Шведскую академию, на общественность, чтобы помешать Бунину получить премию. Чекисты тоже не спускали с него глаз.

Даже сегодняшнее отношение к Бунину показывает, как мало он оценен по существу в нашей «новой» России: до сих пор у нас нет полного собрания сочинений писателя, нет музея, нет памятника. Что ж, и так бывает с русскими писателями, хотя, как правило, «любить они умеют только мертвых», — сказано Пушкиным. Слава Богу, у Бунина есть читатель, — он ширится, углубляется, вчитывается в Бунина. Тем самым Иван Алексеевич остается жив, остается на Родине, стоит гордо и почетно в плотном ряду великих русских писателей.

Политические дела, как и прежде, Бунина интересовали мало. Он мог пообедать с Керенским, попить чайку с Милюковым или Шульгиным, познакомиться с Савинковым, постоять вместе со всеми на панихиде по Корнилову или великому князю Николаю Николаевичу, но… не более.

Когда собираются, сходятся в гости, — у Буниных «Четверги», — Бунины продолжают дружить с Цетлиными,

Алдановым, Толстыми, — разговоры, конечно, возвращаются к политике, к России, неизбежно, но Иван Алексеевич чаще всего сдержан, немногословен, может подняться, сходить за книгой, отыскать закладку и процитировать, например: «Полудикие народы… их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость». «„Капитанская дочка“, господа!.. Это чудесное определение очень подходит ко всему русскому народу…» И вот, здесь же. «Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердные, которым и „своя шейка — копейка и чужая головушка — полушка“… Оттуда же!..»

Или вспоминается Чехов, его отношение к народу, к мужику: «Бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно: они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у сосёда, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Мужик. Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, кто богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы, и сами бранятся так же отвратительно: самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит „ты“, и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?» («Мужики»).

А в «Дневнике» остается такая запись: «Читаю Соловьева т. VI… Беспрерывная крамола, притязание на власть бояр и еще неконченных удельных князей, обманное „целование креста“, бегство в Литву, в Крым, чтобы поднять врагов на Москву, ненасытное честолюбие, притворное раскаяние („бьют тебе челом, холоп твой“) и опять обман, взаимные укоры (хотя слова все-таки были не нынешние: „хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество…“), походы друг на друга, беспрерывное сожжение городов, разорение их, опустошение до тла — вечные слова русской истории! — и пожары, пожары…»

Но чаще происходило то, что и прежде испытывал он,

путешествуя по чужим краям, покидая Россию хотя бы на месяц-два-три: являлась подспудная, постоянная тоска по оставленному: возникали сами собой в памяти картины деревенской дороги с колеями, налитыми золотыми полосами воды на закате, то какой-то знакомый лес, московский Арбат с рестораном «Прага», питерская Мойка, базар в Орле, какая-нибудь оградка церкви перед папертью с сидящими на земле нищими. Москва: Поварская, Смоленский бульвар, набережная, где когда-то гуляли с Верой. Хотелось все вернуть, все написать, — хоть подряд, без завязей и концов, без «образов», — просто картинка за картинкой, как пойдет, а там пусть сложится само во что надо. Он все более уговаривал себя, приготовлял к тому, что писать надо сразу про всю жизнь, — хоть про свою, своих близких. Что он мог? Только создать свое царство в руке своей.

Казалось бы, так хорошо зная свой народ, его историю, его трагедию, писатель мог бы направить свой талант, все помыслы свои на отображение случившегося, выйти на битву с бесами, — нет, Бунин оставался Буниным.

А. И. Солженицын в недавней своей книге (1998) «Угодило зернышко меж двух жерновов» написал такие слова: «Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы — необыкновенным, ни на кого не похожим… Сетовал я еще в СССР: зачем он не пошел по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, — отчего ж он, — как и Бунин, как и Бунин! — не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, не доступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и межвременные».

Этот поздний упрек, надо думать, и ранее бросали Бунину его сотоварищи по эмиграции, — и они удивлялись и сетовали, зачем движется он, как прежде, своей «частной» дорогой?..

Вопрос существенный и принципиальный. Кажется, Бунин и Набоков всем своим творчеством отвечают на него. Упрекать их в том, чего не сделано ими, все равно, что упрекнуть Пушкина: зачем он не написал о декабристах, а написал «всего-то» «Арион» и «Дубровского». Они сказали о революции и катастрофе России по-своему, и несомненна художественная ценность, пронзительность впечатления от маленьких рассказов «В Париже», «Холодная осень» или «Других берегов» и «Дара», чтобы вывести их из-под определения частного, локального, тем более межвременного. Нет, в них так преломилось время, — это не

«Чапаев», «Как закалялась сталь» или даже неплохая книга «Разгром». В том и суть Бунина, его оригинальность, что и о более глобальном, о смысле жизни и смерти, гибели цивилизаций он умел говорить частно-конкретно, фрагментарно, но бриллиантово-точно. Просто он лишен был политической запальчивости отвечать на пропаганду контрпропагандой.

Между тем где-то происходила борьба, ристалище вокруг Нобелевской. Марк Александрович Алданов, верный товарищ, хлопотал, вел переписку, пересказывал новости. Оказывается, Роллан, друживший с Горьким, готов был поддержать Горького, если того выдвинут тоже. Томас Манн сообщил, что должен будет поддержать немецкого кандидата, ежели таковой явится. Шведский комитет склонялся к русскому автору, но русских теперь явилось сразу трое: Бунин, Мережковский, Куприн, не считая Горького.

Комитет подтвердил, что возможна премия и на трех номинантов, — просто сумма так на трех и разделится, примерно по 200 тысяч франков. Как-то заехала Зинаида Николаевна Гиппиус, нервная, нарядная, очень приглашала в гости, долго говорила с Верой, даже читала ей стихи, очаровывала. Затем появился однажды и Мережковский. — Давайте договоримся; кто получит премию, отдаст другому 200 тысяч и делу конец. Бунину не понравилось: ни разговор, ни дележка неубитого медведя. Отказался. Подумал про себя: «Я сам ее получу».

И забыл. Нобелевскую 1923 года получил ирландский поэт У. Б. Йейтс.

Мережковские, однако, продолжали входить в доверие, в друзья. Именно от них пришла идея ехать жить на юге, в Провансе, где сами они много лет снимали виллу. Так возникла идея «Бельведера», а затем и сама вилла «Бельведер». Близ Грасса, в горах над Ниццей, среди самого благодатного климата во всей Европе, в месте красоты и гармонии, у подножия гор, вблизи сказочного моря. Пришлось искать, выбирать то, что было бы Бунину по душе, где смог бы он спокойно жить и работать. Первый его настоящий, свой дом оказался не в родном краю, на Орловщине или в Тульской, Воронежской губерниях, Псковской или Новгородской; нет, и здесь русскому писателю судьба уготовила еще одно испытание. Но во благо, слава Богу, во благо.

Не писалось. Казалось бы, он так переполнен впечатлениями, — уж сколько намелькало лиц, городов, вагонов, станций, пейзажей, сколько мыслей пронзило и осталось, — только открой кран и потечет. Нет, ничего не открывалось, не текло, не хотелось.

Он знавал такие периоды, у каждого писателя бывает. Чаше

случалось даже среди работы: вдруг надоест или наберется усталость, недомогание. Или просится что-то другое. В таких случаях — хорошо приняться за чтение, за чужое: подтолкнуть, возбудить себя. Либо увлечься чем-то, уйти совсем в сторону. Нельзя же часами бездумно, бездельно раскладывать пасьянсы.

Но известен был и другой способ: сесть и все равно писать. Просто бумагу марать, водить пером, рисовать человечков или чертиков. Писать хоть о том, что вот не пишется и как именно не пишется.

В «Освобождении Толстого», рассказывая о своей встрече с Толстым, Бунин приводит его слова: «Как же это нечего? (писать), — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, — сказал он твердо».

Это, конечно, обман, пустое, но случалось, что-то возникало, грезилось, являлась строка, другая… Какие-то фантазии приходили: вдруг писать о Цейлоне, о древностях, которые видел когда-то и перед которыми тоже остался в долгу: отчего не написал до сих пор…

Надо было, между прочим, что-то давать в печать, деньги зарабатывать, — денег, как всегда, оставалось кот наплакал.

Спасибо, благодаря сохранившимся связям, можно было издавать кое-что из старого. Но это обычно не очень красиво — только старое. Надо хоть один-два новых рассказа. И все же вся эта тяжесть, безделье означали, — он-то знал! — что что-то зреет, просится. По-прежнему, постоянно обдумывалась идея: все мелочи, малые рассказы, случайные и вроде никчемные зарисовки — сливать, спрессовывать в единое повествование, протяжное, подробное, свободное, без завязок-развязок.

Вышли, уже после «Господина из Сан-Франциско», постепенно другие книги: в Берлине в 1924 году «Роза Иерихона», в 1925-м в Париже — «Митина любовь», еще через год — «Солнечный удар». Велись переговоры с берлинским «Петрополисом» об издании собрания сочинений.

Все эти книги вызвали новый интерес к Бунину среди литераторов Европы, и в 1926 году снова начались переговоры о выдвижении его на Нобелевскую премию. Поддерживали Бунина и почти все русские писатели-эмигранты.

А Бунин работал — наконец пошла-поехала «Жизнь Арсеньева».

Вера Николаевна пишет Вере Зайцевой, старинной подруге: «Ян в периоде (не сглазить) запойной работы: ничего не видит, ничего не слышит, целый день не отрываясь пишет… Как всегда в

эти периоды, он очень кроток, нежен со мной в особенности, иногда мне одной читает написанное — это у него „большая честь“. И очень часто повторяет, что он меня никогда в жизни не мог сравнять, что я — единственная, и т. д.».

Бедная женщина, ей очень хочется, чтобы все так было. Но только, к сожалению для нее, уже совсем другая вдохновляла Ивана Алексеевича в эту пору, и читал он более другой, и рассказывал, и советовался, и нежные говорил слова…

МЕРЕЖКОВСКИЕ И ДРУГИЕ

Как мы мало знали, да и до сих пор знаем об этой их жизни, — огромного клана русской художественной интеллигенции в эмиграции, вдали от родины, в муке изгнания. «Серебряный век» был поверен огнем и сталью, каленым железом. Кто страдал, тот помнит, — говорили древние. В паутине изгнания билось сразу множество бабочек и мотыльков, — прорываясь к жизни, они бились и друг о друга, — литературные споры и сшибки обращались в житейские, бытовые. Надо хоть отчасти показать на параллели Бунин-Мережковский, как по-разному, сообразно самим себе существовали и работали, взаимодействовали, дружили и грызлись, держали высоко честь или, напротив, утрачивали ее, разменивали.

У В. В. Розанова есть среди статей одна, начало которой так и просится сразу в цитату: «В душе человека большой образованности, большой начитанности, наконец, многих переменившихся собственных переживаний, всегда существует как бы склад идей, образов, точек зрения, сравнений, из которых в данную минуту он может выбрать любое, ему понадобившееся или ему в данный вечер или утро нравящееся, и, немного погрев его на сальной свечке, показать его перед людьми как пыл сердца, сегодняшний пыл… Читатели или слушающая публика всегда будут обмануты, не различая горячего от подогретого.

Говорит человек громко и жестикулируя. Из начитанных сравнений он выдергивает одно, наиболее яркое, патетичное, и по узору этого сравнения лепит собственные слова, выходящие из вялой, полуумершей души. И вялая, полу-умершая душа кажется горящею необыкновенно ярким и благородным пламенем…»

Розанов рассказывает об одном из последних, еще дореволюционных, собраний религиозно-философского общества, душой и организатором которого много лет был Мережковский. Посвящено оно было обсуждению «Вех», знаменитой книги о русской интеллигенции и революции, составленной из статей Н. Бердяева, М. Гершензона, А. Изгоева, Б. Кистяковского, С. Франка, Н. Струве, — тех русских философов, которые выступили против русской революции. Розанов: «От себя скажу, что это самая грустная и самая благородная книга, какая появлялась за последние годы (1909). Книга, полная героизма и самоотречения. Кто знает Достоевского и помнит его „Бесов“, тому я все объясню, сказав, что авторы „Вех“ с поразительной подробностью и точностью повторили судьбу и поведение благородного Шатова, который, залезши в самую гущу

революционеров и революции, потом отошел от нее, грустно, в раздумье… Достоевский представил суд и убийство этого Шатова революционерами… Мережковский, конечно, помнит, как в мокрую московскую ночь поручик Эркель, подскочив, приставил дуло револьвера к виску полубольного Шатова, курок хлопнул и все было кончено».

Розанов рассказывает, как Мережковский громил авторов «Вех»: «Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика, слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками. Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали. Всякий блеск очаровывает, ослепляет. Почти час прошел после чтения, когда я подумал: „Боже мой, да ведь все это говорил Достоевский, а не Мережковский“. Это — Достоевский блестел, а Мережковский около него лепился. Ведь то же самое сравнение, которое он взял у Достоевского, можно повернуть против него самого, Мережковского. Лично Достоевский как бы и выступил: кто же не помнит, как в „Дневнике писателя“ он охотно выступил в защиту… мясников Охотного ряда, побивших в Москве студентов; он говорил, что и Кузьма Минин-Сухоруков, спасший из Нижнего Москву, тоже был мясной торговец. Вообще народный и антиинтеллигентный характер воззрений Достоевского бесспорен. Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им… не недвижного мертвеца, а его духовных и пламенных детей, его пламеннейших учеников…»

Розанов пространно разбирает значение «Вех», заслугу их авторов в их покаянии перед интеллигенцией: «Вовсе Булгаков и другие не зарезали русскую интеллигенцию. Они сами зарезались. И воскресли. Погреблись и ожили…»

Не будем углубляться. Нас в данный момент интересует Мережковский.

«Как это специалист, — пишет Розанов, — по „христианским делам“, Мережковский этого не понял? Не понял, не почувствовал. Но дело в том, что и христианство для него одно из пережитых идеек, которую он престидижитаторски выдергивает там и здесь последние 2–3 года, для красоты и эстетического украшения своей личности. Все уже холодно и помертвело в том „складе“ чувств, „амбаре“ былых настроений и умерших цивилизацией, каковой изображает себя новейший Аполлоний Тианский или польско-русский новейший Товянский…

Как же он поступил с этими шестью интеллигентами-Шатовыми? Немногим лучше поручика Эркеля…

При хохоте зала он их пинал ногами, бил дубьем, —

безжалостно, горько, мучительно. Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный… Дмитрий Сергеевич горел звездою над болотными огоньками „Вех“. Это несчастное дело нельзя было делать прямо… И он сделал это косвенно, воспользовавшись сравнением Достоевского, абсолютно не шедшим к делу, абсолютно обратным делу…»

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) был крупнейшей фигурой в литературе конца XIX — начала XX века. Он занимал видное место, возможно, даже не по значению своих произведений (хотя писал много, безудержно), а как деятель, вождь и идеолог, наряду с В. Брюсовым, всего символизма. Закончив историко-филологический факультет Петербургского университета, Мережковский как бы навсегда определил свой путь литератора-историка, философа, теоретика, — мэтра и законодателя вкусов и правил. Он писал стихи, драмы, романы, статьи, монографии, спорил, читал лекции. Его всегда более занимал Запад, западная литература, — он много и переводил, — но немалую славу принесли ему книги о корифеях русской литературы — о Гоголе, Достоевском, Толстом. Необычайно широко образованный, эрудит, он еще и держать себя умел и подать с подобающей важностью и значением. Если до самой своей смерти в 1910 году место патриарха и главы литературы занимал Л. Толстой, то позже, и особенно в пору эмиграции, сие почетное и вакантное место изо всех сил старался закрепить за собою Мережковский. Тем более что литература осиротела и обездомела. Мережковский, никого не спросись, не имея на то подлинного веса, держал себя именно так: корифеем. Ему много помогала в этом жена и верная спутница, известная поэтесса Зинаида Гиппиус, — Мережковские — так и называли их вместе; во всех литературных событиях, судьбах, историях они выступали слаженно и остро, дополняя и опережая друг друга. Его излюбленными темами были Возрождение, христианство, Христос и Антихрист, — кажется, Дмитрий Сергеевич Мережковский помнил еженощно, что родился в один день с Наполеоном, и мнил себя создателем новой веры, религии, которая соединила бы в одно антично-языческое и христианское. Не исторически, не философски, но художественно возмечтал он соединить эпохи, ступени развития человеческого духа и написал трилогию: романы «Гибель богов. Юлиан Отступник» (о первых христианах, гибели языческой веры), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (об эпохе Возрождения) и «Антихрист. Петр и Алексей». По Мережковскому, весь путь человечества, вся история — есть борьба Бога (Христа) с Дьяволом, и он, великий автор, выбрал главные точки их схваток. Его перу принадлежат еще пьесы:

«Павел I», «Царевич Алексей», романы «Александр I» и «14 декабря»; немалую славу принесли Мережковскому его статьи, в частности «Грядущий хам» (1906) — о том, что революция несет царство серости, хамства, обывательщины, мещанства, — словом, все той же чертовщины, бесовщины. Декадент Мережковский провозглашал, что сегодня в мировом искусстве правят и главенствуют мистическое содержание, символы и художественная выразительность взамен пошлого, утилитарного реализма и тенденциозности. «Русские декаденты, — говорил он, — первые русские европейцы, носители всемирной культуры».

Начав с В. В. Розанова, хочу обратиться к еще одной его статье о Мережковском. Резкой, язвительной, выделившей некоторые основные и типичные черты Дмитрия Сергеевича. Речь идет о его пристрастии к чужому, иноязычному, западному и связи с исконно русским.

Например:

«У него был чисто отвлеченный, как у Мериме, восторг к Пушкину, удивление перед Петром; но ничего другого, никакой другой более конкретной и ощутимой связи с Россией не было. Заглавие его книжки „Вечные спутники“, где он говорит о Плинии, Кальдероне, Пушкине, Флобере — хорошо выражает его психологию, как человека, дружившего в мире и истории только с несколькими ослепительными точками всемирного развития, но не дружившего ни с миром, ни с человечеством. Он был глубокий индивидуалист и субъективист, без всякого ведения и без всякой привязанности к глыбам человечества, народностям и царствам, верам, обособленным культурам. Ничего „обособленного“ в нем самом не было: это был человек без всякой **собственности** в мире и это составило глубоко жалкую в нем черту, какую-то грустную и слабую, хотя сам он ее в себе не замечал. Все потом совершилось непосредственно: сейчас я его знаю, как человека, который ни в одном народе, кроме русского, не видит уже интереса, занимательности, содержания. У него есть чисто детский восторг к русскому „мужику“, совершенно как у Степана Трофимыча из „Бесов“ Достоевского, где-то заблудившегося и читающего с книгоношею Евангелие мужикам».

«…Что Запад! — там уже все изверилось; Россия — вот новая страна веры! Петербург с его позитивизмом и общественными вопросами — это отрыжка Запада; но коренная Россия, но эти бабы и мужики на Керженце, с их легендами, эти сосновые леса, где едешь-едешь и вдруг видишь иконку на дереве, как древнюю нимфу в лесах Эллады: эта Россия есть мир будущего, нового, воскресшего Христа, примирения нимф и окрыленного Иоанна, эллинизма и христианства, Христа и Диониса. Ницше был не

прав, их разделяя и противополагая: возможно их объединение!»

Очень яркие страницы о Мережковских есть в воспоминаниях Андрея Белого (Бориса Бугаева): «Первые дни в Петербурге меня отделили от Блоков: вихрь слов: Мережковские! Сыпались удары репрессий, после чего электричество гасло на Невском; аресты, аресты; кого-то из левых писателей били; я левел не по дням, а по часам; Мережковскому передавали из „сфер“, что его арестуют; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене.

С ней общенье, как вспых сена в засуху: брос афоризмов в каминные угли; порою, рассыпавши великолепные золото-красные волосы, падавшие до пят, она их расчесывала; в зубы — шпильки; бросалась в меня яркой фразой, огнем хризолитовых ярких глазищ; вместо щек, носа, лобика — волосы, криво-кровавые губы да два колеса — не два глаза.

Вот и прическа готова: комочек с козетки, в колени вдавив подбородок, качает лорнеткой, любуется пырснью ее инкрустации; белая, с черным крестом, в красном фоне обой, в розовато-рыжавых мельканьях каминного света, как в бабочках. Я, с кочергой, — при камине: на маленьком пуфике; красная горсть — в черно-пепельных кольцах:

— Смотрите-ка: угли точно свернувшийся злой, золотой леопард!

— Подложите поленья: уж вы тут заведуйте!

Ведаю: вспыхнули!

В безответственных разговорах она интересна была; в безответственных разговорах я с ней отдыхал: от тяжелой нагрузки взопреть с Мережковским; она, „ночной житель“, утилизировала меня, зазвавши в гостиную по возвращении от Блоков (к 12 ночи); мы разбалтывались; она разбалтывала меня; и писала шутливые пируэты, перебирая знакомых своих и моих; держала при себе до трех-четырех часов ночи: под сафировым дымком папироски, расклоченным лаписто (это она приучала меня курить); мы, бывало, витийствуем о цветовых восприятиях: что есть „красное“, что есть „пурпурное“! Она, бывало, отдастся мистике чисел: что есть один, два, три, четыре? В чем грех плоти? В чем — святость ее? И дает свою записную изысканно переплетенную книжечку: „Вот: вы впишите в нее свою мысль о цветах: мне на память… Как, как?.. Дневников не ведете?..“

Она подарила мне книжечку: „Вот вам, записывайте свои мысли… А чтобы поваднее было, я вам запишу для начала… У Дмитрия, Димы, — такие же книжечки: друг другу вписываем мы свои мысли“…

Но — тук-тук; в стену: и — глухие картавые рявки:

— Да Зина же, — Борю пусти… Ведь четвертый час… Вы мне спать не даете!

И — топ: шамки туфель; в открытых дверях — всосы щек и напуки глаз неодетого маленького Мережковского:

— Мочи нет… Тише же!

И он — проваливается в темноту: и опять — за стеною колотятся.

Он — нас не одобрял: не серьезные темы! З. Н. провоцировала меня к шаржам; я редко острил — от себя: от чужой остроты я взлетал до абсурдов; и Гиппиус, зная тогдашнюю слабость мою, меня уськала темой смешливой; вытягивала свою нижнюю, злую губу, подавая дымок, из нее вылетающий, щурилась, брыся ресницами; и — представлялась простячкой:

— Вам З., Боря, нравится?

— Нравится.

— Ну, а по-моему, — она назойлива…

— Может быть.

— Помните, к вам приставала, как муха?..

— Пожалуй, что муха…

З. Н. кошкою дикою вцепится, даже подпрыгнет с козетки, готовая ведьмой с дымами в трубу пролетать: „Ну, ну, муха же? Всякие мухи бывают; а вы, — вы подумайте: муха — какая?.. Не шпанская же“. Увлеченный сравненьями с мухами, бацаю трудолюбиво: „Она — песья муха!“

И — кончено: через три дня ею будет передано с видом девочки глупой: по адресу: „А Боря о вас говорил, что вы… — в синий дымок с наслажденьем злым, — песья муха…“

Всю жизнь она ссорила; после она… клеветала, что А. Ф. Кони продался-де советской власти за сахар, а А. — за ботинки».

…….

«— Как же вам, Зина, не стыдно!

— Не я же говорила, а — вы: я же только передала правду.

Мне в 1905 году было лишь 24 года; потребности в резвости я изживал — в шутках и в жестах нелепейших; но не „разыграешься“ при Мережковском; она же любила приигрываться: ко мне; и наш разговор закипал, как кофейник…

Ночь: четыре часа; вьюга хлещет, бывало, в открытые окна ее малой спаленки (спала с открытым окошком): „Проснусь, — в волосах моих снег; стряхну — ничего; коль не окна — мне смерть; я ведь туберкулезная…“ Утром (от часу до двух) из „ледовни“ своей проходила в горячую ванну; жила таким способом: десятилетия!

Дмитрий Сергеевич — оранжерейный, утонченный „попик“,

воздвигший молеленку среди духов туберозы, гаванских сигар; видом — постник: всос щек, строго-выпуклые, водянистые очи; душою — чиновник, а духом — капризник и чувственник; субъективист — до мизинца; кричал он об общине, а падал в обмороки от звонков, проносясь в кабинет, — от поклонников, сбывши их Гиппиус; отпрепарировав, взяв за ручку их, Гиппиус вела в кабинетище:

— Дмитрий!

А он выходил и обнюхивал новых своих поклонников, скороговоркой рявкая в тысячный раз, в миллионный: „Вы — наши, мы — ваши: ваш опыт — наш опыт!“ Он слушал не ухом, а — порами кожи; показывал белые зубы и напоминал Блоку маску осклабленного арлекина, обросшего шерстью до… бледно-зеленой скулы; сядет слушать; и — бьет по коленке рукой; не дослушав, загнет трехколенчатым, великолепно скругленным периодом; хлопнет, как пробка бутылочная, почти механически:

— Бездна: бог — зверь!

И, пуча око, ушмякивает в свой кабинет — превосходный, огромный, прекрасно обставленный, как кабинет управляющего департаментом; стол: — двадцать пять Мережковских уложишь! „Священная“ рукопись — еще раскрыта: его рукопись! Он пишет в день часа полтора: с половины одиннадцатого до полдня; бросал — при звуке полуденной пушки; весь день потом отдыхал; как ударит вдали Петропавловка — кладет перо… Вокруг „священного“ его текста — квадратом разложены: карандаши, перья, ножницы, щипчики, пилочки, клей, пресс-папье, разрезалки, линейки, сигары: как выставка! Рукой касаться — нини: сибаритище этот оскалится тигром; что было, когда раз, завертевшись, я сломал ему ножку от ломберного, утонченного столика; в эту минуту звонок: он!

— Как? Что? Мне сломали?.. Что делали?..

— С Татой вертелись…

— Как? Радели?

— Помилуйте: попросту веселились!..

— Радели, радели! Какой ужас, Боря!..

Нас — выставил, а сам — захлопнулся: холод, покой, тишина! Одиночество, блеск, аккуратность; коричнево-вспухшие, чувственные губы посасывали дорогую сигару, когда облаченный в коричневый свой пиджачок, перевязанный синим, опрятно затянутым галстуком, садился он в свое кресло; и девочкину волосатую ручку с сигарой на ручку кресла ронял, пуча очи в коричнево-серую стену и — праздно балдея…»

Андрей Белый посмеивается, плюсует, едва не окарикатуривает могучего мэтра. Таков был его взгляд. Хотя,

несомненно, убедительный. (А пишет как! Вот писали же люди, умели, ни с кем не спутаешь!)

Над Мережковским немало смеялись и иронизировали. Как и над Гиппиус. Вообще Дмитрий Сергеевич умел себя держать гигантом. Но суть была иная: много показного, пышного, ложного.

Мережковский был главою формальной школы, доказывал, что сама форма есть искусство, превыше содержания. Из всех современных течений — толстовства, марксизма, декадентства, пессимизма — Мережковский остановился на декадентстве. Плюс умение взять чужую мысль, чужое творчество, развить, как свое, — таков был Мережковский. И надо было судьбе распорядиться так, чтобы свести несовместимое — Мережковского и Бунина, — с бунинской неприязнью к формализму, декадентству, западничеству, вообще позе и вычурности. Бунин даже как бы побаивался Мережковского, его напора, его важности, безапелляционности. Робел как-то.

В эмиграции Бунины и Мережковские много общались, почти дружно жили, например, вместе в одно лето в Висбадене, — об этом есть в дневниках Буниных и воспоминаниях Веры Николаевны. Мережковский был далеко не глуп, знал толк в литературе, не мог не понимать высоты и значения Бунина, но… соперничество, ревность, отчуждение оставляли его непримиримым к Бунину.

Поскольку я уже так густо использую чужие воспоминания, нельзя не привести наиболее яркие страницы, написанные Ниной Берберовой:

«…Я помню ярко, как они вошли: раскрылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли два стула, и они сели. Господину с бородкой, маленького роста, было на вид лет шестьдесят, рыжеватой даме — лет сорок пять. Но я не сразу узнала их. Вас. Ал. Маклаков, читавший свои воспоминания о Льве Толстом, остановился на полуслове, выждал, пока закрылись двери, потом продолжал. Все головы повернулись к вошедшим. Винавер (это было в большой гостиной Винаверов) привстал, затем опять сел. По всей гостиной прошло какое-то едва заметное движение. Кто они? — подумала я. На несколько минут какая-то почтительность повисла в воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом, когда я еще раз взглянула на него: прежде, чем узнать ее, узнала его, меня ввело в заблуждение то, что она выглядела так молодо, а ей ведь было в то время под шестьдесят! Это были Мережковские.

Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка прикрывая веками свои близорукие глаза (ставшие к старости косыми), она

играла лорнеткой, слушая Маклакова, который цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она всегда любила розовый цвет, который „не шел“ к ее темно-рыжим волосам, но у нее были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой. Шелковый, полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие ручки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны, ноги, которые она показывала, потому, что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времен. Бунин, смеясь, говорил, что у нее в комоде лежит сорок пар розовых шелковых штанов и сорок розовых юбок висит в платяном шкафу. У нее были старые драгоценности, цепочки и подвески, и иногда (но не в тот первый вечер) она появлялась с длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Она несомненно искусственно выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной.

Он был агрессивен и печален. В этом контрасте была его характерность. Он редко смеялся и даже улыбался не часто, а когда рассказывал смешные истории (например, как однажды в Луге у Карташева болел живот), то рассказывал их вполне серьезно. Что-то было в нем сухое и чистое, в его физическом облике; от него приятно пахло, какая-то телесная аккуратность и физическая легкость были ему свойственны, чувствовалось, что все вещи — от гребешка до карандаша у него всегда чистые, и не потому, что он за ними следит, а потому, что ни к нему, ни к ним не пристают пылинки.

Гостиная Винаверов была одним из „салонов“ русского литературного Парижа в 1925–1926 годах. (М. М. Винавер умер в 1926 году.) Огромная квартира их в лучшей части города напоминала старые петербургские квартиры — с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. На доклады приглашалось человек тридцать, и не только „знаменитых“, как Маклаков, Милюков, Мережковский, Бунин. Бывали и „подающие надежды“, молодежь из монпарнасских кафе, сотрудники понедельничной газеты „Звено“, которую издавал и редактировал Винавер. (Он, кроме того, издавал и редактировал в то время „Еврейскую трибуну“ и был автором книги воспоминаний „Недавнее“.) Известный кадет, член партии Народной свободы и бывший думец, он с Милюковым как бы поделил русскую демократическую печать (ежедневную, газетную) — Милюков издавал и редактировал „Последние новости“, а Винавер — литературное приложение к газете.

После доклада гости переходили в столовую, где их ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала, и ее смех был ее защитой — она играла лорнеткой и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятое. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра.

…Они жили в своей дореволюционной квартире, это значит, что, выехав из советской России в 1919 году и приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом и нашли все на месте: книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они бывали во французских литературных кругах, встречались с людьми своего поколения (сходившего во Франции на нет), с Ренье, с Бурже, с Франсом. — Потом мы им всем надоели, — говорил Дмитрий Сергеевич, — и они нас перестали приглашать.

— Потому что ты так бестактно ругал большевиков, — говорила она своим капризным скрипучим голосом, — а им всегда так хотелось их любить.

— Да, я лез к ним со своими жалобами и пхохочествами (он картавил), а им хотелось совсем другого: они находили, что русская революция ужасно интересный опыт, в экзотической стране, и их не касается…»

Свидетельства современников пристрастны, но конкретны и хороши своей документальностью. Вот странички из дневника Корнея Ивановича Чуковского, первых лет революции, — когда Чуковский был близок к Горькому, Луначарскому, много хлопотал о писателях, много помогал:

«…Зин. Гиппиус написала мне милое письмо, приглашая придти недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич — согнутый дугою, неискреннее участие во мне — и просьба: свести его с Лунач.! Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкипанидзе? Не могу ли достать им бумагу — охрану от уплотнения квартир? Не могу ли достать и устроить, чтобы правительство купило у него право на воспроизведение в кино его „Павла“, „Александра“ и т. д. Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит — Мережк. первые будут клеветать на меня.

…19 июля 1919 г…Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

— Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что

Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили сочинения. Деньги нужны до зарезу.

Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за „Александра“, да двадцать пять тысяч, полученных З. Н. Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцарапать еще тысяч сто…»

Это лишь малая толика из того, что думал и писал далее Корней Иванович о Мережковских, — прямо сказать, мало их любил…

О жизни Мережковских в Советской России пришлось бы говорить слишком много — ограничимся свидетельством человека, который был одной из центральных и популярных фигур в послереволюционной литературной жизни, и вернемся к Берберовой:

«Из его писаний за время эмиграции все умерло — от „Царства Антихриста“ до „Паскаля“ (и „Лютера“, который, кажется, еще и не издан). Живо только то, что написано им было до 1920 года… Из стихов его и десятка нельзя отобрать, но все-таки это был человек, которого забыть невозможно. „Эстетикой“ он не интересовался, и „эстетика“ отплатила ему: новое искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось недоступно…»

Это последнее замечание кажется довольно странным, но тем не менее, похоже, оно верно: одно дело провозглашать, теоретизировать, другое — исполнять свои идеи самому.

«В З. Н. тоже не чувствовалось желания разрешать в поэзии формальные задачи, она была очень далека от понимания роли слова в словесном искусстве, но она по крайней мере имела некоторые критерии, имела вкус, ценила сложность и изысканность в осуществлении формальных целей. Русский символизм жил недолго, всего каких-нибудь тридцать пять лет, а русские символисты и того меньше. Бальмонт был поэтом пятнадцать лет, Брюсов — двадцать, Блок — восемнадцать — люди короткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна все та же невозможность эволюции, какая была видна в ее современниках, то же окаменение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально, и говорит об омертвении человека…

…Она сказала мне после его смерти, что они не расставались никогда и пятьдесят два года были вместе, и на мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила: — Какие же могут быть

письма, если не расставались ни на один день?.. И потом пошла на убыль ее умственная сила. В 1944 году она призналась мне, что ничего не понимает в событиях, и чувствовалось, что уже ничего не надо объяснять, все равно ничего не дойдет до нее. Она много и часто кричала по ночам, звала его, мучилась приближением смерти, и вся высохла, стала еще хуже видеть и слышать и нянчилась со своей полупарализованной рукой. А когда, маленькая и сморщенная, лежала в гробу, кое-кто из пришедших на панихиду переглядывался и говорил:

— Прости Господи, злая была старушенция».

Грустная тоже судьба, что скажешь!..

Но теперь о другом. Далеко не глупая женщина и литератор, Нина Берберова, знавшая толк в людях и искусстве, как-то интуитивно, неспроста, почти впрямую соединила Мережковских с Буниным: «Бунин бывал с ней, — Гиппиус — настороже, но, конечно, ему редко удавалось победить ее в споре. Пленительная, старомодная примитивность Бунина забавляла ее и давала ей озорное желание спорить с ним в своем собственном ключе, потому что его — житейский, двухмерный, бытовой — ключ был ей смешон, а Д. С-чу скучен. Он так и говорил:

— Мне Бунин скучен.

Но она считала, что скучных людей вообще нет и что Бунин „забавен“, забавен для нее во всяком случае, потому что если его нельзя переубедить или переделать, то его, во всяком случае, можно удивить.

Как я любила его стиль в разговоре, напоминавший героя „Села Степанчикова“ Фому Фомича Опискина: „называйте меня просто Ваше Превосходительство“, и его крепкое рукопожатие, разговоры о „дворянских родинках“, „дворянских ушах“ и вообще обо всем „дворянском“ — я такого, конечно, не слыхала никогда даже от дедушки Караулова! Здесь было что-то древнее, феодальное, а ему вместе с тем всегда хотелось быть с молодыми, быть самому молодым. Как я любила его рассказы (взятые готовыми из старых повестей) о собаках-муругих, брудастых, которые опсовели, которые заложились, полвопегие, подуздые: о трактирах на главной орловской улице — поди, проверь их, вероятно, половина выдумана вот сейчас, на месте, а все вместе — чудо как хорошо!» Кстати, на эту тему. Берберова рассказывает такой эпизод: «всем всего прощать невозможно, и когда Бунин, после чудесного дня, проведенного в Лонгшене (место под Парижем, где у меня… был деревенский дом в 1938–1948 годах…), когда после разговора, чтения вслух, долгого лежания в креслах на площадке между двумя маленькими домами, под миндальным деревом, и ласковых речей, вдруг за обедом он

собирался понюхать жареного цыпленка, прежде чем начать его есть, я спокойно остановила его руку: я знала, что он это делает всегда — за ужином у Цетлиных, и в наилучшем парижском ресторане, и у себя дома.

— Нет, — сказала я, — Иван Алексеевич, у меня вы нюхать цыпленка не будете. — И твердо отвела его руку с куском цыпленка на вилке.

— Ай да женщина! — весело сказал он. — Не боится никого. Недаром „я близ Кавказа рождена“ и т. д. Только как же не нюхать? Дворянин тухлятину есть не может.

— Здесь, — сказала я, — вам тухлятины не дадут.

И разговор перешел на другие темы.

Я думаю теперь, что грубость в словах, в поведении, грубость его интеллекта была отчасти прикрытием, камуфляжем и что он боялся мира и людей не менее остальных людей его поколения, и все его чванство, — а оно было в очень сильной степени, уже до революции, в Москве, — было его самозащитой…

Но, конечно, орловские вывески и полвопегие, опсовевшие псы ничего не говорили Д. С-чу. И неудивительно, что ему от всего этого бывало скучно».

Берберова пишет далее о манере Бунина провоцировать собеседника острым, часто фривольным рассказом с употреблением малоприличных слов: «Рассказывание подобных историй кончилось довольно скоро: после двух-трех раз, когда он произнес вслух и как-то особенно вкусно „непечатные“ (впрочем, на всех языках, кроме русского, печатные) слова — он любил главным образом так называемые детские непечатные слова на г, на ж, на с и так далее, — после того, как два-три раза произнес их в моем присутствии и я не дрогнула, а приняла их так же просто, как и остальной его словарь, и после того, как сказала ему, как прекрасны его „Сны Чанга“, он совершенно перестал „рисоваться“ передо мной, он понял, во-первых, меня не смутишь таким простым способом и, во-вторых, что я ему не враг, а друг. Впрочем, не совсем друг:

— А стихи мои вам, конечно, не нравятся?

— Нет… нравятся… но гораздо меньше вашей прозы.

Это было его больное место, я тогда еще не знала этого.

…Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он переносил и в литературу. Он не то что раздражался или сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-ни-будь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова, или еще какую-нибудь глупость. Но сам возражал на это большей нелепицей:

— Я — от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя

вышел.

Окружающие испуганно и неловко молчали. Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из милых его черт:

— Убью! Задушу! Молчать! Из Гоголя я!

В такое бешенство, если не большее, приводили его разговоры о современном искусстве. Для него даже Роден был слишком „модерн“.

— Бальзак его — говно, — сказал он однажды. — Его потому-то голуби и обосрали.

И — острый взгляд в мою сторону…

— Что ж, для вас и Пруст лучше Гюго?

Я даже потерялась от неожиданности: какое же может быть сравнение?

— Пруст, скажите, лучше?

— Ну, Иван Алексеевич, ну конечно же! Он — величайший в нашем столетии.

— А я?

Г. Н. Кузнецова и я смеялись на это. Он любил смех, он любил всякую освободительную функцию организма и любил все то, что вокруг и около этой функции. Однажды в гастрономическом магазине он при мне выбирал балык. Было чудесно видеть, как загорелись его глаза, и одновременно было чуть стыдно приказчика и публики. Когда он много раз при мне говорил потом, что любит жизнь, что любит весну, что не может примириться с мыслью, что будут весны, а его не будет, что не все в жизни он испытал, не все запахи перенюхал, не всех женщин перелюбил (он, конечно, употребил другое слово), что есть еще на тихоокеанских островах одна порода женщин, которую он никогда не видел, я всегда вспоминала этот балык. И, пожалуй, насчет женщин я могу теперь сказать; это все были только слова, не так уж он беспокоился о них, а вот насчет балыка или гладкости и холености собственного тела — это было вполне серьезно.

…Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я сама много раз слышала от него), он даже никогда не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить абстрактно. Я уверена, что он был совершенно земным человеком, конкретным цельным животным, способным создавать прекрасное в примитивных формах, готовых и уже существовавших до него, с удивительным чувством языка и при ограниченном воображении, с полным отсутствием пошлости. Какое количество пошлости было у так называемых русских реалистов начала нашего века! Примером могут служить не только Амфитеатров, Арцыбашев,

Вересаев, но и Ал. Н. Толстой, ранние рассказы которого сейчас трудно и немножко противно перечитывать. Даже у Горького, позднего русского „викторианца“, можно найти пошлое, но не у Бунина. Никогда чувство вкуса не изменяло ему. И если бы он не опоздал родиться на тридцать лет, он был бы одним из наших великих нашего великого прошлого.

Я вижу его между Тургеневым и Чеховым, рожденным в году 40-м. Он сам сказал об этом гораздо позже, в 1950 году, в своих „Воспоминаниях“: „Слишком поздно родился. Родись я раньше, не таковы были бы мои воспоминания“.

Но в 1920-х годах ему нельзя было бы и намекнуть на это. Он не позволил бы не только в печати, но и лично заподозрить его в том, что он человек прошлого века. Однажды он пожаловался мне, что „молодые“ его упрекают, что он ничего не пишет о любви… „Все, что я писал и пишу, — все о любви“, — сказал он.

…Всю жизнь Блок был для него раной, и весь символизм, мимо которого он прошел, чем-то противным, идиотским, ничтожным, к которому он был либо глух, либо просто враждебен. „Больших дураков не было со времени Гостомысла“, — говорил он, и в „Воспоминаниях“ сказал: „Во всей моей жизни пришлось мне иметь немало встреч с кретинами. Мне вообще была дана жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории“. Эти кретины для него были: Бальмонт, Сологуб, Вячеслав Иванов; стихи Гиппиус возбуждали в нем злую насмешку, Брюсов был коммунист, и его следовало повесить за одно это, Белый (от белой горячки) был опасный сумасшедший. Но главной „мерзостью“ во всей этой компании был Блок, рахитик и дегенерат, умерший от сифилиса…

— И совсем он был не красивый, — однажды воскликнул Бунин, говоря о Блоке, — я был красивее его!

При этом Алданов заметил, что, вероятно, это так и было.

Хотя в „Воспоминаниях“ он и сказал, что ему было суждено прожить жизнь среди пьяниц и идиотов, эта судьба его часто беспокоила. Он чувствовал, что что-то здесь не так, не то, и что он, может быть, остался за бортом чего-то, что важнее его книг. Какой-то зверь ел его внутри, и все более и более резкие суждения о современниках, все более злобные выкрики к концу жизни — устные и в печати — свидетельствовали о том, что он не мог забыть этих „идиотов и кретинов“, что они неотступно мучили его всю жизнь и к старости сделались сильнее его, а он слабел и искал защиты в грубости. В небольшом зале Плейель, в 1948 году, он однажды устроил вечер чтения своих

воспоминаний, позже вышедших книгой (в издательстве „Возрождение“ и по старой орфографии!). И в тот момент, когда он, с наслаждением произнося каждое слово, доказывал, что Блок — ничтожество, я подумала, что вот наступила минута (Берберова любила Блока и написала книгу о нем. — М. Р.), когда надо встать и выйти из зала, даже не хлопнув дверью… сделать это или продолжать слушать…»

Похоже, в своих рассуждениях Берберова хочет сказать, что Бунин ревновал и отчасти завидовал всем перечисленным «идиотам и кретинам», — это было его поколение, его сотоварищи по литературе, их бойкая, порой скандальная слава обгоняла бунинскую, — он не был столь модным, «новым», не принадлежал к «их» компании, к их клану, — в литературной среде бывает такое размежевание, раздел на «компании», на принадлежность чаще всего к какому-либо журналу или изданию, на группы единомышленников. «Свои», «наши», «они», «мы», — это присутствует в литературной борьбе, в практике, в критике, в быту.

Но все же Бунина вел свой ангел-хранитель, свой Бог: его индивидуальность, его гордыня были, думается, выше желания к кому-то примкнуть. Он просто не мог слиться с кем-то, — хотя бы с Горьким, с Мережковским…

Но вернемся к Мережковским.

Мне кажется интересным взять некоторые эпизоды из дневников Буниных, связанные с Мережковскими, — здесь особенно видно, как они двигались вместе, в одном потоке, ступали по одной реке, одной воде, и однако — по-разному.

«**21 г. 20 янв./2 февр**.

Утром к нам заходил Мережковский. Вел беседу о Христе: „Главное теперь нужно знать, какое у кого отношение к Христу“. Беспокоится, чем жить. Опять говорил о „Дневнике писателей“ — редкий случай, такое множество писателей в одном центре, непременно следует этим воспользоваться, а между тем все живут вразброд…

28 янв./11 февраля.

…Потом к нам пришли Мережковские и Ельяшевич. Толстой почему-то очень боится Мережковских. Все время нас останавливал, когда мы громко смеялись или что-либо возражали им. В нем есть что-то непонятное. Почему такой трепет перед ними? Они держатся просто и не требуют никаких привилегий по крайней мере в обхождении.

Главная тема разговора — издание „Дневника писателя“.

28 февр./13 марта… Вчера до 2-х дочитал „14 Декабря“. Взволновался, изменилось отношение к таланту Мережковского,

хотя, думаю, это не он, а тема такая…

16/29 мая.

…был перерыв, а после перерыва запел Мережковский и пел он о вакханках, о Дионисе. Все это было интересно само по себе, но каждый говорил свое, а не на тему, на которую читал Шестов… За недостатком времени Мережковскому так и не удалось кончить…

25 мая/7 июня.

…Мережковские заботливо относятся к Яну, стараются устраивать переводы его книг на французском языке. Меня трогает это очень. Вообще репутация часто не соответствует действительности. Про Гиппиус говорили — зла, горда, умна, самомнительна. Кроме умна, все неверно, т. е. может быть, и зла, да не в той мере, не в том стиле, как об этом принято думать.

2/15 августа.

День рождения Дм. Серг. В честь этого пили дорогие вина…

Вечером опять говорили о Блоке. Мережковский ставит Блока высоко за то, что он „ощущал женское начало“. Далее он говорил: „Мы считаем Бога мужским началом. А ранее, во времена Атлантиды, Богом считали женское начало. И вот Блок ощущал это. Он знал тайну. Когда он входил, то я чувствовал за ним Прекрасную Даму“. Ян возразил: „Ну, да, вы это чувствовали, когда видели его. Но я его не видал, а по стихам я не чувствую этого“.

Дмитрий Сергеевич стал смеяться, по-волчьи скалиться, зеленый огонек блеснул в глазах: — Мертвых нужно любить, ласкать.

— А Ленина? — спросила я.

— Ленина? Нет, — ответил Дм. С.

— Но ведь это не по-христиански, — заметила я.

— Нет, и в христианстве говорят о тьме кромешной и геенне огненной, — объяснил Дм. С.

22 авг./4 сентября.

…Вечером Ян и З. Н. долго спорили о Толстом и Достоевском. Они спорили хорошо, давали друг другу говорить. Ян доказывал, что у Толстого такие же глубины, как у Достоевского, и что он тоже всего касался. З. Н. утверждала, что Толстой гармоничен, а Достоевский нет и потому Достоевский сумел коснуться тех темных сторон человека, которых Толстой не касался, и привела пример шигалевщины. Ян говорил, что Толстой всегда думал о смерти, а Достоевский нигде не писал о ней. З. Н. возразила на это, что Достоевский как бы перешагнул смерть и думал о том, что дальше, пример: Зосима. Затем З. Н., доказывая, что Толстой, отрицая государство, не дал форму,

тогда как Достоевский дал, сказав, что государство должно превратиться в церковь. Ян временами очень хорошо говорил, он возражал и на гармоничность Толстого, приводя в пример отношение его к половому вопросу (Дьявол, Крейцерова Соната и т. д.). Наконец, вошел Дм. С. и прервал спор…

27 авг./9 сент.

…Часто Мережковские ссорятся и, невзирая на присутствие нас, бранят друг друга резкими словами. А как-то З. Н. сказала Дм. С.: „Твоя хлестаковская слава продолжает всех обманывать“. Она в дурном настроении, потому что она здесь почти не пишет, а Мережковскому омажи[5], особенно со стороны немцев. Ей это, видимо, неприятно…

7 июня.

….У Розенталя я застала Куприных… Наконец, последними являются Мережковские. З. Н. элегантна до последней возможности, вся в черном. На плечи наброшена легкая пелеринка-плиссе. Прозрачная шляпа. Дорогие перчатки. Откуда у них столько денег, чтобы тратить столько на туалеты?.. Розенталь жалел, что с нами нет Яна… Много говорил Мережковский о необходимости борьбы, о том, что если большевики не падут, то эта зараза пойдет и на Европу…

1 сентября 1922 года.

…Многие говорят, что у Мережковских большое умственное напряжение. Я его не ощущаю. Д. С. чаще всего говорит о деньгах, об еде и т. п., а З. Н., правда, спорить любит, но это любовь спортивная, а не для выяснения истины. Сегодня она говорит Яну: „Вот вы всех в одну кучу валите — Блока, Кусикова и так далее“. — „Бог с вами, — возражает Ян, — вы как на мертвого. Я всегда выделял и выделяю Блока, всегда говорю, что Блок сделан из настоящего теста“. — „Нет, и Блока вы так же настойчиво ругаете“, — говорит З. Н., не слушая, — как и Кусикова. А по-моему, с Кусиковым нужно бороться как с вонью». — «Да, Блок опаснее Кусикова», — продолжает Ян: «ибо Кусиков погибнет, а Блок много еще вреда принесет».

В своей половине мы продолжили разговор.

Ян: Как к З. Н. ничего не прилипает.

Я: А как ты не понимаешь, что Кусиковы — ее порождение?

Ян: Правда, она много всякой дряни породила.

Я: Да, бабушка русской большевицкой поэзии.

Ян: Вот я скажу ей это.

Я: Она обидится.

Ян: Нисколько, ей это будет лестно.

31 авг./13 сентября.

…За обедом З. Н. сказала: «Бунин занимает меня», и сказала

это, как бы вслух свою мысль… Пришел Ян и сказал: «Меня трогает Дм. С. вот уже два вечера. Он говорит: нет у меня земли, то есть, не только нет России, но я чувствую, как вся земля уходит из-под моих ног. — Нет, — прибавил Ян, — он не плохой человек! А она — злая. Как она сегодня за завтраком была ко мне зло настроена…»

Весьма трудно представить, чтобы сам Бунин испытывал бы нечто подобное насчет земли. Он по-иному думал и чувствовал, был земным, землянином, дух его был здоров и светел. Вспоминается одно из лучших его стихотворений:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

Еще кое-что из дневника Буниных.

20 сент./3 окт.22 г. Шато Нуаре, Амбуаз.

«…В Берлине опять неистовство перед „Художественным театром“. И началось это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартарары, — нам и горюшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеные ценители искусства. А театр-то, в сущности, с большой дозой пошлости, каким он и всегда был. И опять „На дне“ и „Вишневый сад“. И никому-то даже в голову не приходит, что этот „Сад“ самое плохое произведение Чехова, олеография, а „На дне“ — верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или самоучки, и что играть вообще теперь Горького, если бы он был даже семи пядей во лбу, верх бесстыдства. Ну, актеры уж известная сволочь в политическом смысле. А как не стыдно публике?

9/22 окт.

…В газетах пишут: „От холода и голода в России — паралич воли, вялость, уныние, навязчивые идеи, навязчивый страх умереть с голоду, быть убитым, ограбленным, распад высших чувств, животный эгоизм, мания запасаться, прятать и т. д.“. Тот, кто называется „поэт“, должен быть чувствуем, как человек, редкий по уму, вкусу, стремлениям и т. д. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и проч. На что же мне

нужны излияния души дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне противным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю — он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки…

10/23 окт.

День моего рождения. 52. И уже не особенно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился. День чудесный. Ходил в парк. Солнечно, с шумом деревьев. Шел вверх, в озарении желто-красной листвы, шумящей под ногой. И как в Глотове — щеглы, их звенящий щебет. Что за очаровательное создание! Нарядное, с красненьким, веселое, легкое, беззаботное. И этот порхающий полет. Падает, сложив крылышки, летит без них и опять распускает. В спальне моей тоже прелестно и по нашему, по помещичьи…

14 ноября, вторник.

…Вчера были в Петербургском землячестве. Народу было много, теснота, бестолковость… З. Н. была очень интересна. Прочла три стихотворения. В одном месте ошиблась, сделала вид, что смутилась. Зато Д. С. говорил свободно, слушать было приятно, хотя, как всегда, мысль одна очень верная, а рядом парадокс. Время от времени раздавалось: „довольно!“ — это З. Н. вмешивалась, вероятно, на правах жены. Тогда публика начинала протестовать и просить Д. С. продолжать. Бальмонт сидел со злым лицом. Прочел трое стихов, длинных, однообразных и скучных… Сказал слово и Куприн. Просто, симпатично, тепло. Словом, каждый остался верен себе: Гиппиус в стихах еще раз возвестила, что она пророчица. Мережковский сыпал парадоксами и тоже ввернул, что он пророк. Бальмонт истекал рифмами. А „Папочка“ (Куприн) кротко призывал всех к любви.

20 ноября, понедельник.

…Зашел Куприн. Можно венчаться в пятницу. Говеть не нужно. Это меня немного огорчило. И даже стало жутко, точно Бог еще не хочет допустить меня до причастия… Уговаривала пригласить певчих, но Ян ни за что: „И так стыдно“.

11/24 ноября, пятница.

…Сегодня мы венчались. Полутемный пустой храм, редкие, тонкие восковые свечи, красные на цепочках лампады… весь чин венчания, красота слов, наконец, пение шаферов (певчих не было) вместе со священником и псаломщиком… чувствовала, что совершается таинство… Было лишь грустно, что все близкие далеко. По окончании венчания все были растроганы, взволнованы и… Вся служба напоминала нечто древнее, точно все происходило в катакомбах… Из церкви поехали домой… Меню: семга, селедка, ревельские кильки, домашняя водка, жареные

почки и курица с картофелем, 2 бутылки вина, мандарины, чай с грушевым вареньем, которое превратилось почти в карамель. Ал. Ив. (Куприн. — М. Р.) ласково упрекал Яна, что он мало приготовил водки…

6 декабря.

…Письмо от Шмелева, которое трудно читать без слез:

„Дорогой Иван Алексеевич, после долгих хлопот и колебаний, — ибо без определенных целей, как пушинка в ветре, проходим мы с женою жизнь, — пристали мы в Берлине 13-го (н. ст.) ноября. Почему в Берлине? Для каких целей? Неизвестно. Где ни быть — все равно. Могли бы и в Персию, и в Японию, и в Патагонию. Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда все равно. Могли бы уехать обратно хоть завтра. Мертвому все равно — колом или поленом. 1/4 остается надежды, что наш мальчик каким-нибудь чудом спасся… Но это невероятно… Всего не напишешь… осталось во мне живое нечто — наша литература, и в ней — Вы, дорогой, теперь только Вы, от кого я корыстно жду наслаждения силою и красотой родного слова, что может и дает толчки к творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы…

Внутреннее мое говорит, что недуг точит и точит, но Россия страна особливая, и ее народ может еще долго-долго сжиматься, обуваться в лапти и есть траву. Думать не хочется. Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают… жадное хайло — новую буржуазию. „Нэп“ жиреет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив и пуглив, и нахален, когда можно. Думаю, что радует глаза „товарищам“ и соблазняет. Зреет язва, пока еще не закрытая. А что будет — не скажет никто. Литература — случайна, пустопорожна, лишена органичности, не имеет лица, некультурна, мелка, сера, скучна, ни единого проблеска духовного. Будто выжжено, вытравлено все в жизни, и ей не у чего обвиться, привиться…“

Теперь Манухин уже за то, чтобы Яну дали Нобелевскую премию. А летом уговаривал меня, чтобы я склонила Яна отказаться от премии в пользу Мережковского. А когда Мережковский получит — он поделится. И был очень недоволен, когда я возражала, что кроме денег, есть кое-что другое, что заставляет желать получить премию. Ян сказал ему, что Ромен Роллан выставил его кандидатуру в Стокгольме. Он очень оживился, стал строить всякие проекты, словом, впечатление

такое, что мы самые близкие друзья. А я боюсь таких людей. Сегодня друг, завтра враг…

28. XI/11.XII/22 г.

…У Денисовой, потом обедал у Фондаминских. Опять спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковские: „Это заблудшие дети“. Да, да, блудить разрешается, но только влево. Вот Чехову 20 лет не могли забыть, что он печатался в „Новом Времени“.

Кафедру русской литературы предлагают мне чехи. Откажусь.

18 декабря.

…Встреча с „художественниками“ удалась как нельзя лучше. Все было хорошо, если не считать того, что Бальмонт напился и дважды сказал бестактную речь — сначала на тему, что он первый создал „Чайку“, а потом что-то насчет актера.

В театре было очень хорошо. Москвин, действительно, талантлив. Ян даже плакал, конечно, и вся Русь старая, древняя наша сильно разволновала его. Народу было битком полно…

Приехали мы к Цетлиным одни из первых… Когда приехали все артисты, хозяйка пригласила к столу. Качалов не приехал… Напротив Станиславский, Цетлин, Вишневский… Блистала красотой Надежда Григорьевна Высоцкая. Книппер часто подходила к нам, шутила с Яном. Вообще все артисты были очень любезны с нашим столом… Говорились речи и все на тему, что Художественный театр выше всего, а их главная заслуга — что его сохранили…

Куприн говорил речь и был в благостном настроении.

Потом стали уговаривать ехать в Халь, есть луковый суп. Станиславский сказал, что поедет только в том случае, если поедем мы. Поехали: Станиславский, Гончарова, Ларионов, Книппер, Москвин, Маршак, еще кто-то и мы. Мы сели в такси со Станиславским, Гончаровой, Ларионовым и отбились от прочих. Долго бродили по пробуждающемуся Халю, смотрели на привозимые продукты. Наконец, нашли в каком-то ресторанчике остальных. Было душно, дымно и шумно… Танцевали. Станиславский все держался Яна, уговаривал писать для них пьесу…»

Здесь требуется некоторое отступление. Как писалось в старых романах, пока герои танцуют и едят свой луковый суп, расскажем, как Иван Алексеевич хоть и иронизировал над мхатовцами, сам был однажды связан с ними как автор. Не так давно, кстати. Тесно познакомились и подружились еще в 1900 году, в Ялте, когда театр приехал к Чехову и туда же собрались почти все известные тогда писатели: Горький, Куприн, Бунин. Уже тогда, слушая, как Бунин читает чеховские рассказы,

Станиславский говорил, что готов взять его в труппу. Всерьез же сошлись в 1907 году — Немирович-Данченко придумал: в один вечер поставить «Саломею» Уайльда и «Каина» Байрона в переводе Бунина (кстати, обе эти пьесы наши театры стали ставить и сегодня). Идея прямо ложилась на новые постановочные замыслы Станиславского, и он отозвался, — взялся за «Каина», разработав с художником-скульптором Андреевым гигантскую декорацию. Так Бунин, всю жизнь мало, как уже говорилось, любивший театр, сошелся с мхатовцами вплотную. В книге «Моя жизнь в искусстве» есть целая глава о «Каине». Тогда, в 1907 году, Синод запретил пьесу к постановке. Премьера «Каина» состоялась во МХАТе только в апреле 1920 года, но, к сожалению, автор перевода покинул Россию чуть раньше, в январе 20-го. В 1912 году на праздновании 25-летней деятельности Бунина Станиславский с чистым сердцем преподнес юбиляру золотой жетон с изображением «Чайки» — как потенциальному автору и даже едва не состоявшемуся актеру МХАТа: была идея дать Бунину роль Гамлета, когда ставили пьесу Шекспира, — очень подходил, по мнению режиссуры.

Мережковский тоже имел свою «мхатовскую» историю: еще в 1911 году Станиславский думал об инсценировке романа «Петр и Алексей», позже театр заинтересовала пьеса «Павел I», еще позже — историческая драма «Романтики». При своей амбициозности и важности Д. С. не мог сблизиться с артистической братией так, как это получалось у Бунина, умевшего быть с друзьями — через Чехова — весьма обаятельным, веселым, — не зря Чехов дразнил его «маркизом Букишоном».

Вернемся к рассказу Веры Николаевны:

«… просидели мы, что называется, до поздней обедни. Ехали обратно через пустынный Париж, завезли Станиславского, домой попали в десятом часу утра. Впечатление от Станиславского очень хорошее, хотя он ставит театр выше России. В этом и разногласие наше… Ему пришлось многое пережить, его выселили из квартиры, Бог знает куда. Сын его в это время простудился и схватил туберкулез. Теперь они уезжают в Америку.

26/13 декабря.

…Получили билеты на вечер Художественного театра в каком-то частном доме… Зала небольшая, набита до отказа.

Читают актеры и актрисы. И странно — художественники читают плохо… Хорош был только Москвин.

После вечера хозяйка пригласила ужинать… С нами сидела Книппер… она жаловалась на усталость, — всю прошлую ночь

они пьянствовали у Моло, где среди гостей был и Борис Владимирович, Великий Князь. „Все смешалось в доме Облонских“. Говорят, Москвин был в ударе и много пел…

За ужином я сидела с Милюковым, который был очень любезен… Речей не было, по уговору, но вдруг, уже почти в конце ужина поднимается изящная фигура Качалова, томно становится у колонны и начинает читать „Солнце“ Маяковского. Милюков говорит: „Я думал, что Маяковский совсем не умеет писать, а теперь вижу, что он поэт“. Когда Качалов кончил под аплодисменты ошалевших эмигрантов и стало тихо, Ян громко сказал: „Поедем, а то, пожалуй, еще будут читать и ленинские речи“. Мы уехали.

Дорогой обсуждали, почему Качалов без всякой просьбы стал читать стихи именно Маяковского, одного из самых большевистских стихотворцев? Решили, что он боится своего белогвардейского прошлого и старается…

Между прочим, рассказывают, что против театра, где играет „Художественный“, есть ресторанчик, где сидят статисты театра и ведут пропаганду, чтобы возвращались в Россию. Конечно, с группой приехало много переодетых большевиков, которые следят за актерами…»

(Господи, — хочется воскликнуть сегодня, да что ж за несчастный народ! И там, и тогда, — тоже под страхом, под сыском, хотя вроде так далеко Лубянка! Далеко-то далеко, а щупальца длинные, всепроникающие!..)

1 янв. (н. ст.) 23 г.

«Новый год Франц. мы встретили на мосту Александра III, возвращались от Карташевых пешком… Нам показалось это замечательным… Ян сказал: — Может быть, мы вернемся в этом году?..

Бедняга Бунин, не оставляет, точит его одна мысль: все о России, всё как бы вернуться!..

…8 января.

…Пришел интервьюер… Ян:… — Оттого, что я был в оппозиции, не значит, что я не искал. Я за органичность в искусстве. Если я талантлив, то я скажу новое. Зачем же кричать: Я новый! Я не похож на прежних! Я ни на кого не похож! Кто же начинал без подражания! Я нашел через некоторое время себя, свою музыку… „Деревня“ — реализм, „Господин из Сан-Франциско“ — симфоничен. Появилось в Советской России большое количество пролетарских писателей и поэтов. Есенин — сознательный хулиган… Маяковской тоже натура грубая…»

Запись Бунина: «…1/14 янв. 1923.

Новый год встречали у кн. Пл. Ник. Аргутинского. Нувель, Зилотти. Позднее художник Пикассо с женой, которая по происхожд. русская. Маленький, довольно простонародного склада…

27 янв.

…Были у Цетлиных. Интересный разговор о поэтах, почему поэт должен быть консервативным, должен быть порождением быта. Ян развивал свою теорию о воспоминаниях, о наследственности, об органичности в поэзии… Шмелев сначала был как бы задет, но затем, когда Ян объяснил, что он говорит о духовности в наследстве, то согласился. Ян говорил: „Вот и ваш талант объясняется м. б., тем, что предки ваши были староверы, жили духовно, боролись из-за веры. Тут уже начинается культура“. Шмелев говорил, что он думал о влиянии на литературу церкви, духовных служб, что они играли в жизни писателей большую роль…

17 июня.

…Приезд Мережковских. З. Н. пришла к нам очень оживленная и возбужденная, бросилась Яну на шею. Дм. С. в хорошем настроении. Дача им понравилась…

29 июня.

В 6 ч. приходят Мережковские. Выходим в сад. З. Н. говорит: „Нужно нам, писателям, определиться, что надо сделать для французов. А то они говорят — мы мистически настроенные люди и только. — Падут большевики и что же? Будем мы поддерживать всякое правительство?“ Дм. Серг. сказал, что он за религиозный фашизм. Это придумано хорошо. Ив. С. говорил долго и горячо. Он — белый. Он — монархист-консерватор с демократическим оттенком, но против четыреххвостки (тайное, пропорциональное, прямое, общее голосование) и т. д. Ян сказал, что он за Врангеля и Кутепова, т. е., что он думает, что только сильная военная власть может восстановить порядок, усмирить разбушевавшегося скота.

Потом говорили о том, что большевизм — это, действительно, рабоче-крестьянское правительство и что, конечно, большевики пришли навстречу русскому народу, не желавшему воевать и желавшему грабить…»

Читаешь, и все удивляешься свойствам интеллигентных русских людей, русских писателей особенно, — кажется, все вместе одной дорогой бредут, одно горе мыкают, но какое же множество оттенков недружелюбия, неприязни, амбиций, споров и болтовни по пустякам, — а не по пустякам, то какая бездна нехватки ума, разума, ясности и трезвости взгляда. Понятия о

жизни, о происходящем вокруг и с ними самими до смешного наивны, детски, — вечная боязнь взглянуть правде в глаза, — проще — напридумывать, замы-лить зрачки, все запутать, и — непременно «образованность показать», я, мол, лучше знаю. И как мало взаимопомощи, как мало любви к ближнему, христиане хреновы!..

Например: «13 апреля 1924…Собственно, как мы все легко пережили Россию — сидим, разговариваем о платьях…

19 мая.

…Фондаминский: Вы говорите, мужик лентяй. Но он расковырял шестую часть земного шара. Никуда не годный народ, а создал лучшую литературу в мире, создал лучшее государство по могуществу, обработал большую часть земли.

Ян: Русский народ так же талантлив, как и всякий другой народ. Всякий народ талантлив по-своему. Русский мужик не любит ковырять на одном месте. Поковыряет и идет дальше. Он не любит, не умеет обрабатывать.

Фондаминский: Никто так много не обработал земли, как русский мужик, однако. Это колоссальная заслуга перед культурой.

Ян: Какая там заслуга — бросил зерно в землю. Вот испанская культура пришла в Америку и создала кое-что. А у нас что?.. Здесь полмиллиона простых мужиков. Что они делают — прямо золотые руки.

Фондаминский: Франция скорее погибнет, чем Россия… Франция разлагается. Поговорите с французами… Русский пьяница, а душа крепкая. Пьяный, грозный, распутный, а душа есть. Потому и гунны пришли, что Рим разложился.

[По соседству, как и в прошлом году, должны были поселиться Мережковские. З. Н. Гиппиус в письме от 24 мая, между прочим, пишет Вере Николаевне:

Вижу, что жить
Нам предстоит отныне
На вилле Эвелине
С тарелками немытыми,
Со ставнями закрытыми
Да глаз на глаз с москитами.

…Стремлюсь вон из хаотического дома моего и жажду вас, вашей тишины, а москиты пусть их жрут, меня все равно осталось довольно мало, последняя испанка меня окончательно похудила и постарила… Если найдется домашняя баба — примусь писать два романа сразу, и пропади все.

До скорого свиданья. Скажите вашему богдыхану, чтобы ценил свое самодержавие, пока не приехала оппозиция. Когда она появляется, она всегда „подымает голову“ (или „лапу“), В данном случае не преминет. Начнет с „запросов“… Может, тем и кончит, а все-таки прежней лафы нет».]

Запись Бунина: «1 июня (н. с.) 24 г.

…Первые дни по приезде в Mont Fleuri страшно было: до чего же все то же, что в прошлом году!

Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке… Боже мой, ведь буквально, буквально все было это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со счета — истинный ужас…

9 сент. н. с. 24 г.

Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции…

Париж, 10 ноября.

…Пятый день в Париже. Понемногу видаем друзей и знакомых. Были на Бердяеве. Он нисколько не большевик, как кричал Дм. С. Мережковский. Бердяев говорил, что в России теперь почти нет нейтральных людей. Или большевики или христиане. Предсказывал, что так же будет и в Европе. Говорил, что христиане будут в ближайшее время в меньшинстве, но важна сила веры, а не количество верующих.

15 мая 1925 г.

…Сегодня за завтраком разговор коснулся литературы и Ян много говорил…

…От него перешло к А. Н. Белому, Ремизову и другим.

Илис считает, что все-таки они большие таланты, хотя и исковерканные. Ян стал оспаривать… Они очень жизнеспособные, но к искусству отношения не имеют. Это уже 40 лет продолжается. И Мережковский, и Гиппиус, и даже Розанов — все они не только потому так пишут, что их душа этого просит, а потому, что так надо, так модно. Эти ослы по нотам разыгрывают. Конечно, они способны выявлять все эти извивы, но этими извивами они и маскируют свои небольшие таланты. Вы посмотрите, что эту зиму разделывал Мережковский, — он, оказывается, великолепный актер — и ноги расставляет, и кривится, и шепотом говорит, и опять поднимает голос на каком-нибудь вечере „Звена“. И тут Ян изобразил Дм. С., то он бесом представится, то юродивым.

И все они как на людях, так говорят не по-людски, а как до

практического дела — так начинают совершенно просто, без всяких завываний говорить. И так дурачат публику уже 30–40 лет. Но, конечно, они способнее тех, кто и этого не умеет делать, а между тем всем перверстным организмом своим жаждет всех этих изломов…

8 июля.

…Странно наблюдать писателей. Почти каждый считает себя выше всех или почти всех. А многих совершенно не приемлет. И как часто видишь, что они не понимают один другого…

11 июля.

…Степун пишет, что он с Кусковой, Осоргиным и др. всегда будет защищать от нападок эмиграции и „эмигрантского злобствования“ возникающую в Советской России творческую жизнь. Да кто это отрицает, что, вопреки большевикам, Россия родит таланты? Весь вопрос заключается именно в споре относительно двух слов: — „вопреки“ или „благодаря“…

21 июля.

…В „Днях“ печатаются письма Блока. По этим письмам Блок выиграл в моих глазах… и стал понятнее…

17 июля/30 июля.

…Я ценю в Зайцеве то, что он выбрал свой путь и идет по нему по-зайцевски, и то, что он настроил свою душу на высокий тон. Он ни у кого не выбирает ничего, а тихо, медленно, но неуклонно идет по своему пути, который всегда подымается выше повседневности. Он, как писатель, говорит: мне нужно только мое ощущение, только мое восприятие, а логично ли, правдиво ли это — мне все равно…

6 августа.

…Из статьи Ходасевича о Блоке: „Блок признавался, что многих ранних стихов своих больше не понимает“.

Правильно сказал Ян, что это род душевной болезни. Человек видит спичечную коробку, а выражает какое-то мутное чувство к ней. Тут не поймешь, спичечная коробка это или что-нибудь другое.

Ян вчера на прогулке говорил на тему, какое значение имеет имя автора. Если оно знаменитое, то читатель гораздо больше напрягает внимание. Поэтому — успех, и часто даже не по заслугам…

12 сентября.

…В шестом часу приехал Рахманинов. Посидел около часу. Он с семьей в Канн. Большая вилла, своя машина, на которой они приехали из Германии. Он очень мне понравился. Очень прост и приятен. Звал к себе. По-видимому, к Яну относится очень хорошо… Рахманинов пришел без шапки, в коричневой фуфайке,

парусиновых туфлях. Забыл портсигар…

24 сентября.

…Вспоминаю обед у Рахманиновых…Трогательное отношение к Чехову. Все просил Яна порыться в памяти и рассказать об Антоне Павловиче. Ян кое-что рассказал. Рахманинов очень заразительно смеялся. Рассказал, что когда он был еще совершенно неизвестным, он в Ялте аккомпанировал Шаляпину. Чехов сидел в ложе. В антракте он подошел к нему и сказал: „А знаете, вы будете большим музыкантом“. Я сначала не понял и удивленно посмотрел на него, — продолжал С. В. — а он прибавил: „У вас очень значительное лицо“. — Вы понимаете, что тогда значили для меня слова Чехова. А музыки Антон Павлович не понимал. Он предлагал мне написать что-то к „Черному монаху“.

Толстого Рахманинов не любит… Ян старается показать всю трагедию Л. Н., но мне кажется, его слова до Рахманинова не дошли…

30/31, ночь, октябрь 1926 г.

…Сегодня Ян был очень печален. Долго лежал в темноте. Говорит, тоска ужасная. Да, тяжело он отрывает от себя каждый год. С корнями ушел в землю, потому и тяжело. Слишком он все видит и понимает, все остро чувствует. Потом сошел вниз, развеселился, поставил бутылку вина, которую они с Н. К. (Кульманом) и выпили. Когда я пришла к нему наверх, он лежал в постели, видимо, ждал меня. Был нежен. Говорил, что только я для него все. Что мысль о моей смерти преследует его уже 20 лет. 40 лет боялся смерти матери, а 20 — моей. Поэтому, когда я заболеваю, то у него весь мир преображается. И он, как сумасшедший, должен куда-то лететь. Он понимает, что может увлечься, но это не настоящее. „Отдельный кабинет, ужин, момент усталости — она смотрит, увидит морщину и думает: стар. А мне хочется сказать — allez vous en! Ты одна не видишь того, что есть. Да, как отражение в окне вагона и стекло, и сквозь него видишь звезду“…

5 июня.

…принесли газету с „Окаянными днями“. В восторге от стихов, которыми этот кусок кончается… я прочла их и вспомнила, как мы в этот вечер ездили за Скородное и из лесу увидели зарево, испугались: не у нас ли? И я, как сейчас вижу, как Ян сделал быстрое движение, натянул вожжи, ударил лошадь кнутом… А стихи вот такие:

Наполовину вырубленный лес,
Высокие дрожащие осины

И розовая облачность небес.
Ночной порой из сумрачной лощины
Въезжаю на отлогий косогор.
И вижу заалевшие вершины.
С таинственною нежностью, в упор
Далеким озаренные пожаром…
Остановясь, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас? — Недаром
Вчера был сход! — И крепко повода
Натягиваю, слушая неясный,
На дождь похожий лепет в вышине,
Такой дремотный, сладкий — и бесстрастный
К тому, что там, и что так страшно мне.

11 ноября.

…Вчера завтрак у Мережковских… З. Н. пригласила Г. Н. Кузнецову… я очень благодарна ей за это… Завтрак был хороший. После З. Н. читала нам дневник. Перед тем Дм. С., который не слушал чтение (он не может ничего ни читать, ни слушать о революции: „это все равно, что вашу мать убили, а вы будете слушать об этом“), говорил: — Милюков это Чичиков, Керенский — Хлестаков. В нем сидел бес, в котором и мы повинны, теперь бес из него ушел, а все продолжает становиться в наполеоновские позы.

З. Н. читала дневник, относящийся к Корниловской истории… Ведь по духу она была близка и с Илюшей (Фондаминским), и с Савинковым, и с Керенским, а Корнилов собственно был ей чужд, — и однако она выносит оправдательный приговор Корнилову, даже не выносит, а он сам „выносится“. И что самое замечательное — Корнилов не увлекает ее, к белому движению она остается холодна, не верит ему. Ее дневник — сама история. Она была поставлена в необыкновенно выгодное положение. Ежедневные свидания с Савинковым, человеком, умеющим отлично рассказывать, свидания с Бунаковым, знакомство с Керенским и дружба с Карташевым…

16/29 декабря.

…Ян давно не пишет. В холоде, в дожде, мраке ему не работается. Хоть бы январь был погожим. Ведь ему необходимо набросать хотя бы III-ю часть.

Г. Н. встает в 11 часу. Ей жить надо было бы в оранжерее… Она слаба, избалована и не может насиловать себя…»

(Подобные рассуждения и резюме Веры Николаевны, как и

иные ее характеристики, можно было бы не принимать во внимание ввиду не особенной ее компетентности в подобных проблемах, но надо думать, что такие впечатления несомненно обсуждаются между мужем и женой, и за словами В. Н. почти всегда слышится голос Ивана Алексеевича.)

«**8 сентября**.

…Вчера зашли к Мережковским… В Белград они едут. Возмущены, что редактор Струве. „Я не буду с ним работать“, заявляет З. Н. „Я напишу статью против самодержавия, вот он и уйдет“. Значит, ясно — Мережковские едут в Белград, чтобы вырвать у Струве воображаемую власть, а если не удается, то будут стараться, чтобы Струве отказался работать с ними. Они думают, что журнал будет в их руках, т. к. Ян занят „Арсеньевым“, связан с „Соврем. Записками“, то он не опасен им. Алданов вряд ли станет принимать близкое участие там, Куприн — рамоли, Шмелев — болен, Зайцев не опасен. Словом, им мерещится из этого журнала сделать „Новый дом“…

19 сент.

…Мережковские едут в Сербию. Им прислали 10 000 фр. будто бы за пьесу. З. Н. сшила новое, слава Богу, черное платье. Дм. С. возбужден…

Ходасевич попросил у меня ту статью Гиппиус, где она писала об Яне как о большом писателе, о большой личности и издевалась над критиками, которые называют его описателем. О себе Ходасевич говорит, что он очень доверчив, что Мережковским он не верил и что они „ужасно с ним поступили…“

8 окт.

…Письмо Мережковского (вероятно, С. К. Маковскому):

„Дорогой Сергей Константинович, посылаю Вам большую газету с моим интервью. Очень прошу Вас, велите его перевести и напечатайте в „Возрождении“. Интервью чрезвычайно важное, благодаря многим обстоятельствам, между прочим, исключительно любезному приему короля Александра: на обеде я сидел рядом с королевой, а З. Н. рядом с королем. Наша беседа была очень важна и она, конечно, будет иметь последствия…

Ах, забыл, я получил орден Св. Саввы первой степени, высший орден в Югославии. Это тоже имеет большое значение, З. Н. — Савву второй степени. Ленты, звезды, рескрипты. Славяне все в восторге и умилении. Встречали, плачут слезами от любви к нам русским. А дураки в Париже сидят каменными болванами.

Сердечно Ваш Д. М.“.

20/7 октября.

…Были вчера у Мережковских. Оба сияют и довольны.

Вероятно, денег привезли больше, чем ожидали. Ордена красивые. Д. С. все повторял, что кроме него, такой орден только у еще одного сербского писателя, а про Немировича не упомянул…

…Рассказывали они нам далеко не все, все время лавировали, особенно З. Н. Вечером Ян долго говорил о „Жизни Арсеньева“. Он горюет, что дал такое заглавие, нужно было назвать „У истока дней“ и писать, как Толстой-душенька написал „Детство“, „Отрочество“ и „Юность“ — и запнулся. „— И мне кажется, что я больше не напишу. Ведь 17 лет не написал в трех книгах. А 40 лет я должен написать в одной, в крайнем случае в двух…Ведь одно из двух: либо писать кратче, а если так же — то сколько выйдет томов! Я думаю об этом денно и нощно. Иногда кажется, что нужно оставить на время, заняться другим“.

24/11 н.

…З. Н. говорила об Яне: „Он — единственный, подражать ему нельзя. К людям он относится как к части мира, который он любит очень. А потому он может дружить и с Кульманами и т. п. Человек сам по себе ему не нужен“. М. б. это и правда?..

15 апреля.(1932 г.)

…У Мережковских. Комната З. Н. Очень мила. Говорили о постороннем. Затем вошел Мережковский. Вид его страшен. Глаза сверкают черным огнем. Сев на постель, он с места в карьер снова стал говорить о том, чтобы „застраховаться“ на случай получения Нобелевской премии. Я сказала, что Ян едва ли согласится, что он суеверен, да и едва ли дадут русским. Он остался недоволен. В это время влетел черный кот, я вскочила и поспешила уйти. Все заахали, закричали…»

Остановимся на этом крошечном эпизоде. Думаю, о Мережковских, о всех иных друзьях и недругах Бунина довольно, достаточно. Бунин выиграл у Мережковского свою партию с Нобелевской — но он выиграл против него и вообще: по литературе, по жизни, по совести. Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна останутся — остаются для истории русской литературы средними писателями, средними людьми. Все же писатель должен иметь имя, быть славен, а главное — читаем, воспринимаем миллионами читателей, — только так мертвые остаются живыми: пока мы помним и любим их. Вечная жизнь у Бога — одно, вечная в литературе — только — через типографию, через библиотеку — у читателя. У нас с вами, сегодня, в нашей все же живой и вечной России. Князь Иван Алексеевич Бунин в сравнении с ними — остается стоять высоко, живым, нерукотворным памятником, — на пьедестале сделанного им

честно и безукоризненно своего дела: своих бессмертных книг.

…Всегда был красив, умен, изящен, хотел и умел нравиться: не «раздевал женщину глазами», а видел — прозорливым, опытным взглядом, подходил как к своей, давно знакомой, почти родной — а на женщин такой опытный, донжуанский взгляд действует всегда соблазно. Очень уверен был в себе, подобно хорошему охотнику. И бил редко, чтобы без промаху.

…Она очень влекла, неудержимо: молодостью, мягкостью, веселым нравом, фиалковыми, зовущими влюбленными глазами, почти открытым телом, — все платья легкие, летние, шея, ноги, руки открыты, — летние матерчатые туфли без каблуков, красноватый загар, коротко стриженные темные волосы, кокетливо схваченные спереди широкой лентой в цвет платья; изнутри руки белели до самых подмышек незагорелой кожей, — он знал уже дивный шелк и нежность этой кожи, — взгляд сам полз по чуть широкой кисти, ногти в розовом лаке, и далее по руке, к локтю, не оставляя ни одной родинки, свежей или запекшейся царапины, входил в томную тьму подмышечной впадины, когда она поднимала или протягивала руку. Темные вместе брови и глаза глубоко — красивы, плескали любовью и радостью видеть мир. То, что она писала, стихи и рассказы, было пока слабо, но он уверил себя в ее способностях и талантливости, — почему и взял в ученицы, и Бог знает, как хитро вертясь, уговорил Веру, чтобы ей жить прямо у них в доме (не ходить же ему куда-то к ней давать уроки, как репетитору). Ум заменяла ей глубокая женская интуиция, ярко выраженная сексуальность, свобода разговора и поведения. Говорить с нею можно было часами: она слушала его, буквально приоткрыв рот, розово-молодые губы, отвечала впопад, смеялась без жеманства, показывая свежие, молодые зубы, один-два чуть-чуть вкось. Слегка заикалась, тоже очень мило. Все ему в ней нравилось, чем далее, тем больше!

А вот сам себе нравился все меньше. Утром, обривая усы и бородку, убирая щетину на шее и кадыке, сам себе глядел в глаза через зеркало. Ни морщины, ни одно-два ржавых пятна и некрасивая плоская бородавка, вылезшая на лоб, ни стариковские веснушки на руках не смущали его. Но глаза, его всегда яркие, веселой голубизны глаза сделались стальными, усталыми, не играли прежним огнем. Он рано, в дальнем детстве, когда умерла младшая сестра, узнал смерть, и всю жизнь всюду встречал эту проклятую смерть, и, кажется, боялся и будто не боялся, знал: все смертно и тленно на свете, не будет и меня когда-то. И ни-ког-да

не думал, — вот она, юность — не думал и не ожидал старости. Глаза его не были радостно открыты, как всегда. Стало пошаливать сердце, без конца, до кровотечений мучил проклятый геморрой. Но это не считать же за беду. Он плохо спал, просыпался едва не каждый час за ночь. Утром, не ленясь, подолгу делал гимнастику, и тело оставалось пока сбитым, сухим, мускулистым, кожа не теряла эластичности.

Понятно, надо сопротивляться. Стоять твердо. Против этого проклятого геморроя, против обвисания мускулов и кожи, седины, сердечной слабости, — обморочный приступ случился внезапно, при подъеме в гору, окатив тело холодным потом, а душу страхом. Против всего стоять. Против Веры, ее увядания и бледного ума, против всего.

Но как, чем защищаться? Прежнего не осталось ничего, все потеряно. Да и нет пути назад, вспять не пойдешь. Надо искать и наращивать новое. Как? Каким образом? Работой? Но работать тоже все тяжелее. Ничто не задевало, не возбуждало, как прежде. Книги? Что книги?.. Природа?.. Что ж, природа сама по себе? Вернуть надо. Все, что можно. Вдохновение. Остроту. Свежесть. Славу. Людей. Друзей. Победы. Признание. Борьбу. Что за отказ от прежнего? — Все вернуть, нельзя отказываться.

Впереди — болезни, голая нищета, смерть. Только двигаться. Брать, как прежде, а не отдавать. Пасьянс должен выйти. Надо выиграть у Мережковских. Надо уладить с Верой. Надо выиграть с Галиной — зачем-то Бог посылает ее ему!

А Россия?.. Как выиграть с Россией?..

Веря в живую силу воды, подолгу умывался, плескался. При любом случае старался спуститься вниз, к пляжу, принять морские ванны. Хорошо, без одышки плавал. «Нет, нет, — говорил он себе в зеркало, — еще не старость — раз, второе, — старость не должна мешать работе. Надо выставить ей заслон. Как Иванушке, нырять в котел с кипящей, потом с ледяной водой».

Познакомились еще когда-то прежде, нечаянно, в Париже. Теперь повстречались на пляже. Он заплыл, вернулся, вышел на берег, мокрый и нелепый, в белых, ниже колен купальных трусах, босоногий.

Здесь поджидал его поэт Гофман, рядом с ним молодая женщина с милым лицом, глазами, аккуратной фигурой.

— Извините, Иван Алексеевич, вот, будьте знакомы, молодая поэтесса Галя Кузнецова, ваша поклонница, мечтала увидеть вас.

— Что же, с удовольствием, — протянул мокрую, прохладную руку. — Мы встречались, кажется.

— Да, когда-то в Париже.

Сам глядел с интересом: давно не встречал новых, привлекательных лиц.

Множество раз потом они перебирали, вспоминали оттенки этой встречи. Для нее он был знаменитый, почти великий человек, академик, автор любимых ею стихов и рассказов (многое наизусть знала), и, разумеется, было и нелепо и неловко видеть пожилого господина в этих трубочками трусах, отекающего водой, — вода собиралась под босыми ногами темным пятном на песке. Она не оробела, впрочем, отвечала на его вопросы. Нелепый Гофман, на которого Бунин поглядывал чуть искоса, пытаясь угадать, какова связь их, кроме поэзии, готов был уже сказать ей читать стихи прямо здесь, на пляже. Бунин уклонился, предложил прийти к нему в гости. Вообще академик держался запросто, по-пляжному, раз уж так вышло, и она чувствовала: он глядит с интересом.

— Я же тебе понравилась? — спрашивала она потом много раз. — Честно, понравилась?..

Да, сразу понравилась, давно забытый азарт шевельнул сердце: ее молодые глаза, улыбка, фигура, женственность, готовность. Что греха таить, это-то без ошибки умел угадывать: готовность, податливость, очерк губ, мгновенный женский интерес. «Неужели?» — сказал он себе сразу. Так давно мечталось о такой, новой любви, как мальчику.

Старенькая двухэтажная вилла «Бельведер» прилепилась среди горы высоко над Грассом. Ниже лежала Ницца, белоснежный европейский курорт, еще в давние времена облюбованный русскими. Дорога вниз называлась Наполеоновской: когда-то его гвардия прошла здесь. Старые горы пышно покрывали леса, кустарники, виноградники. Виллы утопали в садах. Стояли повсюду кипарисы, сосны, пинии. Дворик виллы, выложенный плиткой, выступал, словно нос яхты или мостик корабля, — открывался отсюда невероятный поднебесный простор, — до самого дальнего хребта Эстераля с вершинами, снежно окутанными облаками. Туда вела глубокая синеющая долина, простиралась до самого моря, и ярко-синее море над чертой горизонта словно стояло дыбом, выпукло, подобно линзе. Нигде на свете не было такого простора, нигде на свете так не горели июльскими днями густо-голубые небеса.

Во дворе, под пальмой, — стол, легкие стулья, шезлонги. Качели.

Кто только здесь не бывал, не сиживал! Рахманинов, Алданов, Мережковский и Гиппиус, Андре Жид, Зайцевы, Борис и Вера, Ходасевич с Берберовой, Иван Шмелев, Куприн.

Все вокруг приглашало к прогулкам, скитаниям по лесам и паркам — у Ивана Алексеевича был пунктик: бродить и выбирать подходящие виллы, где хотелось бы жить и на другое лето и где, возможно, берут дешевле. Все располагало к праздности, долгим беседам. Галина прыгала с камня на камень, взбиралась все выше, забредала в чужие сады, продиралась сквозь кусты, ходила в царапинах. Он, любивший носить на юге все белое, в парусиновых туфлях, панаме, легкомысленном кепи или канотье, держался храбро, поспевал за ней, не глядя иногда на одышку или судорогу в икрах. Ничего, ничего, говорил он, и шел, прыгал тоже, ухитрялся в трудном месте поддержать или подать жестко-надежную, сухую ладонь. Смех ее, молодо-звонкий, почти девический, доносило до виллы, до слуха Веры Николаевны. Вера Николаевна, всех проводив, обычно копошилась во дворике, стирала и стряпала обед. И думала. И кое-что записывала в свой дневник: что было вчера, как они живут, о чем говорили, и как Ян, как Галина.

«2 авг. Очень беспокоит Ян — тих, кроток, подавлен. Устал, беспокоит сердце… Он не может работать, отчего очень страдает и, как всегда, ему кажется, что хуже с ним не бывало…»

Или: **«13 октября**. Одна в Ницце. Странное чувство. Город кажется мертвым (воскресенье). На набережную не выходила, боюсь знакомых. Хочется один день провести в уединении. Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге. Пусть любит Галину, Капитана, Зурова — только бы от этой любви ему было сладостно на душе…»

К этому времени Бунин прожил с Верой Николаевной более двадцати лет. Бунин был нелегкий в общежитии человек, и деспотичен, и капризен, и раздражителен. Он хотел только писать, никакая женщина, как бы он ни увлекался, не могла отнять его у его Музы. В воспоминаниях Нины Берберовой, хорошо его знавшей, дружившей с ним много лет, есть, к примеру, такой пассаж: «Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова… Все не перечесть. Символистов он стирал „в порошок“; к собственным стихам относился ревниво, и не позволял суждений о них; в русской политике, до визита к советскому послу, он был реакционных взглядов, а после того, как пил за здоровье Сталина, вполне примирился с его властью; смерти он боялся, злился, что она есть; искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость. Поэтому

разговор часто был мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин „распускался“, его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью, крупные, сильные руки дополняли облик, и речь его лилась — о себе самом, конечно, но о себе самом не мелком, злобном, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе постоянного места в своем времени. Что-то теплое сквозило тогда в его лице, и это же теплое сквозило иногда в его письмах, и, казалось, — какая-то нить протягивается между нами, но на следующий день нити никакой не оказывалось, и он силою вещей отдалялся на бесконечное расстояние. В самом ближайшем его окружении постоянно находились люди, присутствие которых бывало мне тягостно (не говоря уже о Вере Николаевне, которая своей невинностью обескураживала не одну меня). И среди них был человек, который впоследствии оказался тайным членом французской коммунистической партии. В. Н. не чаяла в нем души, и он много лет жил как член семьи в доме Буниных».

У Нины Берберовой был, конечно, злой язык, но она выражала не только свое мнение: так же, с теми же сплетнями говорили о Бунине многие из эмигрантов.

«Бельведер» действительно кишел народом.

Сначала появился Н. Рощин, — он служил в Добровольческой армии, в чине капитана, — и у Буниных по-домашнему так и звался Капитаном. Его приютили, выдавали за члена семьи, он что-то писал, уезжал, пропадал, вновь появлялся. Часто бывала и гостила художница Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова, ученица Н. Гончаровой и М. Ларионова, — способная художница, ее уже знал Париж, а Бунину, кажется, просто нравилась, — во всяком случае в своих записках о нем она говорит весьма нежно-дружески, было несколько милых встреч помимо «Бельведера», в его кабинете висели ее рисунки.

Часто бывали Алданов, Степун, Седых, Бахрах. Дом какое-то время делили с Фондаминскими.

Какой-то моряк или докер из Риги прислал Бунину свою первую книгу, жаловался, что не может писать, нет средств, нет работы. Галина и Вера Николаевна заставили Бунина прочесть книжонку этого несчастного Лени Зурова и ничего лучше не придумали, как позвать его в Париж, к ним: здесь, мол, поможем, поищем работу, а пока поживете у нас. Так и вышло. Зуров остался еще одним нахлебником в доме, В. Н. любила его, как сына (или более), ухаживала, лечила. Ивану Алексеевичу оказалось как бы и на руку — отвлекало Веру от Галины. Он бывал резок, непререкаем, за многие годы Вера приучилась быть

покорной, послушной женой, жить только его интересами, его жизнью. Научилась терпеть и прощать. Но считать, что женская преданность, женское самозабвение не имеют границ, было бы ошибкой. Каждая женщина любит занимать первое место, каждая — царица, а царице должно быть подвластно все. Тем более если власть уже в руках, завоевана и непоколебима.

Непоколебима? Всякой власти только так кажется, так хочется. Но на власть есть другая власть: любовь. Приходит Золушка, и принц бежит за ней с хрустальной туфелькой в руке.

Несомненно, в жизни Ивана Алексеевича бывали ситуации, когда он делил свою любовь, привязанность между двумя, — это отражалось в творчестве: знаменитая «Натали», «Зойка и Валерия», — а то и тремя женщинами, — как в том же «Генрихе». И теперь, с Галиной Николаевной и Верой Николаевной выходило похожее. Здесь скорее всего сказывался неуёмный, своевольный отцовский характер: что хочу, то и ворочу, будь по-моему, а там хоть трава не расти! Иван Алексеевич поступал так, как ему хотелось, как ему казалось нужным (для себя) и возможным. Вероятно, в этом чувствовался даже восточный, мусульманский образец, — не зря так много бродил по Востоку: возможно самое возвышенное отношение к женщине и вместе — как к рабыне, четвертой или пятой, младшей или старшей жене. В данной истории получалось похоже. И удивительно, что мужская нравная воля, мужская сила заставляли женщин мириться с этим положением, занимать его, — возможно, и вопреки своим желаниям и понятиям. Великолепный эгоизм Ивана Алексеевича, его власть над любящей женщиной и воля создавали эту сложную, но, несомненно, острую и возбуждающую поэта игру. Галина, сама поэт и женщина, несомненно, незаурядная, экзальтированная, весьма искренне игравшая роль самой понимающей и преданной мэтру ученицы, — нужна была Ивану Алексеевичу именно в этой ипостаси: она глядела ему в рот, растопырив глаза, все принимала в нем, со всем была согласна. С нею повторялось то же, что было когда-то и с Верой, Галина, скажем прямо, была все же молода, своенравна — она позже изрядно и мучила Ивана Алексеевича, заставила его испытать прежде неизвестное: ревность, муку и непонимание ее отношений (впоследствии) с Маргой Степун.

Образовался некий клубок: Вера — Бунин — Галина — Вера — Зуров — Зуров — Бунин — Галина — Марга, — все сложно, нервно, необычно, любовно, дружески, ревниво, семейно и с отторжением, ясно и путано.

Самоценность и главенство Галины росли с каждым днем. Он не мог работать, потому что мысли о старости, о смерти

отравляли сердце. Он продолжал любить свою Веру, быть ей мужем, принимать ее заботы. Но его главная забота, его интерес уже были не здесь.

От старости, от тоски, от греха уныния могла спасти только любовь, только молодость. Он привык завоевывать, брать в плен. Бедной киевской мещаночке, без титула, без роду-племени, без денег, жене какого-то грубого шофера Петрова — как было устоять? Он увешал ее золотом своей любви, унизал бриллиантами слов, взглядов, прикосновений, окутал в дорогие меха своей нежности. Он будто проверял себя: есть ли еще силы души на такое?.. Она поняла, она быстро ухватила этот крючок. Теперь она забирала над ним власть. Хотела гулять — он гулял, читать — он читал, ехать купаться — послушно ехал. Они не расставались часами, днями. Ее нежность, ее смелость отзывали тайным пороком. Ларошфуко сказал, влюбленные не надоедают друг другу, потому что все время говорят только о себе.

Они говорили о себе. Он читал ей вслух или отдавал вечером страницы, написанные за день. Он проверял, что сделано ею, как учитель исправлял ошибки и диктовал правила. Она бежала к нему с каждым доморощенным стишком, с любой идеей или вдруг измышленным образом, поворотом сюжета. Все подолгу обсуждалось, обкатывалось, ей нравилось все. Разве Вера не могла быть ему подобной слушательницей, советчицей? Когда-то была. Теперь она только сидела за машинкой, перепечатывая страницы с его нелегким почерком. Он придирчиво выбирал перья, у него была странная манера держать ручку не между первым и вторым пальцем, как все, а между первым и третьим.

Любовь — это желание касаться, сказал кто-то. Он желал ее касаться. Он не сводил с нее глаз. Ее походка, руки, ноги, грудь — все возбуждало его, тянуло магнитом. Ему уже приходилось прятать глаза от других, отворачиваться, таиться. Но нет, бесполезно — он снова и снова тянулся за ней, хотел быть ближе, рядом. Он знал и любил эту первоначальную, острую любовную игру, он ничего не мог поделать с собой. Сперва будто нечаянно, вдруг он где-нибудь обнимал ее, ощущал ее талию, плечи, колени. На лестнице, во дворике, у крана, на прогулке, в его кабинете, когда оставались одни. За столом они глазели друг на друга, уже почти не таясь. За прикосновением, за жестом пришли слова: милая… ну, постой… Галочка, милая… Первые поцелуи, первый случай, когда отдыхая, где-то под кипарисом, он положил голову ей на колени… Страсть караулила их; как рысь: долго выжидала, потом кинулась в прыжок, в жадное терзание жертвы, — его губы, его руки наконец нашли ее, — она ничего не могла другого, как податься навстречу, обомлеть, обмякнуть,

разнять ноги. Он не ошибся в ее податливости, страстности, тайно-скрытой порочности. Если ему не хватало сил, она помогала ему сама, — и это он предугадал в ней, надеялся. Не ошибся.

Приезжали и приходили гости: часто Рахманинов с двумя дочерьми, старый приятель Фондаминский, Ходасевич, много других, — в Париже зимой тоже (ведь Галина прожила у них несколько лет подряд). При чужих Бунин умел непроницаемо сделать вид, что все в порядке, нормально, и Зуров этот за столом, и Галина, и позже близкая подруга Галины, Маргарита, Марга Степун, певица, младшая сестра всем в эмиграции известного журналиста и литератора Федора Степуна. Публика в эмиграции, подобно подпольщикам, всегда была напряжена, насторожена против любого нового лица, всем мерещились большевистские или местные шпики, агенты. Хозяин дома всем видом давал понять, что любые подозрения напрасны: его дом и домочадцы есть только его дело.

Так он оберегал Галину, отводил от нее сплетни.

Вера Николаевна оставила дневники и письма тех лет, Галина, много времени спустя, уже живя в Америке, тоже написала свой «Грасский дневник». Ни в одном, ни в другом сочинении мы не найдем ни следа ссор, недовольств, злости, даже элементарных подозрений, ревности. Нет, идет обычная жизнь день за днем. С утра Иван Алексеевич поднимает всех на работу, подгоняет Галину: мол, только теперь, в юные годы и можно сделать что-то ценное. Пока он занят своей гимнастикой, Вера и Галина накрывают завтрак. Галина ходит по садику, расправляет цветы, срезает розы.

Князь — домашняя кличка Бунина — первым поднимается наверх, в свой кабинет. Галина — в свою комнату, Зуров — в свою. Жизнь еще благополучная, мирная, есть достаток, нахлебники не в тягость. Позже начнется война, перебои с продуктами, топливом, а там вовсе голод и холод, болезни, — но странная эта коммуна не распадется еще много лет. В войну будут жить в другом доме, на вилле «Жаннет», но тоже все останется по-старому.

Иногда Вера отправляется в город, за продуктами или в церковь — они остаются одни. Но чаще они уходят на свои прогулки — даже вечером после ужина. Или бегут в кинематограф, в город. Однажды на прогулке, — сама Кузнецова рассказывала, — купили ветчины, рокфора, бутылку вина и, сев на горке над дорогой, поели. В какой-то другой раз попали на праздник молодежи: «танцуют на том месте, где сорок лет назад было кладбище, а теперь нечто вроде плаца. Глядя на пляшущую

под трехцветным шатром толпу, он взял меня рукой за плечи и сказал взволнованно: „Как бы я хотел быть сейчас французом, молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту… Ах, как хорошо!..“»

И увел в темноту, конечно.

Он рассказывал ей свои прежние романы, вспоминал, как рождался тот или другой рассказ.

С нею он говорил легко и о символистах, и о своих стихах — даже разрешил ей на ее вкус составить большую подборку для книги. Говорили и о художниках, о музыке — она слушала и верила, и сияла на него глазами. С нею же обсуждалась вся сложная история насчет Нобелевской премии, когда соперниками были выдвинуты Мережковский, Горький, Куприн. Она умела говорить пылко — уверяла: он — самый лучший.

ЖИЗНЬ «БЕЛЬВЕДЕРСКАЯ»

Итак, Бунины живут в Провансе, над Грассом, близ Ниццы. С ними — и Галина Николаевна Кузнецова. Вот заметки из ее «Грасского дневника».

«7 июня 1927 года.

…После завтрака И. А. и я лежали в полотняных креслах под пальмой и разговаривали о литературе, о том, что надо, чтобы стать настоящим писателем…

8 июля 1927 года.

…Вечером читала И. А. у него в кабинете стихи Блока и слушала, как И. А. громил символистов. Конечно, многое надо отнести на счет обычной страстности И. А. Он кричал, например, вчера о Блоке: „Лакей с лютней, выйди вон!“, чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам.

12 сентября 1927 года.

…Сейчас одно из тех мирных рабочих утр, которые я так люблю. Под окном непрестанный шум льющейся воды — это нелепая черная старуха Мари в своей соломенной лошадиной шляпе стирает под навесом, подле кухни. И. А. пишет у себя, Капитан где-то на верхних террасах… В. Н. печатает на машинке в соседней комнате. Теперь мы с ней попеременно перепечатываем всю рукопись „Арсеньева“.

…Я счастлива, что он часто говорит о себе то, что могла бы почти теми же словами сказать и я. Счастлива и тем, что каждая глава его романа — несомненно лучшего из всего, что он написал — была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах.

30 декабря 1927 года.

И. А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно любезен. Он ни разу не встал со своего кресла и говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. Я давно не видела его таким. Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати, ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляло меня в душе улыбаться. Впрочем, эта общедоступная любезность всех покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее.

7 сентября 1928 года.

И. А. нездоров, мы в тревоге, может быть, даже и преувеличенной. У меня сердце замирает от тоскливого страха, но я стараюсь разговаривать с ним весело, твердо. Раздражаюсь на В. Н., которая пугает его беспрестанными советами лечь, не ходить, не делать того или другого, говорит с ним преувеличенно, торжественно-нежным тоном. Он от этого начинает думать, что болен серьезно, и чувствует себя хуже. У него ведь все от внушения.

17 сентября 1928 года.

…В доме сейчас…нервность по поводу издания стихов И. А., переписки с Белградом, со знакомыми… Хуже всего, что И. А. волнуется, а не следовало бы. Махнуть бы рукой на все это и жить спокойно. О В. Н. и говорить нечего. Она белеет и краснеет двадцать раз в минуту при всяком разговоре об издании книги И. А. О, Боже, какой в сущности невыносимо нервный дом!

25 сентября 1928 г.

…Приехала кузина В. Н. Маня Брюан. Целый день по этому поводу суета, ходят по всем комнатам, даже И. А. не так упорно сидит у себя. Наблюдаю Маню из своего угла. Кажется, основное ее качество — спокойная уверенность в том, что мир вращается вокруг нее…Они занятны рядом с И. А. Каждый эгоцентричен, и они невольно сталкиваются в этом, хотя бы это выражалось в куске курицы, или кисти винограда, или в самом удобном кресле. Она так же, как и он, любит все самое лучшее и считает, что оно сотворено для нее. И вот тут интересно, как он бранит в ней то, что есть в нем самом, и почти боится посягательства на свою тарелку, свою комнату.

9 октября 1929 года.

…Зато „Арсеньева“ мы с И. А. кончили как-то приподнято, так что у меня горели щеки, щемило сердце… Он диктовал последние две главы, и оба мы были в праздничном счастливом подъеме.

1 ноября 1928 года.

Вчера были одни днем с Капитаном в доме, и было тихо, как

в могиле. Шел дождь не переставая… Это прекраснейшее в солнечные дни место в непогоду делается чуть ли не самым мрачным на свете… Потом мы часа два готовили на кухне с Капитаном ужин…Прерывая наш разговор, распахивается входная дверь, кто-то сует зонтик в угол, потом темная масса пролетает вверх по лестнице и раздается отчаянный гневный рев:

— Черт знает что!.. Жалеть тридцать франков на автомобиль и лечь из-за этого в могилу… Я же ей говорил…

Затем вбегает В. Н., взволнованная, запыхавшаяся. И. А., со страшным шумом раздеваясь наверху:

— Капитан! Ко мне! Галя! Растирайте ее… Растирайте… Возьмите одеколону… Ноги до колен мокрые… Растирайте скорее! Да где она? Еще внизу? Вера! Вера!

Поднимается невыразимая суета и беготня. В. Н. со смехом рассказывает, что на дворе „мистический ливень“, что перейти через дорогу невозможно, что они бежали, как сумасшедшие… Я стаскиваю с нее мокрые чулки, растираю ноги. И. А. все кричит и бушует у себя. Рощин растирает его. В конце выясняется, что он так волнуется оттого, что считает, что простуда реже поражает людей в нервном приподнятом состоянии.

— В мои годы воспаление легких — это смерть…

Мы спускаемся и едим картофель, сгоревший почти в уголь, пока мы были наверху. Во время обеда выпивается значительное количество коньяку, к чему пристревает и Капитан: „Я тоже промочил ноги…“

Вечером в кабинете И. А. с величайшим вкусом читает Мопассана, сидя в своей великолепной красной пижаме от „Олд Ингланд“. В. Н. слушает, уже лежа в постели. Дождь продолжается. Мы дружно смеемся. Капитан в наброшенном на плечи пальто, без воротничка, сидя у печки, напоминает человека из ночлежки.

В двенадцатом часу дом затихает.

13 декабря 1928 г.

Пришла почта. Вышел альманах „Русская земля“. На первой странице — стихи И. А. Он сморщился: „Как же это без разрешения!..“ Я унесла альманах к себе. Статьи о Пушкине, Ломоносове, Гоголе, Римском-Корсакове, рассказы и воспоминания Куприна, Шмелева, Осоргина…

Русская литература… Сейчас первое место в ней занимает И. А. Как будут писать о нем 50–100 лет спустя, как будут воображать его себе? Странно думать об этом, потому что воображаемое и действительное — при самых идеальных соотношениях — все же разные вещи.

22 декабря 1928 г.

Утром писала стихи. Потом пришла почта и, как всегда, по большей части расстроила. Илюша написал И. А., что они задумали издавать художественные биографии, как это теперь в моде. И вот Алданов взял Александра II-го, Зайцев Тургенева, Ходасевич — Пушкина. И. А. предлагают Толстого или Мопассана. После завтрака В. Н. поехала в Канны за покупками, а мы с И. А. пошли гулять по дороге в горы……И. А. размышлял, что бы ему писать, критиковал писателей, взявшихся за темы, в сущности, мало им близкие, потому что мало ведь знать факты, надо перевоплотиться в того, кого будешь писать. Особенно волновал его Пушкин.

— Это я должен был бы написать „роман“ о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение… Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет… Но ведь этим надо жить, родиться в этом!

Потом вдруг вспомнил о Лермонтове: „Вот! Это и недлинно, 27 лет всего… Надо согласиться!“

13 января 1929 г.

Новогодний, бесконечно печальный вечер. И. А. раздражителен, мрачен, все его сердит — значит, опять прежнее недомогание, которое вот уже месяц, как вернулось к нему, после двухлетнего перерыва. Не помогли ни курица, ни шампанское. Все кажется ему неприятным, безвыходным, сложным.

Жаль его ужасно и трудно иногда сдерживаться — характер у него от этого резко меняется, и это так странно и дико мне, знавшей его таким добрым, сияющим, неутомимым.

2 мая 1929 г.

Читала ему вслух письма Рильке „К молодому поэту“. Читая, волновалась ужасно, т. к. нашла в них много важного, точно отвечающего на столь беспокоящие меня сомнения. И. А все говорил мне:

— А сколько раз я это говорил? Веришь Рильке, потому что он далеко, а я близко… потому что меня видят в подштанниках, потому что говорю иной раз, как все, чепуху, а ума нет, чтобы это разделять!

30 декабря 1929 г.

После завтрака полезли с З. рвать оливки. Он влез на то дерево, что над крышей водоема, и за руку втащил силой за собой

меня. Был ужасный крик изо всех окон. Камий бросилась к И. А., а Капитан к В. Н. — каждый с извещением, что „он убьет и себя и ее“! И. А. вышел в ярости и заставил меня слезть.

Когда З. тащил меня — за одну руку! — вверх, то говорил: „Я хочу, чтобы вы были писателем, а не барышней!“

И. А. потом бранился со мной.

7 января 1930 г.

Вчера всем домом ездили встречать сочельник к Кугушевым. И. А. сначала не хотел ехать, но потом все обошлось и было даже очень приятно. Была индейка с каштанами и сколько угодно самой разнообразной водки.

Потом Ася Кугушева играла, а мы танцевали. Танцевал даже И. А., и замечательно. Отвезли нас на автомобиле…

8 января 1930 г.

Хотя внешне я и весела, втайне мне нехорошо. В. Н. вчера сидела со мной в темноте, при горящей печке, и говорила, что очень рада, что у нас живет З., что он внес в дом оживленье, молодость и влияет на меня в этом смысле, а то я чересчур поддаюсь влиянию И. А., живу вредно для себя, не по летам.

12 января 1930 г.

Все эти дни грустна, потому что в доме нехорошо. У И. А. болит висок, и он на всех и на все сердится. Впрочем, и без этого он раздражается на наши голоса, разговоры, смех.

27 января 1930 г.

Очень хороша, кротка все последнее время В. Н. Она и правда как бы с чего-то сдвинулась, стала терпеливее, терпимее, как-то „выше“ смотреть на вещи, и исчезло то неприятное, что было в ней так долго. Я иногда чувствую к ней настоящую серьезную нежность, хотя избегаю по-прежнему ее показывать.

13 марта 1930 г.

…Встретили с И. А. как-то днем на улице Куприна. Он в летнем пальтишке, весело жмется.

— Зайдем в кабачок, выпьем белого винца по стаканчику…

Несмотря на то что мы были с базарной кошелкой, полной бутылок, зашли. Он все знает. Повел к „каменщикам“. Даже собака его там знает… Был суетлив, весел. Все напоминал И. А. их молодые годы, знакомство…

Он очень мил, хотя только к себе, к своим ощущениям внимателен и все говорит мимо собеседника.

Вышли на снег. Сразу облепило. Он в тонком пальтишке.

— Да вы промокнете, простудитесь после грога!

— А я воротник подниму…

Ласково — грустно почему-то с ним рядом. Как будто все уже в нем кончено.

4 мая 1930 г.

…Вечером был пьяный Куприн, еле вывели с помощью вызванной по телефону жены. Говорил обо мне: „Она славная девчонка!“ и тянулся целоваться, а Апданову, сидевшему тут же, кричал: „Ты, мальчик!“

4 июня 1930 г.

И. А. читает дневники Блока, как обычно, внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке — человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. „Нет, он был не чета другим. Он многое понимал… Начало в нем было здоровое…“

17 июня 1930 г.

Вчера ездили в Канны… На обратном пути в автобусе он говорил, что „выдумал для меня весь мой роман“. Что писать его надо несвязанными кусками, назвав каждый кусок отдельно, и что нужно это для того, чтобы было легче отношение к этим кускам, так как, по его мнению, меня „губит серьезность“. „Надо относиться к своему писанию полегкомысленней“, — часто повторяет он мне последнее время…

…Книги И. А. не дают никакого дохода. За „Арсеньева“ он получил 1000 франков, т. е. меньше, чем Рощин за книгу рассказов, изданную в Белграде (1800). Денег нам хронически не хватает…

25 июня 1930 г.

…Говорили о писательском быте, жаловались на ссоры и раздоры между всеми. „А у нотариусов не то же ли самое?“ — говорил свое любимое И. А. „Нет, не то, Иван Алексеевич, — отвечал Алданов. — Ни у нотариусов, ни у почтовых чиновников, ни у офицеров, ни у обывателей. Это — привилегия писателей“.

3 августа 1930 г.

…И. А. ждал Рахманинова с дочерью (Таней), приехавших на несколько дней в Канны.

Сели, заговорили. У Тани оказался с собой американский аппарат, маленький синема, который она наводила поочередно на всех нас. Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим…

Во время обеда я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи, — сравнивая также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше и черты лица правильнее.

5 августа 1930 г.

Вчера обедали на песке под лодкой с Алдановым и

Рахманиновыми. Был настоящий песчаный смерч, так что нам ничего не оставалось, как забраться в это сравнительно тихое место и расположиться там. „Босяцкий обед“, по выражению И. А., вышел оригинальным.

10 сентября 1930 г.

Вечером сидим в кабинете у И. А.

— Бывает с вами, И. А., — говорю я, — чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражанья. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищения ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н.

— В вас есть какая-то неподвижность, — сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-ни-будь собачий хвост, бьющий по стулу…

И он показал рукой как, так талантливо, что мы все дружно рассмеялись.

23 октября 1930 г.

День рожденья И. А. Шестьдесят лет. Совсем обыкновенный день, ни поздравлений, ни писем, даже меню обыкновенное.

В. Н. говорит, что в прежние годы он „с ума сходил перед днями своего рождения, часто уезжал куда-нибудь накануне, то в Петербург, то в Ефремов“. На этот раз очень тих, очень сердечен был вчера вечером и сегодня все утро…

11 марта 1931 г.

К Фондаминским приехали гостить Степуны, и вчера он был у нас вечером с Илюшей. Два часа они разговаривали с И. А., сидя друг против друга, и сегодня у меня такое впечатление, точно вчера у нас на вилле Бельведер в кабинете И. А. был некий словесный балет…

16 марта 1931 г.

Вчера Степун опять весь вечер блистал. Они с И. А. точно фехтовали. Почти во всем они несогласны. Записать этот разговор, к сожалению, невозможно. Слишком это перебеганье, порханье, сложное переплетение. Это были как бы широкие арпеджии по всей литературно-философской клавиатуре…

19 марта 1931 г.

Позавчера вечером пришли Брежневы с незнакомым господином и дамой „ясноликой и хорошо одетой“, как рассказывал о ней И. А., и попросили свести их к Фондаминским.

И. А., который как раз собирался туда, поехал с ними на автомобиле. Вернулся часу в одиннадцатом, несколько взволнованный. Оказалось, что эти господин и дама прямо из Ленинграда. Он голландец, она, его жена — сестра Германовой. Рассказали о России в таком духе:

Он (с акцентом). О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим город на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный и как все приготовлено! Как доски распилены! (и т. д., и т. д.).

Говорили и о писателях. И. А. расспрашивал об Ал. Толстом, они рассказали, что он отлично живет, у него своя дача, прекрасная обстановка, что он жалеет здешних.

— А мы их жалеем, — сказал И. А.

Вообще разговор был грустный. И. А. пришел какой-то потрясенный. Мы все разволновались. „У нас в Ленинграде“, — в первый раз за много лет мы это услышали.

1 апреля 1933 г.

Ходили с Ильей Ис. и разговаривали… О нашем доме он, между прочим, сказал: „Сказать откровенно — я не люблю, когда вы бываете у нас вчетвером. Так и чувствуется, что все вы связаны какой-то ниткой, что все у вас уже переговорено, что вы страшно устали друг от друга…“

6 ноября 1933 г.

Дело к назначению премии приближается. Газеты по утрам начинают становиться жуткими. Французской утренней газеты ждем теперь с трепетом. Развертывает ее первый И. А. Воображаю себе его волнение. Уж скорей бы упал этот удар! В прошлом году это было сделано раньше, чем ожидали.

Днем неосторожная (и может быть, неуместная) предпоздравительная телеграмма из Берлина, взволновавшая весь дом. Вечером говорили о ней на прогулке. И. А. держится в этом положении, как он сам сказал, естественно. Излишней нервности нет… Но, конечно, все-таки беспокойно, особенно после внезапного упорного появления в печати имени Мережковского.

И все-таки он и сегодня весь день писал».

В синема надо было ехать на автобусе. На остановках, в будочках продают билеты на каждый рейс. Не успеешь — жди следующего рейса. Легко вообразить себе в такой небольшой очереди высокого господина в белом, благородного вида, с тростью, в канотье, и с ним невысокую миловидную дамочку в летнем платье и шляпке. Они общаются непринужденно, смеются, шутят, берут друг друга за руки. Она ловит каждое его слово, —

между ними витает амур, ясно, хотя разница в возрасте, видимо, немалая, — впрочем, это могло бы смутить людей в какой угодно стране, — но не здесь же!.. Он галантно подсаживает свою даму в подкативший автобус. Словно школьники, они спешат занять место позади, у заднего смотрового стекла, чтобы глазеть на улицу.

Выходят у синема «Олимпии». Там нынче какой-то американский вестерн. А героиня — Киса Куприна, дочка Александра Ивановича.

Неужели столь благородному господину с его дамой может нравиться подобное? Как ни странно, да, он по-мальчишески бурно реагирует на лошадей, погоню, пальбу, индейцев. В темноте они держатся за руки и иногда целуются.

И вот так однажды, в этой киношке их нашел Зуров. Человек с фонариком сопровождал его.

— Да, здесь. Это они. Мерси, мсье… Иван Алексеевич, извините, это я… Вера Николаевна послала. Она волнуется, не знает, что говорить… Там звонили из Стокгольма, из Парижа. Чего ей говорить-то?.. Может, сами пойдете?..

— Из Стокгольма?…Ну, ради такого дела надо пойти. А, Галя? Пойдем?

— Да уж ради такого пойдем…

Есть фотография: шведский король в 1933 году вручает Ивану Алексеевичу Бунину Нобелевскую премию. Среди черных смокингов, роскошных платьев, академиков, членов королевской семьи — выделяется простовато — круглое личико Гали Кузнецовой, жены шофера Петрова.

Вера Николаевна Муромцева тоже там, — как он мог ее не взять?..

А как Галину мог не взять?

Так сильно любил ее, что ли?..

Потом она принесла ему немало мук, настоящих страданий. Она больше не расставалась с Маргой Степун, близкой подругой.

Марга носила мужские костюмы и шляпы, сплетничала об актерах и театре, была из самой гущи парижской актерской богемы. Чопорный и старомодный Иван Алексеевич не сразу мог и сообразить, что она лесбиянка. А уж, узнав, был убит, разумеется: не в силах был понять своих чувств, ревности, брезгливости, обиды. Случалось, нарочно наблюдал за ними, следил, где Галя, — мука, конечно, была адова. Галина вела себя поначалу невинно и скрытно, потом и скрывать было нельзя. Она уходила, возвращалась, жила опять у Буниных, даже с Маргой…

Вот строки из его позднего дневника, уже 42-го года, — война, он уже перенес удар, болел, голодал, жизнь шла на убыль.

«**31.3.41**. Марга и Г. завтра переезжают в Cannes — „на два месяца“, говорят. Думаю, что навсегда. Дико, противоестественно наше сожительство…»

И другая запись:

«**1.4.42**. Среда…В 11–45 ушла с мелкими вещами Г. Возле лавабо остановилась, положила их, согнувшись, на земле. Тут я отошел от окна. Конец. Почти 16 лет тому назад узнал ее. До чего была не похожа на теперешнюю! Против воли на душе спокойно и тяжело, грустно. Как молод был и я тогда».

Она уехала с ней в Германию, покинув Бунина, потом в Америку.

Она любила и потому делала, что хотела.

Трудно сказать, научил ли он ее писать, но этому научил.

НОБЕЛЕВСКАЯ

Великая требовательность к себе, посвящение всей жизни своему делу, максимализм — мне нужен только шедевр! — подлинное рыцарство в литературе, верность себе и своему пути, как и невзгоды, сомнения, смятения, ошибки, подчинение быта своего и близких лишь одному своему делу, испытание глупой и злой критикой, лишения, болезни — всё когда-то окупается у русского писателя. Его долгой посмертной славой, миллионами его читателей, в которых остается при чтении часть его души, его ума, им созданного нового мира.

Когда-то награждает Бог русского писателя и своим звездным часом, мигом ослепительного признания и фейерверка славы. Он не ждет, «не требует наград за подвиг благородный». Награда сама однажды находит его.

«Решением Шведской академии от 8 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе за этот год присуждается Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер».

Бунин: «Весь вечер „Бельведер“ полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов… Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами…

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвращаться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Book, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время…

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным…»

Бунин, конечно, не мог знать, что официальная, правительственная Россия делала все, чтобы помешать ему получить премию. Есть документы МИДа СССР, донесения посла СССР в Швеции Александры Коллонтай и разведчиков НКВД на этот счет[6].

Пришла пора праздника. Еще в Грассе начались бесконечные телефоны, телеграммы, репортеры, вспышки магния, букеты,

поцелуи, объятия, — и потом так до бесконечности: поезд до Парижа, первые бокалы в вагоне-ресторане, и — бокалы, бокалы, бокалы; в Париже на Лионском вокзале уже встречала толпа, французы, русские, русские, друзья, знакомые, незнакомые. Ура, Бунин! Виват, Бунин! Бунин! — и кто-то свой: — Иван Лексеич! Бунин!.. Бунин! Бунин!..

В такие минуты, подобных которым почти и не бывало в жизни, «скорпионская» часть его души инстинктивно пугалась, сжималась, он мелочно все продолжал думать о полагающемся лауреату миллионе, — вот до чего затерзали проклятое безденежье и долгая бедность! — и лишь во время самой церемонии, когда высокий и тощий шведский король Густав V, среди роскошного общества, под звуки медных фанфар вручал ему медаль, диплом и портфель с вложенным туда чеком, Бунин вспомнил и подумал об отце и брате Юлии, — вот они бы увидели, посмотрели! Или мать, которая всегда выделяла его из других детей, говорила, что он у нее особенный.

Церемония не обошлась без нелепости. Андрей Цвибак (Седых), бывший в те дни возле Бунина вроде бы в качестве секретаря и репортера, выронил нобелевскую медаль, которую передал ему подержать Бунин, и медаль покатилась по полу: среди ног присутствующих, лаковых башмаков Цвибак ползал, ловил ее. Затем он оставил на каком-то кресле портфель, где лежал чек на получение премии. Даже испугал Бунина, но, слава Богу, портфель нашелся, — все же вокруг была публика королевского двора, королевские гости.

Но прежде были еще некоторые приятные вещи. Из Парижа в Стокгольм ехали в «Голубом экспрессе», международном вагоне (сам лауреат, Вера Николаевна, Галя Кузнецова и Цвибак).

Цвибак в своих воспоминаниях этот момент отметил так: «За зеркальным окном ночь, мрак, огни далеких, убегающих куда-то городов. Радует глаз белоснежное постельное белье, красное полированное и слегка потрескивающее на ходу дерево купе и та особенная ловкость, с которой прилажена каждая вещь в международном вагоне. Ничего на свете Бунин не любил так, как дорогу, эти спальные вагоны, мерный, укачивающий бег поезда вдаль. В ту ночь он почти не спал: все время выходил на площадку, курил, всматривался в темноту ночи, в заснеженные поля, в темные сосны, мелькавшие вдоль полотна…»

А вот из «Дневника» Кузнецовой: «Вечером после обеда в вагоне-ресторане стояла в коридоре и смотрела в окно. Ночь, незнакомая страна, уже Бельгия, лунная ночь, блеск реки под какими-то остроконечными черными сопками. Вагон швыряло, я стояла, смотрела, все думала… Кажется, впервые за этот месяц на

несколько минут осталась одна. Все еще не понимала до конца, что заколдованный круг нашей жизни распался, что мы уехали из Грасса и едем в Швецию, в которой никогда не предполагали быть… Ночь. Не сплю. Стояла в коридоре с И. А., смотрела в окно. Наш вагон стал теперь последним. Белизна снега, пути, высокие мрачные деревья. Потом — огни, заводы, вышки, и все это живет странной, зловещей жизнью, что-то пылает, что-то как будто льют. Германия работает даже ночью. Около часу ночи переехали германскую границу. Трое немцев осматривали, смотрели, какие у нас газеты, но узнав, что И. А. — Nobelirostrategers, поклонились и ушли. И. А. потребовал у проводника бутылку рислинга, пили у него в купе, он был весел, говорил, что так всегда путешествовал прежде».

В Стокгольме тоже встречала толпа, было немало русских, поднесли даже хлеб-соль на серебряном блюде с расшитым полотенцем. Потом начались обеды, визиты, роскошная гостиница, завтрак у дочери Нобеля, прогулки по Стокгольму. Газеты с портретами, плакаты, опять фотографы и журналисты. Слава. «Совершенный успех тенора», — не удержался усмехнуться на себя самого Бунин.

Самое приятное, чем сразу понравилась Швеция, был снег. Еще ночью, в окне вагона все тянулись тяжелые хвойные чащи, и повсюду — белый, светящийся во тьме покров. Бунин — уже утром, в отведенных ему апартаментах — трехкомнатном номере с ванной в доме Нобелей, стоял в фонаре эркера, думал об этом снеге. Хотелось поскорее выбраться куда-нибудь на волю, побродить по этому снегу, вдохнуть его свежесть, полузабытый запах, слепить в руке снежок. Под окнами серо темнела вода канала с льдинами, похожими на плывущий по воде воск, которым капают в гаданье. На той стороне гигантски торчала гора королевского дворца. В голове мешалось все сразу: это желание пробежаться по снегу, последние часы путешествия, переезд на пароме, куда загнали, приковали цепями и так везли до Стокгольма их поезд. Бурная встреча на вокзале, опять с аппаратами кино, вспышками магния, журналистами, русскими голосами, хлебом-солью, цветами, поцелуями, объятиями. Снегом, каналами, дворцами, шпилями — все отдавало Петербургом, севером, Россией. Перебиралась в голове программа дня, опять путешествие и встречи; затем мысль забегала вперед, воображая еще предстоящую впереди церемонию, получение денег. Складывались отрывочно фразы из той речи, которую хотел бы он им — всему миру сказать, — не забыть, что изгнанник, что все равно русский, Россию представляю, хоть и без флага, гимна и посольства… Спасибо за вашу любовь к свободе, к

искусству, подлинной литературе… Что-то еще надо будет, не забыть. Как все получится перед всеми по-французски?..

Пока он стоял в размышлениях у студеного окна, по комнатам шло мелькание женщин, сборы, уже одеванье куда-то, Цвибак громко с кем-то переговаривался в телефон. В комнате прекрасная мебель, красное дерево, со стен глядели из золотых рам портреты в пудреных париках, хорошие картины. Неотвязно болталась еще со вчерашнего привязавшаяся строка: «…швед, русский, — колет, рубит, режет»; и здесь, и сюда провожал его Пушкин… «Бой барабанный, крики, скрежет»…

Как бы все же вырваться куда-нибудь за город, в лес, побродить по снегу? Уж очень родным пахнет… выпить в каком-нибудь шведском погребке горячего грогу…

Нет, Цвибак, отлепившись от телефона, с бумажкой исчерканной, подходит, как всамделишный секретарь, с докладом: — В 11 утра — визит в академию. В час дня — завтрак у чехословацкого посланника. В 4.30 — во французском посольстве. В 10 — ужин святой Лютеции, который устраивает в вашу честь редакция «Стокгольм Тингенден». Нет, похоже, не выйдет побродить по снежку. Слава, выходит, большая кабала, сам собою уже не распорядишься. Но щекочет, щекочет, так и бежит приятный нерв удовольствия по всему позвоночнику.

— Одеваться, что ли, пора?..

— Пожалуй, Иван Алексеевич, у них насчет этикета строго…

— Конечно, королевство, чай. А дамы-то наши готовы? — И озорно кричит: — Эгей! Мадамы! Бой барабанный! Крики, скрежет!..

— Швед, русский, — колет, рубит, режет! — отзывается догадливая Галина, уже с убранной в локоны головой, в платье.

Надо и ему одеваться. Громада королевского дворца в окне следит, словно страж с алебардой, так ли он все исполняет, как следует.

В дверь стучат, — будто уже карета подана. Нет, это несут почту. Цвибак принимает в обе руки груду газет и писем. Вот это слава, вот это шторм!.. Он знал, что когда-то все это будет. Но все же — одно дело мечты, другое — наглядность.

— Ладно, оставьте, с этим потом разберемся.

— Когда же, Иван Алексеевич? Здесь наверняка еще приглашения.

В газетах повторялась некая мало удачная фотография: расплывшееся бледное пятно, почти не узнать и вообще не угадать лица. Другие фотографии глядели из витрин магазинов, с экранов кинематографа. На улице стали узнавать его и оглядываться. Нет, право, гастроли тенора, опера.

С Мартой Людвиговной Нобель он сидел, рассматривая семейный альбом Нобелей. Начесанная, накрашенная, богато унизанная камнями дама была напрочь глухая. На чае в русской колонии собралось человек 150. Вопросы, восторги, даже пели. На вечере святой Лютеции — опять громадный зал, гигантские столы, море публики. Едва Бунин вошел, все поднялись, плеща в ладоши, сияя ему лицами, лысинами, голыми женскими плечами. Он двинулся по проходу с изящным полупоклоном — овация провожала его до самого места. Он воздел руки, уже в смятении, — навстречу вышла белокурая красавица с короной из семи свечей, горящих на голове, святая Лютеция. Память репортерски фиксировала детали: ему уже хотелось сочинить обо всем этом рассказ, — можно назвать «Снег», — как некий гастролирующий артист или подобный лауреат никак не может добраться до полянки, до пятачка живого снега, через эдакую блестящую, полную великолепия и пустоты кутерьму. Все — ему, все — для него. Рождественские базары с елками даже открыли, будто тоже в его честь, а ему хочется только снегу в ладони набрать, пожевать пушистый холод.

Он даже на самой церемонии вручения стал приглядываться к членам академии, к трем другим лауреатам, химику, физику, — кого бы из них можно выбрать в такие герои, в такой персонаж. Нет, не годились. Он один был такой, только про себя, самому можно было написать такой «Снег».

На банкете, который давал в честь лауреатов Нобелевский комитет, красиво-торжественный, сжато-взволнованный, необычайно обаятельно-корректный Бунин собрал воедино все слова, которые так незаметно-внимательно заготовил. Он не смутился поставленным перед ним микрофоном, он тщательно выговаривал всю речь по-французски. Он сам зафиксировал весь текст речи.

Он говорил: «…Я был бы неискренен, если бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление в моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, — совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение.

Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времен учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции».

Даже не очень похоже на Бунина: расточать столь много и долго медоточивых комплиментов, говорить о себе, своих ощущениях при сонмище чужих людей. Это выдает все же степень его волнения и истинной благодарности. Что ж, в самом деле, как дитя, впервые в жизни чья-то добрая рука приласкала его, погладила по голове. Стоит вспомнить: Бунин получал свою премию последним среди такого списка всемирно известных писателей: 1920 г. — Кнут Гамсун, 1921 г. — Анатоль Франс, 1925 г. — Бернард Шоу, 1929 г. — Томас Манн, 1930 г. — Синклер Льюис, 1932 г. — Джон Голсуорси.

За каждым из великанов была своя страна, своя нация, столица, друг-читатель. Наш Князь стоял один перед всем обществом, перед всем светом — один, лишь собою выражая и являя свою родину, свой народ, добывая для всех одну славу.

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»

В 1930 году «Жизнь Арсеньева» уже вышла отдельным изданием.

«…Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля.

Я просыпаюсь внезапно. Я только что думал или видел во сне о том, как во время прощания после панихиды (великого князя Николая Николаевича. — М. Р.) последней из числа близких ему прощалась худенькая, высокая девушка вся в черном, с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно-любовно, на минуту закрыв легким концом ее край саркофага и старчески-детское плечо в черкеске… Стремительно несется мистраль, ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно рвутся куда-то… Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом, над головой разверзается черновороненое, в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед…

Я кладу на себя медленное крестное знамение, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной» («Жизнь Арсеньева», XXII гл. IV кн.).

Можно сказать, что «Жизнь Арсеньева» поставила точку в спорах о Нобелевской. Такой человеческой книги не было тогда во всей Европе. Русскому писателю положено судьбой свершать свое открытие в литературе. Единственное в своем роде, ни на кого не похожее. Бунин взял всю человеческую жизнь в пространстве своей книги, рассказал об одной жизни все, со всею полнотой правды. Так он хотел, так замышлял, так отвечала книга всем его собственным идеалам о подлинной литературе, так хотелось ему исполнить ее, безукоризненно со всею возможной высотой качества. Как шутил кто-то из английских писателей: когда я хотел прочитать хорошую книгу, я писал ее сам. У Бунина получилось то же самое. Более того, он сказал здесь все, что хотел.

Насчет романа хорошо написал Бунину Фондаминский: «… Думаю, что Ваш роман — событие в истории русской литературы. С точки зрения современного читателя, однако, в нем есть недостатки: отсутствие занимательности, недостаток событий, некоторая риторичность. В этом Вас, может быть, будут упрекать. Впрочем, Вы предпочли писать для вечности, и я вас понимаю…»

Тем не менее он недоволен собой: и книга не отпустила, и влекут уже другие замыслы.

Запись в дневнике Веры Николаевны: «24 дек. 32 г…После обеда взволнован Ян:

— Я на грани душевной болезни. Сжег сегодня 17 страниц „Жизни Арсеньева“. Я устал. Нужно бы проехаться, а денег нет.

— Поезжай, а там устроимся.

— Я поехал бы в Авиньон и написал бы о Лауре и Петрарке… Но денег нет! Будущее меня страшит. Душа изболелась. Как будем жить?..»

Нашлись деньги или нет, поехал ли он в Авиньон в этот раз, мы не знаем, — вероятно, ему просто хватило воображения, но рассказ о Петрарке и Лауре, полный любовной грусти и печали, существует — «Прекраснейшая солнца» — и словно предваряет великую книгу «Темные аллеи», — подходит ей, может, вообще был ей зачином! «Пишут, что в молодости он был силен, ловок… уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделала его имя бессмертным. Но жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений и на созидание всех благих его движений… Двадцать один год он славил земной образ Лауры; еще четверть века — ее образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года: и то все на людях и всегда облаченную в высшую строгость».

В письме старинному другу, писателю Телешову, Бунин написал, — уже в 1941 году: «…Мы сидим в Grass'e (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередуя его с Парижем), теперь сидим очень плохо. Был я „богат“ — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был „знаменит на весь мир“ — теперь никому в мире не нужен, — не до меня миру!.. В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать?

…Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой!»

Еще через год Бунин писал Андрею Седых в Америку, чуть не слезно прося найти издателя, соглашаясь заранее на любые условия. Книга тогда, в 1943-м, с трудом вышла на русском, а на английском — только в 1947 году, принеся автору всего 300 долларов гонорара.

Андрей Седых вспоминает встречу с Буниным перед своим отъездом в США: «Бунин говорил: „Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом… Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой, — деньги Нобелевской премии давно уже прожиты… Один вот приехал к нам погостить денька на два… Было это три года тому назад, с тех пор и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей. Не могу же я его выставить?..“»

22 июня 1941 года немцы арестовали в Каннах и Ницце всех русских. Бунина не тронули: старик. Потом, в годы войны, без конца шли обыски и облавы, — таким образом и музыкант А. Либерман с женой был укрыт у себя Буниным. Жил там долго и

Бахрах, бежавший от немцев из Парижа.

Бахрах в своих воспоминаниях и рассказывает, как писались «Темные аллеи»: «Он писал свою книгу запоем, словно все время торопился, боялся не поспеть, боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали недели, когда он с утра буквально до позднего вечера запирался (неизменно на ключ!) в своей большой комнате».

Осенью 1945 года Посол СССР во Франции А. Богомолов пригласил писателя к себе в посольство на завтрак. Речь шла о предложении вернуться на родину. Посол спросил, как относится Бунин к Советскому Союзу, не переменился ли и не хочет ли вернуться?.. Бунин отвечал, что горд за победу СССР над Гитлером (возможно, это имела в виду Берберова, говоря, что он пил за Сталина!), но, в принципе, он должен подумать, изучить проблему: как сможет он жить в СССР, которого не знает, куда и как ему возвращаться, к кому?

Как забыть, не помнить, не любить землю, которую, бывало, пешком исходил?..

«…Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени…

…Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела…» («Святые горы», 1895).

Не однажды явственно представлял: поезд, дорогу, через Киев, Курск. А дальше что? Кто остался? Кем и с кем ему быть? Родных нет. Чехова давно нет, Толстого нет. Андреева. Даже Горького, главы красных писателей. И какое его будет место среди этого Союза писателей? Кто его знает, кто читает? Есть ли вообще там его книги? Похоже, что нет.

Между тем стал он много болеть, мучила эмфизема легких, из-за кровотечений был очень низок гемоглобин. В 1947 году пишет Седых в письме: «…Я только последние дни с трудом добираюсь с постели до письменного стола на несколько минут (написать две-три записочки): ровно два месяца пролежал в гриппе со страшным кашлем, от которого не спал (и еще не сплю по ночам), и с потерей крови беспрерывно, следствием которой

сделалось то, что доктора сказали: положение И. А. не безнадежно, но очень серьезно… Доктора, лекарства, питание (кило печенки стоит у нас теперь 600 франков!) разорили меня вдребезги».

Книга «Темные аллеи» особенно похожа на книгу стихов. Стихотворений и малых поэм, баллад. Тридцать восемь стихотворений, — и размер, самый хороший для сборника. И тематическое содержание, единство идеально соблюдено: любовь и смерть — только об этом.

Таинственны, необычайно новы все подряд рассказы, все одинаково наполнены печалью воспоминаний, глубокой тоскою обо всем, о чем здесь говорится, — каждом женском образе, каждой истории, рассказанной с полной искренностью и беспримерной, жарко-плотской откровенностью.

Встречи, расставания, порывы; всегда сложные, а то и запутанные отношения, тоска, ревность, открытое вожделение, безумие, страсть, измена, мучение.

«Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук и он сказал уму: прощай!

— Как это сердце ушло из рук?

— Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.

— Знаю. Но что значит сердце ушло из рук?

— А это значит, что человек влюбился. Вот как я в вас» («Кума»).

Любовь поражает всех: маленького гимназиста, едущего в одном купе с женщиной, которая вольно легла отдохнуть на дорожный диван, и мальчик по-мужски вожделенно разглядывает ее, словно дышит ею, теряя ум от ее совсем бытовой, домашней красоты, и уходит в полном помрачении («Начало»); молоденькую Галю Ганскую, смело отдавшую себя безумному своему чувству («Галя Ганская»); горничную Таню и ее Петрушу, так случайно заехавшего к родственнице, помещице Казаковой, где Таня служила, — какая прекрасная соединила их, столь несхожих, любовь, — счастливая, — кажется, мгновенная и мимолетная, а на самом деле самая серьезная, и озарившая, и сломавшая обоим жизнь («Таня» — один из самых лучших рассказов!); и студента Мещерского, влюбившегося — тоже нечаянно — в подругу кузины Сони Натали, — как смело, подробно, с какой правдой пишет Бунин этот одновременный роман между ним, Соней и Натали, и сколь чудный, неповторимо прекрасный образ эта Натали, с ее долгой, прошедшей столь мучительные дороги, сквозь всю жизнь любовью к этому вертопраху Мещерскому. «Это совершенно точно, — сказал я, бледнея, но крепнущим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. — Ведь все на свете проходит. Что до

моей страшной вины перед ними, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью».

Поразителен финал этого рассказа: последняя их встреча, будто случайная, их ужин, его желание ночевать в саду, в ротонде, ее нежданный приход к нему, — как все же она любила! — «Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили, — она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку…» Любовь! Любовь! Оказывается, пройдя через все, через жизнь, они любят друг друга. Но Натали говорит: «И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко — разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?..»

И далее — одна из страшных бунинских фраз, которыми он кончает свои рассказы: «В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах».

Смерть!..

Вот они, неразлучные подруги «Темных аллей» — смерть и любовь.

Берешь один только рассказ, — и видишь в нем сразу, в невеликом его объеме всего Бунина: его самого (как героя рассказа), любимую им Москву, вокзал, гостиницу, поезд, поездку, всю ее протяженность и каждую мелочь, и, главное, сразу три женских образа, каждый в особь, изображенный, кажется, самыми скупыми, без всего лишнего средствами, но — точно, выпукло, картинно, безупречно. Даже не три, а больше, — если присоединить сюда еще кратко рассказанную героем цыганку.

Беру на себя смелость, читатель (и даже некоторое нахальство — пусть критики смеются надо мной!), представить рассказ полностью (не бежать же сей миг за книгой).

Конечно, рассказ этот называется «Генрих».

Генрих

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу — заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело

и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

— Отвезешь меня на Брестский.

— Слушаю-с, — ответил Касаткин. — За границу, значит, отправляетесь.

— За границу.

Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

— Охота пуще неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх, — вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет… в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ… а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча… остановишься где-нибудь в пути — кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку… Потом ночь, Италия… Утром по дороге вдоль моря к Ницце то пролеты в грохочущей и дымящейся темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике… И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно — жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли…

Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и

нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

— Едешь?

— Еду, Надюша…

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

— Знаешь, я, слава Богу, ночью заболела… Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?

— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой…

— А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь, отдала!

— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно…

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

— Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:

— Нет, нет, я не буду… Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

— Ты у меня умница, — сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем — чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. — Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

— Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

— На минутку… Нынче еще можно…

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

— Все-таки уезжаешь, негодяй, — безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком. — Погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.

— Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли, — как тебе не грех

думать Бог знает что.

— Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это Бог знает что, я тебя серной кислотой оболью.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнущий каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

— Какой ты счастливый! — сказала Ли. — Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

— Нет, тут заперто, Ну, счастлив твой Бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок…

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изыскан-но-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

— Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

— Ну что, напрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

— Начинаешь ревновать, Генрих?

— Не начинаю, я продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

— Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу оставить такую! А потом, ведь переношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.

— Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.

— Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.

Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив нога на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками:

— Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.

— Товарищи… — сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. — Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

— А где ты был вчера вечером?

— Вечером? Дома.

— А с кем? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон — Степы, Груши, их роковые очи…

— А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?

— Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

— Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша…

— Ну, ну, опиши мне ее.

— Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша — плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот… это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь — как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими

башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, — просто несчастье! Но идем обедать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

— Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что Бог даст. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!

— И одна совсем лишняя…

Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один, — сидел в ресторане, курил, — она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетенную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талий у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.

— А Ли? — сказала она. — А Маша?

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:

— Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции — и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеком!» Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях… Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

— А у Ли, — спросила Генрих, — груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.

— Да.

— Она глупа?

— Нет… Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой… Но ты мне надоела с Ли.

— Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию…

— А почему не в Ниццу?

— Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное — поедем вместе!

— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто…» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто… И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке… Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, в какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов… Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы… словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел… А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах и красных шерстяных чулках…

— Ох, уж мне эти поэты! — сказала она с ласковым зевком. — И опять девки, девки… Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю…

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах

просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало — вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей — и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

— Генрих, что ты? — сказал он.

— Не знаю, милый, — ответила она тихо. — Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя… Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца… А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки…

— Да, да, и пронзительные цимбалы… Вот я и говорю: пошли австрияка к черту и поедем дальше.

— Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выяснили, как говорится, отношения — ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое… Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими…

— Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.

— Генрих, я не узнаю тебя.

— И я себя. Но иди, иди ко мне.

— Погоди…

— Нет, нет, сию минуту!

— Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?

— Нынче вечером, нынче же вечером!

Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по

ковру шпоры пограничников.

И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восставших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в законченную пасть туннеля. Потом — все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале — одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющий бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня — вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах…

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедал в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до

пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного. Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр — телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «Pas de lettres, monsieur, pas de telegrammes»[7]. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:

«Ну и черт с ней. Все понятно».

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике — ехать чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе… Портье радостно осклабился:

— Pas de telegrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думал все одно и то же:

«Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, — возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение — дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!»

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное

ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдали направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

— Pas de telegrammes, monsieur?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

— Pas de telegrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак, — упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три часа ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную… Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным — конечно, наигранным — взглядом кососклоненного из-под широкополой шляпы лица… Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем, — выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего… старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу — прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилиан-кой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины… запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад…

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянцем, над ним зло и

жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «Journaux etrangers!»[8] — крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния:

«Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане „Franzensring“ известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом „Генрих“».

10 ноября 1940

Читая жизнь свою, Бунин, по Пушкину, строк печальных не смывает. Столь драгоценно для него все прошедшее, все, что было, — не было, — могло быть, — а значит, было, было. «Возможно, у каждого из нас найдется особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, все-таки невольный».

Сколько истерзанного, трепетно-нежного, горького сердца вложено в эти рассказы. Какая обширная у них география — Россия, Москва, Одесса, Париж, снова и снова Россия: усадьбы, деревни, постоялые дворы, гостиницы, вагоны, вокзалы. Какая роскошь деталей, природы, полноты жизни, восторг жизни, счастье, и — выстрел, выстрел, — будто на охоте: по самому красивому, живому, трепещущему теплыми крыльями, учащенно мерцающему сердцу, сияющему и блещущему, — выстрел, выстрел, смерть, конец… Почему?., «…ибо крепка, как смерть, любовь: люта, как преисподняя, ревность: стрелы ее — стрелы огненные: она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением» («Песнь песней Соломона», 8).

Вся печаль и трагизм этих рассказов в целом оставляют у нас чувство ясной радости, праздничности и восторга, очищения — перед мощью и чувственной, полной, богатой всеми на свете переливами любви-жизни, плотской, ликующей, трагически-ошеломительной. Не только эстетическое удовольствие, не один катарсис трагедии, как после «Ромео и Джульетты», — нет,

именно плоть жизни в этих рассказах, суть жизни человеческой, образ России воспоминаний, печаль о том лучшем, что было когда-либо с каждым из нас, создает праздничность и свет, струящийся среди темных аллей печально-запутанных бунинских любовных историй. Как-то не вяжется, не ложится сюда — вообще к Бунину! — слово «гимн», но именно так следовало бы назвать эту книгу: гимном любви, жизни, победительной крепости и силе любви над силой смерти. Опьяняющий восторг правды, точности, — да, правда, пусть демон Смерти стоит наготове, караулит, швыряет свою секиру: если конец любви, если нет ее, то нечего и жить, незачем.

Рисуя жизнь во всей полноте, писатель словно вновь рождает прежнее, созидает в нетленности новую жизнь.

В «Грасском дневнике» Г. Кузнецовой есть такая запись:

«11 февраля. Вчера после завтрака осталась с И. А. в кабинете, и он рассказал свой сон. Он видел во сне Лику, выдуманную им, оживленную и ставшую постепенно существовать.

— Вот доказательство того, как относительно то, что существует и не существует! — говорил он. — Ведь я ее выдумал. Постепенно, постепенно она начинала все больше существовать, и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то былой кокетливости в одежде и испытал к ней все те же чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад, в юности, у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть, итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась… А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз…

Слушая его и глядя на него, я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом… все время живет где-то там… Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю, как назвать еще — словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром…»

Бунин всю жизнь играл козырными, а «Темные аллеи», если позволено такое преферансное сравнение, — словно еще козыри в прикупе, король и дама.

И все ведь придумано, сочинено, по его собственным признаниям, — вот они, русские сочинители, русская изящная словесность!

Надо непременно привести его хоть и известные, может быть, но очень важные строки из письма к Марку Алданову, одному из лучших друзей: «В молодости я очень огорчался слабости своей выдумывать темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький… А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться не по дням, а по часам, как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один Бог знает, откуда что бралось, когда я брался за перо, очень часто совсем еще не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самою, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю „необыкновенной памятью“, что я все пишу „с натуры“, то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел!»

Вот это и есть дар, талант сочинительства, создание того, чего еще не было, не бывало, а стекает лишь с пера писателя. Память только дает толчок, — «счищает кнутовищем грязь с сапогов», — остальное делает воображение, тот творческий аппарат, почти механизм, которым наделен от природы художник. Так строится свой, почти независимый от реального мир, свои герои, случаи, неожиданности, порою невероятные, почти фантастические. Так создаются необыкновенные бунинские героини, часто они даже отрываются от примитивной реальности, — с годами Бунин все более уходит от социальной характеристики, — кто именно была «она», «он», не в этом суть.

И тем не менее «Темные аллеи» — кроме всего, подобны дневнику, столь они личны, в каждом «приключении» виден автор, — или он так «входит» в героя со своей способностью, почти актерской, перевоплощения. В каждом герое видишь самого Бунина, его властный, мужской, покоряющий женщин темперамент, донжуанский, беспощадный, охотничий жар, его напор и страсть. Вспомним, все эти рассказы пишутся стариком, больным и как будто бессильным, и он сам себе и Фауст и Мефистофель, останавливающий, воскрешающий, воображающий прекрасные мгновенья. Любовь прекраснее всего в первой, начальной ее стадии, достигнутое оборачивается печальным, бытовым, тленным, — смерть настигает ее почти мгновенно, в самом расцвете, а при той концентрации жизни, которую удается создать Бунину, при том сжатии времени, чувств, мысли, которой он добивается, любовь, вместе с жизнью, доводится до

космической плотности «белого карлика», звездного вещества, входит в коллапс, во взрыв, в смерть. Конец любви, потеря ее — смерти подобны тоже.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Поскольку новой и главной работой этого времени уже была книга «Освобождение Толстого», Иван Алексеевич как бы испытывал некую неловкость перед памятью Льва Николаевича, не имевшего Нобелевской премии, может быть, чуть лукавил перед собою, но сравнивал, сопоставлял — не в свою пользу: вот, де, Толстой умел во всем оставаться Толстым, а мы, грешные, суетимся. Из полученных им семисот с чем-то тысяч франков 126 тысяч было сразу роздано нуждающимся. Бунин говорил, что получил две тысячи писем с просьбами о вспомоществовании.

Праздник был короток, а жизни впереди еще оставалось немало. Подкатила новая мировая война, жестокая битва России с Гитлером, — в войну Бунины вновь жили в Провансе, в том же Грассе, только уже на другой вилле — «Жаннет», там писал он о Толстом, книгу о Чехове, продолжал править рассказы по полному собранию сочинений Берлинского издательства «Петрополис». Опять он жил, чтобы писать. В голоде, холоде, больным продолжал свое рыцарское служение литературе. Был и оставался все таким же: погруженным в память о России, о русских характерах, природе. Не изобретал, не выдумывал никакого особо «русского пути» — писал, что знал и любил, оставался русским писателем.

Ох, трудно быть русским писателем!

Если главный бог русского писателя — правда, то другой, несомненно, — свобода. Никуда не уйти опять от пророчества Пушкина, который раз и навсегда сообщил для всех писателей одну программу: чувства добрые лирой пробуждать, в жестокий век восславлять свободу и милость к падшим призывать.

Например, в итальянском государстве Флоренция крепостное право отменили еще в XII веке, — сколь долгий путь пришлось пройти России во мраке своего рабства до освобождения несчастного народа от крепости. Первые и лучшие умы страны были столь же подневольны и унижаемы общим законом, как последний раб. Но дух свободы светился в каждой вольной душе, вольном уме.

Но ведь большей свободы, кажется, и не нужно бы человеку! Не происходит ли то и дело в истории, — да и прямо на наших глазах сегодня, — что дается рабу свобода, «вольная» по-старому

(тоже по-разному можно дать!), а раб, однако, остается рабом, либо не способным данную ему свободу осуществить, либо обратив ее лишь в свое «что хочу», попирая мигом тем самым свободу ближнего.

Кто-то из старших детей спросил меня недавно: — А какие же все-таки книги написал Иван Бунин?.. Пушкин — «Онегина», Лермонтов — «Героя», Гоголь — «Мертвые души», Толстой — «Войну и мир», «Анну Каренину», Достоевский — «Преступление», «Идиота», «Карамазовых», «Бесов», Некрасов — «Кому на Руси» и «Русских женщин», Герцен — «Былое и думы», Тургенев — «Дворянское гнездо», «Записки охотника» и прочее, Чехов — рассказы и пьесы, «Чайку», Горький — «Клима Самгина». Конечно, все помнят у Бунина «Солнечный удар», «Легкое дыхание», «Деревню», еще отдельные рассказы, а книги, какие же книги?..

Этот «детский вопрос» тянется хвостом за Буниным всю жизнь. Великий писатель, мастер, поэт, а какие все-таки главные книги?..

Надо ответить. Твердо и определенно. Книга стихов «Листопад», «Гайавата». Огромный роман «Жизнь Арсеньева» (почти век русской жизни, русского человека). Книга рассказов «Темные аллеи» и, конечно, книга «Освобождение Толстого» — огромный труд одного русского писателя о другом, художественно-философский труд, биография великого писателя и великого человека, книга о Человеке — кто он, что он? Откуда он и куда движется?.. Бунин замечательно написал еще большую книгу о любимом им Чехове — но это скорее лишь воспоминания, полные ярких и интересных эпизодов, встреч, чеховских высказываний, шуток и т. п. Книга о Толстом подлинно философский труд, не просто пересказ великой жизни и лепка столь знакомого, кажется, всем образа: Бунин исследует Толстого лично, пристрастно, как самого себя, — и находя, кстати, много сходства, несмотря на столь определенную разницу между ним и собою. Все, чем мучим был Бунин много лет, его мысли о жизни, о Боге, о смерти и бессмертии, стало содержанием «Освобождения», превратив ее в книгу особую, в трактат.

Бунин так любит Льва Николаевича, столь много думал о нем всю жизнь, читал, вчитывался, затем уже специально изучал, что вместе с философией рождается живая биография, весь Толстой. Весь, близкий Бунину; автору «Освобождения» интересны и фиксируются им все те моменты, которые сближают его с героем его труда. Дело не в желании походить на великого старца, — хоть, может, отчасти, и так, — а в том, что на самом деле многое сходится, похоже, и Бунин заодно как бы исследует себя, свой

путь и свой мир и образ. Метод примерно тот же, каков был в «Жизни Арсеньева», — от живой биографии, даже фотографии, — к самому широкому обобщению, всей жизни одного русского человека.

«Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть все большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них…»

Бунину нравится, что Толстой разделил всю свою жизнь на семилетия, «говорил, что „соответственно семилетиям телесной жизни человека, признаваемым даже и некоторыми физиологами, можно установить и семилетия в развитии жизни духовной…“.

…В последние годы он делил свою жизнь на „фазисы“.

— Человек переживает три фазиса, и я переживаю из них третий. В первый фазис человек живет только для своих страстей: еда, охота, женщины, тщеславие, гордость — и жизнь полна. Так у меня было лет до тридцати четырех, потом начался интерес блага людей, всех людей, человечества (началось это с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось кое-где, вплетаясь в жизнь личную, и прежде). Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом возник опять с новой и страшной силой, при сознании тщеты личной жизни».

Третью главу целиком Бунин посвящает уходу Толстого из Ясной Поляны — его мучительное путешествие, последний земной путь: в Оптину Пустынь, в Шамардино, к сестре Марии, которая была там монахиней, — все, что было до Астапова, и само Астапово, болезнь, муки о Софье Андреевне и прочее, вплоть до кончины. «И встал Иов, и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь туда».

Наг, как во чреве матери, был и тот, кто тихо скончался под чьим-то чужим кровом, на какой-то дотоле никому не ведомой железнодорожной станции…

«…Постоянно готовишься умирать. Учишься получше умирать…»

Конечно, Бунин, беря эти слова, не мог не обращать их на себя, не думать о себе.

«— Я никогда никого, кроме тебя, не любил, говорил мне (слова Софьи Андреевны. — М. Р.) всю жизнь Лев Николаевич. Но ведь не так легко было сделать счастливым Толстого! Я помню, как однажды наш друг поэт Фет сказал про меня: „Софья Андреевна по ножу ходит“. По ножу я и ходила всю жизнь…

— Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!..

В кабинете и в спальне все застыло с той ночи, когда он ушел, в полной неприкосновенности: подсвечник с догоревшей свечой и розеткой, окапанной стеарином, два яблока, подушка на диване, где он отдыхал, кресло, на котором около письменного стола любила сидеть Софья Андреевна, шахматы, три его карточки в разных возрастах и открытый на дне его смерти „Круг чтения“.

— Седьмого ноября. „Смерть есть начало другой жизни“. Монтень.

…Эта комната особенно мертва, и в ней, около постели, большой лавровый венок с красными лентами и надписью: — Огласившему пустыню жизни криком „Не могу молчать“.

„…В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело, — не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело…“

„Во всей всемирной литературе, — комментирует Бунин, — нет ничего похожего на эти строчки и нет ничего равного им“.

— Подчинение и потом опять освобождение».

Как тщательно, как нервно выбирает Бунин эти цитаты! Как напряжен его ум, его душа той же заботой, теми же мыслями! Все похоже, похоже…

После всем известной сцены, как его младенцем пеленали, связывали: «Связывают». Впоследствии он будет неустанно все больше «развязываться», стремиться назад, «к привычному от вечности».

Разве и сам Бунин всю жизнь не искал свободы, себя «изначального», частицу вечности?..

«…Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал:

— Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, „способностью перевоплощаться“, и особенно живой и особенно образной (чувственной) „памятью“. Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления

и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью…

— И вот — поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой…

— Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы… Сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности! Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды, падучую болезнь Магомета…

— Все, подобные им сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи — и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения…»

Далее Бунин рассказывает о своей давней, личной любви к Толстому, о встречах с ним, о толстовцах, через которых хотел попасть к Льву Николаевичу. «Темными» называли их в Хамовниках, вся семья и сам Толстой. Они появлялись в хамовническом доме в своих блузах и туфлях, — сапогов, то есть «кожу убитых животных», они не носили, — молча сидели по углам, смотрели с вызывающим осуждением, угрюмые, нелюдимые, страшные на вид, заросшие мохнатыми бородами и волосами, — их называли еще «дремучими». Не было тогда дома в Москве, где бы не обсуждали проповедей Толстого, не бранились по поводу него, не рассказывали о том, как он, в своей бекешке, с седой бородой, с жесткими и умными глазами под нависшими бровями, пробегает то там, то здесь по московским улицам и бульварам, как видят его иногда везущим бочку воды на обледенелых салазках…

В пору моей ранней молодости о нем тоже очень много говорили, но совсем иначе. Тогда все еще поражались тем, что граф, аристократ, богач, знаменитый романист, вдруг надел мужицкую одежду, стал пахать, шить сапоги, класть печи, обслуживать самого себя. Поражались «Крейцеровой сонатой» и особенно «Послесловием» к ней, где человек, произведший на свет тринадцать человек детей, вдруг восстал не только против любви между мужчиной и женщиной, но даже и против продолжения человеческого рода. Чаще всего говорили, что

«Крейцерова соната» объясняется очень просто — его старчеством и тем, что он «ненавидит жену». Еще тогда рассказывал мне Теноромо, будто Толстой сказал ему однажды:

— Ненавижу Софью Андреевну, да и всех женщин! Умру, положат в гроб, закроют крышкой, а я вдруг вскочу, скину ее и крикну Софье Андреевне: «Ненавижу!»

Бунин пишет и чувствуется, как ему нравится этот ни на кого не похожий, всегда неожиданный, непокорный, всегда идущий против ветра Толстой.

Потому что он и сам такой, Бунин, — пусть не столь ярко выраженный, иного нрава, иной поступи, но в душе, про себя — такой же, точно такой.

Бунин с удовольствием подчеркивает его светскость, аристократизм, принадлежность к высшему кругу. Приводит слова Екатерины Лопатиной: «Ах, все, кто знали его когда-то, иначе и не называют его, как бывший светский лев! Да он и теперь, несмотря на все свои причуды, прежде всего светский человек и джентльмен с головы до ног, в обществе очарователен».

Она же подозревала его в некоторой психической ненормальности. «Хорошо сказал о нем наш кучер. Я раз ехала зимой и встретила его везущим на салазках обледенелую бочку с водой, и наш кучер, человек суровый и всегда пьяный, сказал мне: „Какой он черт граф! Он шальной“.

„Левочка несчастный человек, — говорил про него брат Сергей Николаевич. — Ведь как хорошо писал когда-то! Думаю, лучше всех писал. А потом свихнулся. Недаром с самого детства помню его каким-то странным…“

„…Сегодня я у Фета виделся с самим Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что земля не вращается вокруг солнца, а стоит неподвижно и есть единственное нам известное твердое тело, солнце же и прочие светила суть лишь куски света, летающие над землей по той причине, что свет не имеет веса…“

Бунин обращается к портретам Толстого, с прозорливостью опытного и умелого физиономиста дает их анализ. „Волчьи глаза“ — это неверно, но это выражает резкость впечатления от его глаз: их необычностью он действовал на всех и всегда, с молодости до старости (равно как и особенностью своей улыбки). Кроме того, что-то волчье в них могло казаться, — он иногда смотрел исподлобья, упорно.

Только на последних его портретах стали проявляться кротость, покорность, благоволение, порой даже улыбка, ласковое веселье. Все прочие портреты, чуть не с отрочества до старости, поражают силой, серьезностью, строгостью, недоверчивостью,

холодной или вызывающей презрительностью, недоброжелательностью, недовольством, печалью…»

Невозможно не подумать о ранних портретах самого Бунина!..

Далее о Толстом. «„Проницательность злобы“, сказал он однажды по какому-то поводу, о чем-то или о ком-то. Это к нему неприложимо. Справедливо говорил он о себе: „Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; а жесток я не был“. И все-таки, глядя на многие его портреты молодых и зрелых лет, невольно вспоминаешь эту „проницательность злобы“. „Дух отрицанья, дух сомненья“, как когда-то говорили о нем, цитируя Пушкина, „разрушитель общепризнанных истин“… Для таких определений он дал столько оснований, что их и не перечислить. Вот у меня на столе его швейцарский дневник 1857 года. Всюду он верен себе: „Странная вещь! из-за духа ли противоречия или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мне не нравилась“.

В зависимости от настроений, от той или иной душевной полосы, в которой он находился… он был то одним, то другим, и это тотчас сказывалось на всей его внешности… „С хорошими и дурными я совсем другой человек“. Все же в портретах его молодости, зрелости и первых лет старости всегда есть нечто преобладающее, такое, что, во всяком случае, не назовешь добротой».

Ну просто крикнуть хочется, сколь похоже, сколь про себя говорит Иван Алексеевич, тоже добротой-то особой не отличавшийся!..

Далее в последующих портретах выделяет и отбирает Бунин тоже свое: то «взгляд холодный и надменный», то портрет того времени, «когда он приехал в Петербург из Севастополя и вошел в литературную среду, ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и широк в кости, снят до пояса, но легко угадываешь, что он высок, крепок и ловок; и красивое лицо, — красивое в своей сформированности, в своей солдатской простоте, тоже худое, с несколько выдающимися скулами и только с усами…»

И — вновь к швейцарскому дневнику Толстого, Бунин выбирает из него тоже свое, например, воздействие прекрасной природы: «красота слепила меня и мгновенно с силой неожиданного действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь и жалел о прошедшем, надеялся на будущее и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и мысль о смерти получала детский

поэтический ужас… Физическое впечатление, как красота, через глаза вливалось мне в душу…»

В этом дневнике, вопрошает Бунин, — где тут «волчьи глаза»? и почему даже и тут мысль о смерти? — он первый употребил совсем новые для литературы того времени слова: «Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах…»

Иван Алексеевич пользуется текстом самого Толстого, явно предпочитая дать слово ему самому, нежели вести свои комментарии. И как внимательно отмечает он, примечает эти «новые для литературы» эпитеты, потому что, конечно же, это его эпитеты, это он сам уже так пишет, и ему важно и хочется опереться на авторитет Толстого.

Далее анализируются еще более поздние портреты Толстого: уже семьянина, помещика, барина, в расцвете сил, — вновь похоже на самого Бунина, на его собственные портреты благополучной поры: «на этих портретах он опять отлично одет, на одном даже с цилиндром, позы у него непринужденные, гордо-красивые, глаза барски-презрительные, в небрежно оброненной руке папироса… Дивишься и другому: всегда легко плакавший, он даже и в эти годы мог в любую минуту вдруг горячо и умиленно заплакать. Умиленность, нежность — слова опять будто странные в применении к нему. Но вот он пишет Софье Андреевне: „Ужасно люблю! Переношусь в прошедшее — Покровское, лиловое платье, чувство умиленности — и сердце бьется“».

Уж такие они странные, русские писатели, — чему дивиться!

Пройдем далее, по Бунину. «Пытливость, недоверчивость, строгость — откуда это? — Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немного: чтобы вы, читатель, были чувствительны… были человек религиозный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые задевают вас за сердце…

Гёте говорил: „Природа не допускает шуток, она всегда серьезна и строга, она всегда правда“.

Толстой был, как природа, был неизменно „серьезен“ и безмерно „правдив“.

Конечно же, конечно, Иван Алексеевич Бунин почти выкрикивает эти слова от себя тоже, подписывается под ними, сообщает нам, что сие есть и его кредо!

Приводя далее известные слова о том, что герой его повести правда, Бунин пишет еще одно толстовское уточнение: „и в жизни и в искусстве нужно лишь одно — не лгать“.

Шопенгауэр говорил, что большинство людей выдает слова за мысли, большинство писателей мыслит только ради писания. Это можно применить ко многим даже очень большим писателям. Но

вот уж к кому не применишь: к Толстому».

И Бунин продолжает, снова проецируя толстовское на себя, на свой, такой же эстетический критерий: «В смысле правдивости удивителен был даже язык его произведений, выделяющийся во всей русской литературе отсутствием всяких беллетристических красок, готовых стилистических приемов, условностей, поражающий смелостью, нужностью, точной находчивостью каждого слова».

Бунин так любит Толстого и так истово хочет быть подобным ему (оставаясь собою), что обращает внимание и фиксирует более мелкие, житейские черты: как Толстой говорил, как употреблял смело крепкое слово в речи, как был храбр, мужественен, как любил купаться, какой был страстный охотник, любил лошадей и собак. «Садясь на лошадь, он весь преображался, сразу делался моложе, бодрей и крепче; в лошадях знал толк, как истинный знаток, хвалил их без критики редко». Бунин вспоминает, как Тургенев, прочитав «Холстомера», сказал, что теперь верит, что когда-то Толстой был лошадью.

Легко представить себе, что Бунин, пиша о Толстом, видел себя садящимся на лошадь и свое бодрое вспоминал чувство.

Ведя книгу о Толстом к концу, Бунин выводит следующее: «Насколько первобытен был по своей физической и духовной основе тот, кто при всей этой первобытности носил в себе столь удивительную полноту, сосредоточенность самого тонкого и самого богатого развития всего того, что приобрело человечество за всю свою историю на путях духа и мысли. Когда-то суть европейского мнения о нем очень недурно (в смысле европейской невежественности и самоуверенности) выразил Золя. Мнение это было, в общем, такое: да, крупный талант, но достаточно варварский, истое дитя крайне эмоционального народа, человек, наивно мудрствующий, открывающий давно открытые Америки, путающийся в том, что уже давно распутано… „Наивности“ в нем было в самом деле немало, давно открытые Америки и вправду открывал, — в чужие открытия не верил, — во многом, что людям, подобным Золя, казалось давно распутанным, он долго путался, эмоционален был чрезвычайно…»

Но вот Бунин все ближе к самой сути своего труда, к самой сути своего героя. И к пониманию самого себя, к своему откровению.

«Было время, когда я тщеславился моим умом, моим именем, но теперь я знаю, что если есть во мне что-нибудь хорошего, то это доброе сердце, чувствительное и способное любить…»

С годами его чувствительность возрастала все более и более, в конце жизни дошла до крайней степени.

«…И думал: нет, этот мир — не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем».

ВСЁ ОБ ОДНОМ

Его голова словно была вечно включена в электророзетку и работала без передышки, будто телевизор на вокзале или радио в парикмахерской, — или как электросамовар, что кипит, не выкипая, без отдыха, без остановки. Путешествует, болеет, пирует, болтает, страдает, что угодно, — все равно работает, мысль бьется, ищет, судит. Все о литературе, о том, как, что писать, о других писателях и книгах.

Мне кажется необходимым собрать все, еще оставшиеся записи из дневника Ивана Алексеевича, говорящие о творчестве, писателях, о себе — писателе.

Мы снова и снова увидим то, о чем уже достаточно говорилось, но кажется невозможным не взять, потерять на бегу новые и новые детали, мысли, наблюдения, они только еще дополнят прежнее, дадут новые оттенки всему, что касается Музы Бунина — Литературы. Это пестрые заметки разных лет, вперемежку, характеризующие не только его самого, но и иных, и весь современный литературный процесс и литературную жизнь его времени, его долгого времени. И нас, конечно, касается.

Нас касается особенно, потому что родился в 1870-м, в один год с Лениным, умер в один год со Сталиным, в 1953-м, вся *наша* эпоха составила его жизнь.

«…Кончил перечитывание двух рассказов Тургенева. Мастерство изумительное, но в общем читал равнодушно — исключение некот. страницы. Кое-что (почти все, вернее) читал как новое — так забывается Тургенев. Одно „Полесье“ почти все по-настоящему прекрасно. Почти во всех рассказах, — да, кажется, даже во всех, — редкое богатство совершенно своих, удивительных по меткости определений чувств и мыслей, лиц и предметов…» (14.III.40.)

«…Перечитал „Что такое искусство“. Скучно, — кроме нескольких страниц, — неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, — сколько прочел, какой труд проделал! — все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят,

но сам не сказал ничего путного». (17.III.40.)

«…Убежден, что Гоголь никогда не жег „Мертвых душ“»… «Не знаю, кого больше ненавижу, как человека — Гоголя или Достоевского…»

«…Читаю Библию. Очень поражен царем Давидом. Хочется написать о нем, — вроде рисунка, „портрета“ — не то слово, но другого сейчас не нахожу. А он волнует меня (поэтически). М. б. завтра от комнаты моей останется одна пыль, да и от меня, от нашей малой жизни. Все равно, пока живу, хочется иной раз что-то сказать». («Буду петь Господу, покуда жив, буду бряцать Богу моему, доколе есмь».) (9 июня 40.)

«…Вчера еще читал „Вечерние огни“ Фета — в который раз! (Теперь, верно, уже в последний в жизни.) Почти все из рук вон плохо… Многое даже противно — его старческая любовь. То есть, как он ее выражает. Хорошая тема: написать всю красоту и боль такой поздней любви, ее чувств и мыслей при всей гадкой внешности старика, подобного Фету, — губастого, с серо-седой бородой, с запухшими глазами, с большими холодными ушами, с брюшком, в отличном сером костюме (лето), в чудесном белье, — но чувств и мыслей тайных, глубоко ото всех скрытых». (29.VII.40.)

«…Вчера у нас обедали Фондаминские и Демидов. И как всегда при Демидове, разговоры сбивались на Россию, Москву, Тамбовскую губернию. Профессиональные писатели гораздо беднее впечатлениями, чем „бывшие люди“. Сколько знает Демидов, он воспитывался в Нижнем в дворянской гимназии, читал „Московские ведомости“, был предводителем дворянства, председателем Земской управы, членом Думы, правым кадетом. Знал хорошо родовитую богатую Москву. У кого из писателей такое поле наблюдения? У Толстого было меньше. Потом война, революция, Добр, армия, Польша, Париж — да, для такого материала Толстой нужен!»

…Так и чудится, и слышится за словами голос Ивана Алексеевича, виден его пристально-завистливо-горячий взгляд на Демидова, его жадно поднятые вверх и без того изрядные улавливатели — уши!..

«Заговорили о том, что в России дворянство все свое состояние пропило и проело.

— Знаете, сколько бутылок шампанского выпивало губернское дворянское собрание, которое длилось, ну, 2 недели?

— 3500 бутылок! На 40 000 рублей — одна Тамбовская губерния… Но не думайте, что мы всегда так проводили времечко. С февраля мы работали очень много…» (17 мая 31 г.)

«…Вчера Ян сказал: „Ну, прочел „Кроткую“. И теперь ясно понял, почему я не люблю Достоевского. Все прекрасно, тонко, умно, но он рассказчик, гениальный, но рассказчик, а вот Толстой — другое. Вот поехал бы Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал бы хорошо, а Толстой взял бы какую-нибудь черту, одну, другую — и Альпы выросли бы перед глазами…“» (7 мая 1923 г.)

«…Ян за прогулкой опять восхищался Толстым: „Толстой научил всех писать. Героями Толстого жили. А герои Достоевского дают пищу для умствования. И бездну Толстой чувствовал не меньше Достоевского…“» (22 авг. 26 г.)

«…Читал в эти дни в „Сев. В.“ (1897 г.) „Дневник бр. Гонкуров“. Очень хорошо — кроме поел, лет, когда Эдмон стал писать сущий вздор (напр., о русской литературе) и придавать до наивности большое значение тому перевороту во фр. литературе, который будто он с братом совершил. В одном месте говорит: „Книги никогда не выходят такими, какими задуманы“. Правда, правда.

Следовало бы написать мой нелепейший роман с Кат. Мих. (Лопатиной). Новодевичий монастырь, Ново-Иерусалим. Еще — историю моих стихов и рассказов». (29.VIII.40)

«…Прочитал Лескова „Захудалый род“ — очень скучно, ненужно. В той же книге „Овцебык“ — оч. хорошо. В „В. Евр.“ еще три очерка из „Зап. Степняка“ Эртеля — все очень плохи. Лучше других „Поплешка“, но и тот нудный, на вечную тему всех времен о народной нищете, о мироедах т. п. Впервые я читал этого „Попл.“ полвека тому назад и навсегда запомнил отлично начало этого рассказа… Молочный блеск — особенно хорош». (23.VIII.40.)

«…Вчера приехал Борис Зайцев… очень родной нам, точно из семьи. Сейчас около 10 ч. Сошел пить кофе. К нему вышел Ян. Быстро заговорили о Гоголе, Ян вспомнил свою давнишнюю мысль, что Гоголь сжег не вторую часть „Мертвых душ“, а то, что не вышло из этой второй части. Ему хотелось писать в ином

стиле, неорганически, а это у него не вышло. Ему хотелось стать Данте, Шекспиром, Зайцев сказал: — Я Гоголя понимаю, стал недавно понимать, через себя. Ведь знаю, что жизнь не такая, как я изображаю ее, а между тем иначе я не могу, без этих „акварельных тонов“». (26 апреля 34 г.)

«…Бетховен говорил, что достиг мастерства тогда, когда перестал вкладывать в сонату содержание десяти сонат».

«За это время скончался Ходасевич — „растерзан“, „разорван“ желчный пузырь. Два огромных камня. Доктора проглядели. Надо было несколько лет назад сделать операцию. — Жаль его очень. И рано он ушел. Нужен еще. Да и сделать мог еще много…» (5 июля 39 г.)

«…Сегодня говорили о Зола, он перечитал „Nana“. Хвалил Зола за ум, за знание жизни — но ни художества, ни поэзии… Ян находит, что в „Nana“ квинт-эссенция женщины известного типа — только желание, больше ничего, отсутствие жалости и какое-то романтическое стремление к бескорыстному чувству…» (8 июля 39 г.)

«…Приехал к Яну Гроссман (издатель, литературовед), высокий, худой и самоуверенный человек, говорит гладко, несколько певуче. Он явился просить у Яна выборных рассказов из его произведений…

— Из современников только вас, — говорит он с улыбкой, — из умерших: Герцена, Гоголя, Кольцова, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева и других. Разные лица будут делать выборки, например, Островского подаст профессор Варнике, Достоевского — я.

— Значит, в каждой книге будет критическая статья? И это будет относиться и к живым авторам? — спросил Ян.

— Да, но можно сделать по другому принципу, — стал объяснять Гроссман. — В данном случае не будет какого-нибудь исследования, а вы сами сделаете выбор произведений.

— Что такое избранные произведения, — перебил Ян, — это не самые лучшие, а разнообразные. Можно отметить характерные черты в творчестве.

— Да, — согласился Гроссман, — учебные цели…

— Что же я с собой делаю? Я выбираю шесть листов лучших, следовательно, все остальные я считаю плохими?

— Да, к современному автору неудобно прилагать такое заглавие, вы правы, — соглашается Гроссман, — лучше назвать

„Избранные страницы“…

Гроссман производит впечатление очень культурного человека, вероятно, с ним иметь дело будет приятно, хотя он человек холодный…» (17/30 ноября 1918 г.)

«…Мой экспромт Шаляпину (в ресторане „Петроград“, против церкви на rue Darn в Париже, после панихиды по Вас. Нем[мировичу]-Данченко)»:

Хорошо ты водку пьешь,
Хорошо поешь и врешь,
Только вот что, rnon ami,
Сделай милость, не хами…

(14.XII.41.)

«…Каждый вечер жутко и странно в 9 часов бьют часы Вестм. абб. в Лондоне — в столовой!

По ночам ветерок не коснется чела,
На балконе свеча не мерцает.
И меж белых гардин темно-синяя мгла
Тихо первой звезды ожидает…

Это стихи молодого Мережковского, очень мне нравившиеся когда-то — мне, мальчику! Боже мой, Боже мой, и его нет, и я старик!..» (15/11.41.Понед.)

«…Прочел книжечку (изд. Суворина) гр. Соллогуба — Аптекарша, Метель, Неоконченные повести. Довольно ловко все, но ненужно. Герои и героини, как всегда писали прежде, умирают от несч. любви.

Хорошо для рассказа: донской казак Харулин.

Хорошо бы написать рассказ, действие которого в Бахчисарае. Татарин Ослambей. Татары говорят: „тютюн ичмен!“, т. е. „попить дыму“ (покурить). Еще: „шишлык“ (а не „шашлык“: шиш по-татарски вертел, палочка). Хорош Бахчисарай! Овцы Божья стада». (6.III.40.)

«…Леня задал Яну вопрос: почему в ранних ваших стихах и потом в „Храме Солнца“ у вас душа религиозная, а затем как-то от этого закрылась? — Ян ничего не ответил.

А ведь душа его, действительно, религиозна. В нем две души — матери и отца. Последняя заглушает первую». (6 янв.1950 г.)

«…Дочитывал 1-й т. стихотв. Полонского, вспоминал, как читал в Beausoleil. Теперь в последний раз в жизни? Вероятно. Вспоминал те чувства, что были в ранней молодости, в Озерках, при чтении некоторых стихов. 9/10 — скука, риторика и часто просто непонятная. Зато 1/10 превосходно». (24.IX.42.)

«Перечитываю жизнь Гёте (по франц.)». (1.V.Суб.42.)

«…Перечитывал стихи А. К. Толстого — многое удивительно хорошо, — и свои „Избр. стихи“. Не постигаю, как они могли быть не оценены!

В безделье провожу свои истинно последние дни. Но ничего не могу!» (18.VI.42.)

«…Прочел две книжки К. Федина — „Братья“ и „Похищение Европы“. Оч. много знает, оч. неглуп — и наряду с этим сумбур, выдумки». (4.2.44.)

«…Кончил вчера вторую книгу „Тихого Дона“. Все-таки он хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к большевизму». (30.8.41.)

«…Вчера кончил перечитывать „Обломова“. Длинно, но хорошо (почти все), несравненно с „Обрывом“»… (18.X.41.)

«…Вечером приезжал Симонов, приглашать на завтра на его вечер… Понравился своей искренностью, почти детскостью… На юге написал он 30 стр. новой повести. Тема: профессор, побывавший за границей, возвращается на родину, на Урал, не застает жены дома… ждет и думает, вспоминает. И видит, как здесь все плохо, хуже, чем там. — Симонов думает, что цензура пропустит. Он уже в Верховном Совете, избран от Смоленщины.

Симоновское благополучие меня пугает. Самое большое, станет хорошим беллетристом. Он неверующий… Когда он рассказывает, что он имеет, какие возможности в смысле секретарей, стенографисток, то я думала о наших писателях и старших, и младших. У Зайцева нет машинки, у Зурова — минимума для нормальной жизни, у Яна — возможности поехать, полечить бронхит. И все же для творчества это, может быть, нужно. Симонов ничем не интересуется. Весь полон собой. Человек он хороший, поэтому это не возмущает, а лишь огорчает.

Очень довольна, что провела с ним час. Это самые сильные защитники режима. Они им довольны, как таковым, нужно не изменить его, а улучшить. Ему нет времени думать о тех, кого

гонят. Ему слишком хорошо». (11 авг.46 г.)

«…Третьего дня был у нас московский ужин: водка, селедки, кильки, икра, семга, масло, белый и черный хлеб — все прислано на авионе по просьбе Симонова. Были у нас и Тэффи с Банин (переводчица), которая внесла большое оживление. Леня не остался…

Она (жена Симонова) говорила, что здесь все хуже, чем в России. Отрицала, что были аресты перед войной… Рассказывала о Вале Катаеве. Он иногда запивает на 3 дня. То не пьет, не пьет, а затем, кончив повесть, статью, иногда главу, загуливает. Я думаю, что он несколько иначе все воспринимает, чем они, вот и тянет забыться. Все-таки он почти четверть века дышал нашей культурой. Он женат второй раз, у них двое детей…» (15 авг.46 г.)

«…Вышли „Темные аллеи“».

Это запись под 2 декабря 1946 года.

Как хочется назвать этот день историческим!.. Ввести его в памятные даты русской литературы!.. Пусть бы в будущих учебниках, в их дальних веков интернетах стоит она вместе с датами рождения великих книг, событий жизни великих художников!.. Да будет ли?.. Что вообще будет дальше с русской литературой, русскими писателями? Где мы?.. Слишком много испорчено, извращено, подменено, — по Ахматовой, — «расхищено, предано, продано»… меня не очень занимает, скажем, какая в будущем будет выделка чугуна и стали, сколько зерна станут, наконец, собирать по осени, моя душа болит о литературе.

Помнится, приезжал в СССР госсекретарь США Шульц, захотел встретиться с нашими писателями. Встреча была в Переделкино, на даче у Андрея Вознесенского. Запомнилась речь неглупого Шульца перед нами — американцы изучали, прощупывали тогда наше мнение насчет перестройки: помогать нам или нет? Шульц говорил: «Человечество выходит на некие новые рубежи, на решение совсем новых проблем. Оно уже решило и придумало, как собирать много хлеба, чтобы всем хватило, и как каждому дать штаны. Вы, в России и еще кое-где в странах третьего мира, только и остались, кто не может никак одолеть этих примитивных в сути проблем. И это ваше частное дело. Мозги на это больше тратить не нужно. Мозги нужны совсем для другого: для изучения проблем глобальной экологии, астрономии, биологии, изучения самого мозга и т. п., на художество и искусства».

В самом деле, старик в своем вечно-зеленом галстуке был,

похоже, прав. Мы отстали от авангарда далеко-далеко, на общечеловеческом американском полигоне давно решили то, о чем он говорил. Мы лишь болтали о техническом прогрессе, хвастали лунником и Гагариным, а сами все склеивали обмылки и запирали дверь газетой. Били себя в грудь: у нас, де, душа, духовность против ихней глупой техники и роботов. А выяснилось, что душа-то устала и выщербилась, у иных и вовсе давно вышла… через пятки.

Без литературы, без культуры нам все равно не одолеть порчи. Без Бунина, о котором и заикнуться нельзя было более полувека.

Разумеется, литература есть лишь частное в общем потоке жизни и ее проблем, но она есть достаточно отчетливый индикатор того, что происходит с нацией, с миром вообще.

Литература не живет без земли, без родины, без народа, без языка. Мы — свидетели, участники и способники великой порчи того, другого и третьего. У нас теперь не смута, а порча, распад, вырождение.

Но может ли испортиться целый народ?.. Помните, профессор Преображенский у Булгакова говорил, что разруха не в писсуаре, а в головах?.. К сожалению, надо прямо глядеть в глаза правде: с головами плохо. Как ни стараешься думать оптимистически и по-прежнему верить, что и не такое бывало, но прошло же, миновалось, никуда не делись просторы земли, моря, леса и люди. Однако каждый день, каждый час обнаруживается: и леса сгорели, и моря высохли, и поля оскудели, и, главное, зло и зверство в людях кипит и разрастается, как содержимое деревенского сортира, в который озорники швырнули пачку дрожжей. Плохо и бедно живем — еще полбеды, микроб зла и безумия кочует и заражает умы и души прямо-таки на глазах ежечасно — вот беда.

Литература призвана и должна звать человека к добру, красоте, братолюбию. Тысячи прекрасных книг стоят на полках, взывая человека к лучшему, божественному, доброму… Кто читает? Кто слышит? Чья заскорузлая душа обливается слезами над вымыслом?..

Горько сказать правду: мало кто.

Да и не так это, конечно. Воспитавшись на этой самой литературе, остаешься наивным верующим в величие красоты и добра.

Уж какую жизнь прожил тот же Иван Алексеевич Бунин — чего ни повидал, через что ни прошел, но упорствовал, работал, держал каждый день перо своими тремя пальцами, делал свое дело, оставив нам как праздник хоть те же «Темные аллеи»!..

Нет, не должны совсем пропасть ни земля, ни народ, ни язык (уж с ним-то что делают безграмотные, бездарные головы, поганые языки говорильщиков!). Не пропадут, не исчезнут. Не может быть.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Кончать жизнь русскому писателю предопределено от Всевышнего: тех, кто помоложе, смерть косит, как хочет, и в двадцать с чем-то, и в тридцать, — на войне ли, под пистолетом, с пистолетом у виска, всяко, — косит, или наугад метнет свою косу острием вперед, — в кого попадет. В зрелые годы или в старости стереотип иной: доведет до полной усталости, до психического взрыва или срыва, до одиночества, редко кому дает собраться, обдумать, хоть мало уладить земные дела, покаяться и причаститься. Нет, все равно всем командует жизнь, смерть только часть ее — как жил, так и помирать будешь, и хвататься за жизнь до последнего.

Нам остались немногие дневники Бунина и Веры Николаевны последних лет, уже полных приближения к бунинскому концу. Следует привести хотя бы некоторые записи, еще сделанные Буниным своей рукой.

«…Очень страдал весь день от воспоминаний своей протекшей жизни».

5.4.42…Вдруг почему-то пришло в голову: Добчинский и Бобчинский… Да: Сквозник-Дмухановский, Яичница… даже Чичиков — все очень плоско, балаганно — и сто лет все с восторгом повторяют: Добчинский и Бобчинский!

Как-то ночью, уже в постели, с книгой, в мертвой тишине дома вдруг точно очнулся, с ужасом: какое одиночество! И это последние дни и ночи жизни!

12.4.42. Воскресенье… Кончил перечитывать рассказы Бабеля «Конармия», «Одесские рассказы» и «Рассказы». Лучшее — «Одесск. р.». Очень способный — и удивительный мерзавец. Все цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое пристрастие к кощунству, подлому, нарочито мерзкому. Как это случилось — забылось сердцем, что такое были эти «товарищи» и «бойцы» и прочее! Какой грязный хам, телесно и душевно! Ненависть у меня опять ко всему этому до тошноты. И какое сходство у всех этих писателей — хамов того времени — напр., у Бабеля и Шолохова. Та же цветистость, те же грязные хамы и скоты, вонючие телом,

мерзкие умом и душой…

О Божьей Матери (икона в Ипатьевском монастыре, занятом текстильщиками): «Худая баба сидела расставив колени, с зелеными и длинными, как змеи, грудями…»

Нельзя не вспомнить об отношении Бунина к Блоку, Цветаевой, Маяковскому, о чем я уже говорил, — его ядовитое отношение к чужому и чуждому вообще перекрашивает его подлинный вкус, способность верной оценки. Настроение!.. (Чего вдруг напасть на Гоголя?)

«…Опять думал нынче: прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет. Еще — бабочек».

3. VI.42. «Май был необыкновенный — соверш. чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье — немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцать вечера), как всегда они заливаются. Удивительно — сколько блядского в этом пении, в языке! Думаю все время: что же это впереди! Если немцы не победят, полная погибель их. Если победят — как может существовать страна, ненавидимая почти всем миром? Но и в том и в другом случае — что будет со страной, у которой погибло все самое сильное чуть ли не с 15 лет до 50! А уже погибли миллионы и еще погибнут.

Франц. радио — нечто поразительное. Тонем во лжи и холопстве.

Читал вчера и нынче стихи — Г. Иванова, Гиппиус. Иванов все-таки поэт настоящий (в зачатке). Г. ужасна. Мошенница».

Опять и опять пристрастие, оценок! Георгий Иванов, несомненно, большой поэт!.. (— М. Р.)

1. VII.42. «Среда. Двенадцатый час вечера. В одиннадцать радио: Севастополь взят. (Дорого, верно, достался!..) Все время полное безволие, слабость, — ничего не могу, кроме чтения лежа. Перечитал первый том „Бр. Карамазовых“. Три четверти — совершенный лубок, балаган. А меж тем очень ловкий, удивительно способный писака».

(Если учесть, что чтение, — тем более направленное, — для писателя тоже работа, то надо отдать должное страдающему недомоганием Бунину: он все время работает.)

Через две недели он запишет еще: «Прекрасный день, попытка начать что-нибудь делать. Прочел (перечитал, конечно) второй том „Бр. Карамазовых“. Удивительно умен, ловок и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем скука, не трогает ни-чуть…»

Вот и Федору Михайловичу достается, наравне с другими, — его, правда, Бунин никогда не любил.

Вера Николаевна записывает 14 августа: «Из Америки пришло приглашение: визы, даровой (или почти даровой) проезд и деньги на проезд и т. д. и т. д. А мне это кажется „приглашение на казнь“. Молю Бога, чтобы нам туда не суждено было уехать».

Далее, опять Бунин.

«1. IX.42. Вторник… Сухое лето, сгоревшие цветы олеандра. Еврейские дни дошли и до нас. В Париже, говорят, взяли 40 000. Хватают по ночам. 10 минут на сборы. И мужчинам и женщинам бреют головы — и затем человек исчезает без следа. Детей отнимают, рвут их документы, номеруют — будет без роду-племени, где-то воспитают по своему. Молодых евреек — в бардаки, для солдат. У нас взяли, говорят, уже человек 700–800…

7. IX.42…Перечитываю „Любовь в жизни Толстого“ Жданова. Гадко — до чего обнажили себя и муж и жена на счет своей крайней интимности!

20. IX. В „Нов. Журнале“ (вторая книга) — „Натали“. И опять, опять: никто не хочет верить, что в ней все от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих рассказах, прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь — как все это выдумалось — ну, хоть в „Натали“. И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать…

…Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют — в моей памяти. Когда умру, им полный конец.

Радио — кошмар. Не лжет только который час…

…Страшные мысли — вдруг останусь один. Куда деваться? Как жить? Самоубийство?

Потом стал думать об этой кухарке на постоялом дворе. Все вообразил с страшной живостью. Возбуждение — и до того, что уже почувствовал все, что бывает перед концом. Мурашки, стеснение во всей грудной клетке…»

Нет, все же жив курилка!.. Иван Алексеевич верен себе: от самоубийства — сразу — к телесам какой-то кухарки!..

«27. XII.42.…Тем, что я не поехал с Цетлиным и Алдановым в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в

Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!

24.2. Нездоровится, повышенная температура.

Солнечно.

Я был умен, и еще умен, талантлив, непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, своей индивидуальностью, мыслями, чувствами — как же может быть, чтобы это исчезло? Не может быть!

2.4. **Пятница**.

…Продолжаю читать фр. перевод дневников С. А. Толстой (2 тома). Одержимая!..

Читаю записки Порошина, воспитателя Павла I. Обожествление мальчишки, часто очень гадкого и наглого.

Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?..

10.4. Суб.

Кончил „18 год“ А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 18-й год! В каких „вертепах белогвардейских“! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам… Я-то хорошо помню, как проводил он этот год, — с лета того года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной, — игорный притон и притон вообще всяких подлостей!»

Он продолжает тосковать о Галине.

«**9.V. Воскр**…Вечером, вернувшись, узнал о письме Г. к Вере (уже из Марселя): „Покидаем Францию. Бросилась в пропасть с головой…“»

Из записей Веры Николаевны (еще позже, 1944–1945 и т. д.):

«**15.2.** Немцами взяты у нас две комнаты наверху.

Нынче первый день полной нем. оккупации Alpes.

17 февр. 44.…Мы теперь в оккупационной зоне… Нас пока не трогают. Ян неустанно думает о смерти, с которой не в состоянии примириться. Ему бесконечно тяжело, мучительно жить… Тяжело прожить с человеком почти 40 лет, и на самое важное и главное смотреть разно, а главное — чувствовать по-разному, воспринимать мир иначе…»

Бунин:

«С **8 на 9. V.44**. Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать неск. строк. „Чистого Понедельника“. Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейш. движения воздуха: полнолуние, ночь неяркая. Вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где мельканье первых соловьев… Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!..

Я жил затем, чтобы писать…

16.7. Воскр…Татарин Федя, другой татарин и самарский солдат. Вообще русские пленные у нас часто все лето.

Взято Гродно».

С этими русскими пленными, вдруг попавшими в Прованс, на юг Франции, Бунин часто общается, выпивает с ними, расспрашивает, вместе поют русские песни, их угощают, чем могут, напротив, те делятся тем, что принесут, — черным хлебом.

«**22.7.44**. Сон про свою смерть. Сумерки, церковь, я выбираю себе могильное место… Перечитал „Смерть Ивана Ильича“. Конец невразумителен. Все лживые, кроме самого Ив. Ильича, — он — слова, литература: все верно насчет него, но живого образа нет.

14.5.44. 2 ½ ночи. (Значит, уже не 14, а 15 мая.)

За вечер написал „Пароход Саратов“. Открыл окно, тьма, тишина, кое-где мутн. звезды, сырая свежесть.

23.5.44. Вечером написал „Камарг“. Оч. холодная ночь, хоть бы зимой».

Так работает этот старый, голодный, измученный душой человек. Бывает с русскими писателями: чем хуже вокруг и тяжче в душе, тем быстрее бежит мысль и перо.

«**4.VI.44**. Вечер. Взят Рим! Вчера вечером вошли в него.

6. VI.44. Вторник. В 5 ½ утра началась высадка в Нормандии. Наконец-то!.. Полнолуние.

21.6. Среда. Взят Выборг. 3 года т. н., в ночь с 21 на 22, Гитлер, как он любил выражаться, „упал как молния в ночи“ на Россию.

Ах, не следовало!

22.6.…Уже почти час ночи, а хочется писать».

Вера Николаевна записывает **29 августа**: «В Париже образован корпус для расследования о сотрудничестве с немцами. Вот будет разделение на овец и козлищ… Ян сказал: — Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть в России и в русском народе, но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!..»

«Полночь с 22 на 23 окт. 44.

Роковой день мой — уже 75-й год пойдет мне завтра. Спаси, Господи.

Завтра в 8 утра уезжает Бахрах, проживший у нас 4 года. 4 года прошло!

Холодная ночь, блеск синего Ориона. И скоро я уже никогда не буду этого видеть. Приговоренный к казни».

2 декабря…Ян сказал: «Привяжется мотив и все звучит. Сейчас — „Вы жертвою пали“… — Никогда не мог понять слов „любви беззаветной к народу“. Кто это так любил народ? Все выдуманные чувства, которыми жило несколько поколений. И что такое народ?..

1 февраля…Был болен Ян. Опять хрипы в легких, опять пенициллин. Очень ослабел, задыхается. Сегодня утром плакал, что не успел сделать, что надо. Потом просил беречься: „Если ты умрешь, я покончу с собой. Не представляю жизни без тебя“. Плакала и я».

А вот почти последние записи их совместного дневника уже 1953 года:

«23 января. Ян вчера не отпускал меня до 3 ч. Боялся остаться один».

Ночь с 27 на 28 января, почерком Бунина на отдельном листке:

«Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего все об одном и том же в прошлом: утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недальновидности и о неотмщенности за эти оскорбления, о том,

что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!»

Свое 80-летие отмечал скромно: сам болен, деньги приходится занимать едва не каждый день у разных знакомых и друзей. Врачи, лекарства, питание — все требовало денег и денег. Их не было.

В минуты просветления Иван Алексеевич продолжал работать. Правил и правил рассказы, сокращал, улучшал, требовал от себя совершенства. Он знал, чего хотел и знал себе цену.

«Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде, — тоже довольно слабой, — что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней красоте, — говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник. Некоторые из них мне особенно дороги, кажутся особенно восхитительны…»

Невозможно сказать о нем лучше!..

«**4 июля**. Ян чудесно прочитал Лермонтова „Выхожу один я на дорогу“, восхищаясь многими строками.

— Пожалуй, его смерть трагичнее Пушкинской… Какая проза! И после таких поэтов — Есенин, Маяковский и т. д.».

Горько, но смерть пришла не с одними душевными муками: истощение, болезнь легких и сердца, видимо, перенесенный когда-то на ногах инсульт, — были моменты, когда немела и отнималась то правая рука, то нога, — тяжелое под конец воспаление легких.

Есть свидетельство доктора Владимира Михайловича Зернова, который лечил Бунина: «Он страдал и склерозом легких, и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности… Все чаще и чаще я видел его лежащим в кровати… „Вот вы еще молодой, — говорил Иван Алексеевич, — вы полны жизни, вы не можете понять, что значит быть больным и старым…“ Но несмотря на свою болезнь, на слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений, которые часто таили в себе некую желчность и даже озлобленность. Но наряду с этим у него было

много сердечности и горячего отношения к окружающим… Думаю, что и больной и умирающий Иван Алексеевич страстно любил жизнь, ему хотелось жить, хотелось выздороветь, поправиться… я чувствовал, что он ждал каждого моего посещения, ждал, что доктор принесет ему что-то, что поможет ему жить, вернуться к той жизни, которую он так любил. В этом ожидании было нетерпение, и почти каждый раз, когда я приходил к нему, он брал свою палку, всегда лежавшую около его кровати, стучал ею в стену, разделявшую его комнату и комнату его жены, чтобы этим позвать ее. Если же она не появлялась сразу, то он звал ее: „Вера, Вера, иди скорей, слушай, что будет говорить доктор“. Но как только торопливо прибегала уже плохо слышавшая и плохо видевшая Вера Николаевна, готовая исполнять все, что угодно для своего Яна, он нетерпеливо говорил: „Ну, что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и приходи потом…“ Был ли Бунин трудным больным? Болезнь его была мучительной, с многочисленными осложнениями, переносил он все терпеливо, без жалоб. В 1950 году он подвергся хирургической операции и вынес ее стойко и мужественно, по-видимому, страстно желая жить, но отдавая себе отчет, что жизнь приходит к концу и надежд на улучшение здоровья нет. Говорил об этом просто, как о неизбежном, ясно сознавая свое положение и не создавая себе иллюзий…

Незадолго до своей смерти он говорил мне, что со смертью нельзя примириться: „Разве можно примириться, что тело скоро будут есть черви, вот этого я принять не могу“. Принять не мог, но говорил об этом спокойно, может быть, с некоторым раздражением, как говорил о плохо написанном литературном произведении.

Часто, часто наши разговоры возвращались к Родине. Иван Алексеевич горячо интересовался тем, что происходило в России, и несомненно его тянуло туда…

Вечером 8 ноября 1953 года меня вызвали по телефону к Бунину. Он задыхался, сердце слабело, приближался конец. Я сделал необходимые впрыскивания, успокоил больного и Веру Николаевну, обещал приехать, если нужно попозже. Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал…»

Прервемся, дадим слово Вере Николаевне, строкам из ее письма: «И. А. сидел. Я помогла ему лечь. Спросила, завтракал ли он? (Возле него дежурил Бахрах.) Оказалось, немного не доел телячьей печенки с пюре… Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зернову, он обещал приехать… Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался… Около

десяти мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова (это он все продолжал работать, думать, писал как раз о Чехове. — М. Р.). Мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить… „Ну, довольно, устал“. — „Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?“ — „Да“. Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик. — Он стал звонить. „Что ты так долго“…Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. „Задыхаюсь“. „Нет пульса“… „Дай я спущу ноги“. Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидела, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт»…

Далее пусть продолжит доктор: «Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал, Бунина уже не было в живых.

По его желанию его верная Вера Николаевна закрыла его лицо платком, он не хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти. Для меня она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.

Я помог привести в порядок тело и перенести его в другую комнату. Шею покойного Вера Николаевна повязала шарфиком. „Я знаю, — сказала она, — ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила…“ — и она назвала женское имя…»

…Я помню: 8 ноября 53-го я ехал в холодном плацкартном в Ленинград. На пол натаскали снегу, лампы тускло млели наверху, проводницы носили в подстаканниках вагонный чай, народ раскручивал из бумаг и резал прямо на нижних полках московскую колбасу с московскими батонами. Орало радио, а в 12, отыграв курантами и спев «Союз нерушимый», стало передавать последние известия. И вдруг — среди прочего, между прочим, далеко не по-левитановски значительно, а так себе, скромненько: — В Париже скончался писатель Иван Бунин… Ни слова более: ни одного названия, ни «русский», ни Нобелевский… Так я об этом узнал, так попрощался с Иваном Алексеевичем. Господи, как далеко был город Париж, как неведомо все то, что там происходило!..

Эти загадочные русские писатели, обладатели не менее загадочной русской души, все же умирают каждый по-своему.

Как и живут, впрочем.

И как ни пытался, читатель, ваш покорный слуга намекать и

выстраивать какой-то там стереотип, рок судьбы и тому подобное, наш герой оказался оригинален и своеобразен весь свой долгий почти век жизни, и верен себе во всем до конца.

…Вижу его живым, подтянутым, моложавым, в летнем костюме, в летний день, на ялтинском причале: сел на круглую медно-отдраенную лысину причального кнехта, подстелив под белые брюки квадрат столь же белоснежного платка, чуть скрестив ноги и опираясь легко на бамбуковую трость. Позади и вокруг летняя праздная толпа: женские шляпки и зонтики, белые офицерские кителя, сверкающие золотыми начищенными пуговицами, соломенные канотье, парусиновые фуражки. Снуют голоногие круглоголовые татарчата с лотками, на которых сласти, рахат-лукум, ириски, миндаль, другие с банками воды, — отмеряют здесь же стаканом. У пирса отшвартован прогулочный двухъярусный «Симеиз» — сочится паром и откуда-то льющейся водой, сияет золотыми буквами названия на выстроенных поверху борта белых ведрах. По сброшенным на берег деревянным сходням туда-сюда топочут пассажиры, матросы в беретах, грузчики в холщовых робах. Где-то в рубке виден рулевой и капитан в белой твердой фуражке с рупором… Отогнув вверх край панамы, Бунин следит за кутерьмой чаек и черных нырков, которые, будто воробьи, сыпятся в воду, буравя ее. Под кормой посудины болтается на светло-бутылочной воде портовый мусор: щепки, яблоко, помидор, рыбешки, пробки, бутылка с наклейкой массандровского хереса, лист газеты. Чайки хищно кричат, бьют крыльями, падая на воду, что-то выхватывают из сора розово-черными крючками-клювами. От ныряния черных нырков вода будто вскипает, они с поражающей стремительностью вонзаются в нее и так же вылетают обратно. Позади — безмятежно зеленые горы, яйла, вершина Ай-Петри, над горами — кучами белопенные летние облака. Откуда-то из ресторанчика на набережной или с пароходика слышится треньканье оркестрика, скрипка, флейта и гитара ловят вместе некий невнятный мотив…

Вижу его живым, высоким, в черном зимнем пальто, барашковой зимней шапке, — в морозный московский вечер идущим скорым шагом по Поварской, по правой стороне, в сторону Садового кольца. Поземка кружит белым платком по мостовой, во всю улицу, редкие фонари озаряют пятнисто сверху ее кружево. Вылетает сзади из переулка извозчик на санях, плюшки снега из-под копыт черной лошаденки взлетают в полосе света, как живые. — Эй! — кричит он извозчику, но уже запоздало, вслед и, махнув перчаткой, продолжает торопливо идти сам.

Вижу его живым, легким, веселым, в Провансе, в парке, где

пальмы и кактусы, под сияющими небесами, с Галиной Кузнецовой. Она остановила его у куста мелких красных роз. Вижу (и слышу), как «он посмотрел и сказал: „Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что, если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальца: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно… Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!..“»

Вижу его юным, двадцатилетним, в казачьей красной косоворотке, сапогах, в Орле, на скамейке городского сада, листающего, читающего, нюхающего, типографией еще пахнущую, первую свою тоненькую книжку стихов, и вижу стариком в халате, в своем парижском кабинете правящим, ловящим опечатки и длинноты в немецки-превосходно изданном «Петрополисом» томе собрания сочинений.

Вижу его зимой, на вилле «Жаннет», в поздний час у приемника, слушающего радио английское, французское, — ловит военные сводки о боях под Сталинградом, — в памяти возникают Волга, Дон, знакомые места: летние, просторные поля, речные берега, розовые пароходы и рыбачьи лодки, но только теперь зима, там, должно быть, все в снегу, в дыму, идут черные танки, взлетает черными фонтанами земля. — Иван Алексеевич нервно тянется к портсигару, в волнении закуривает папиросу. Волна переходит на немецкую станцию, — немецкий диктор взахлеб на противном всю жизнь Бунину языке что-то явно брешет: мы!., мы! мы!., взяли, сбили, отбили! Как в кинохронике, он видит черные шеренги пленных, замерзших фашистов в бабьих платках, русских валенках, жалкий сброд, подгоняемый немногими русскими в полушубках, касках, с автоматами. Захлебы диктора тем более звучат брехней… Но так же мелькают кадры вдребезги, до кирпичей, разрушенного, обугленного на фоне волжской застывшей глади Царицына (никак не выговаривался — Сталинград), нашим, ясно, тоже доставалось, и это отдавало болью в сердце.

Вижу его ладную элегантную фигуру, затянутую во фрак, растерянную улыбку, оглядку вскользь, — видимо, на кого-то из своих, в толпе таких же офраченных, сияющих господ, мундиров с эполетами и иконостасами орденов сплошь по пузу, женских оголенных или в палантинах плеч, шей, выстроенных причесок. Нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин! Звездный час!..

Вижу его мальчиком, загорелым и синеглазым, влезшим на

корявую ветвистую яблоню, — уселся там, в развилке ветвей, оглядывает простор сада и окрестность: поле вдали, еще далее — голубой лес; облака плывут куда-то, птицы куда-то летят. Куда?..

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Дом на Большой Дворянской, где родился И. А. Бунин.

Воронеж. Большая Дворянская улица.

Иван Бунин. 1887 г.

Елец. Торговая улица.

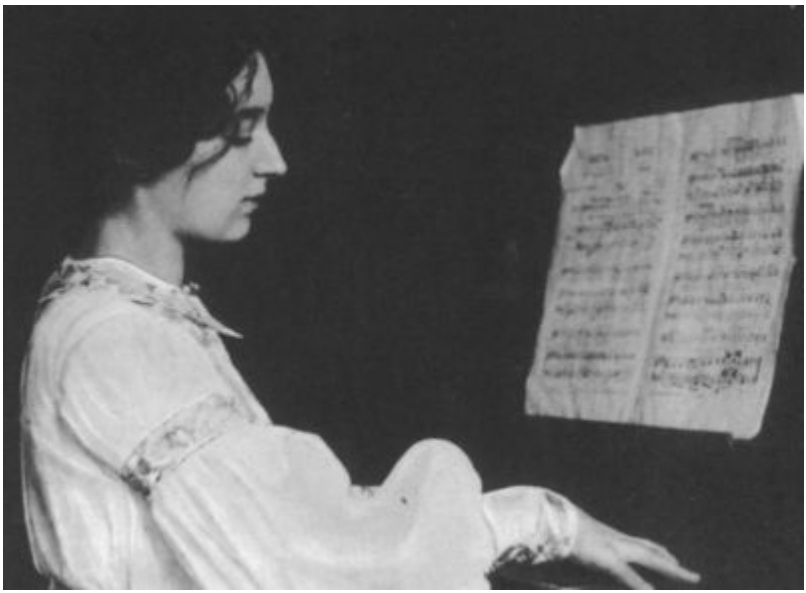
Юлий Алексеевич Бунин.

Орел. Фото конца XIX в.

И. А. Бунин и В. В. Пащенко. 1892 г.

А. Н. Цакни. Одесса, 1898 г.

Сын И. А. Бунина и А. Н. Цакни Николай (род. 30 августа 1900 г. — ум. 16 января 1905 г.).

В одной из квартир дома 44 по ул. Херсонской в Одессе проживало семейство Цакни. Здесь Бунин жил с Анной Николаевной в 1898 г.

В. Н. Муромцева-Бунина за фортепиано. 1907 г.

Москва, книжные лавки на Лубянке. 1910-е гг.

Участники «Телешовских сред» (стоят): С. Скиталец, М. Горький; (сидят) Л. Андреев, Ф. Шаляпин, И. Бунин, Н. Телешов, Б. Чириков.

Москва, Староконюшенный переулок, 32. Здесь долгие годы жил Ю. А. Бунин и часто бывал И. А. Бунин.

Москва, ул. Поварская, 26. Здесь, на первом этаже, в квартире № 2, жили И. А. Бунин и В. Н. Муромцева-Бунина у ее родителей с 26 октября 1917 г. до 21 мая 1918 г.

И. А. Бунин и Л. Н. Андреев.

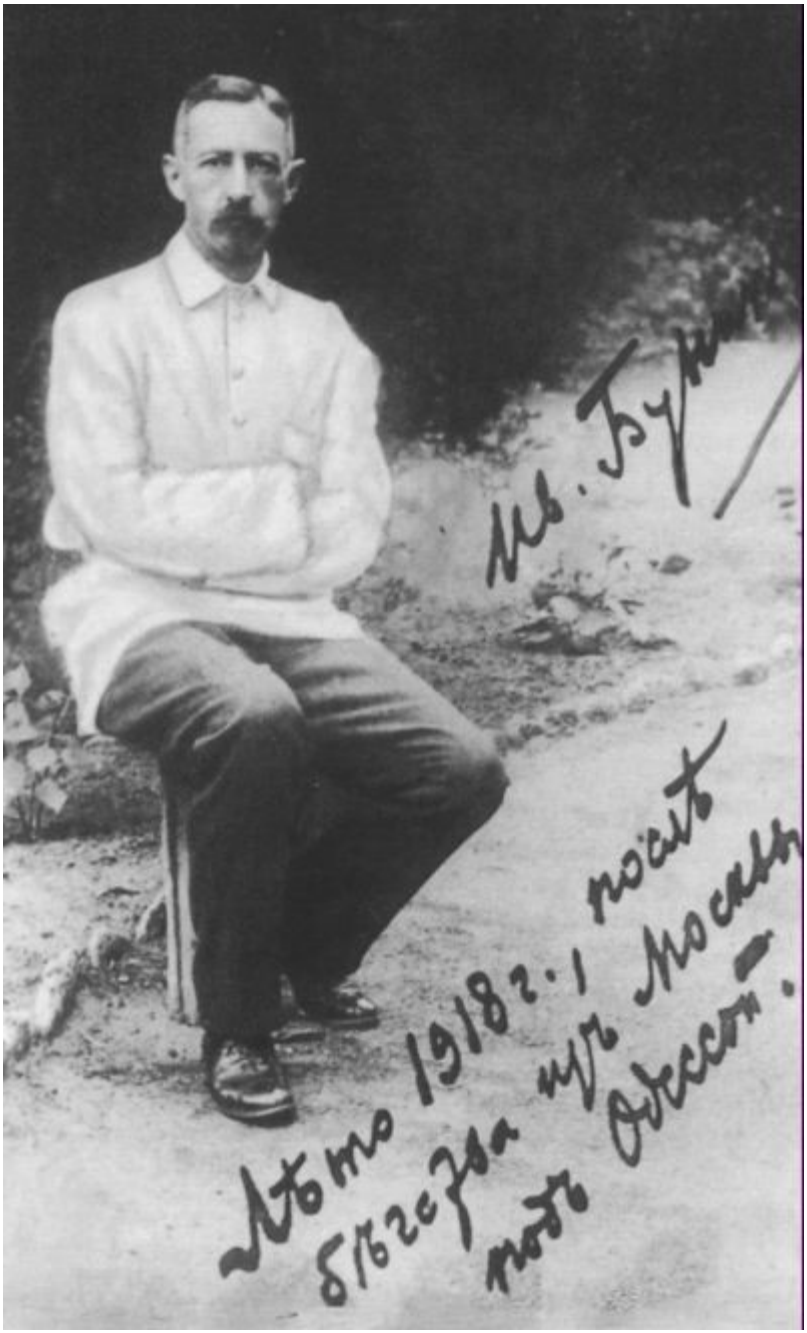
М. Горький.

А. П. Чехов.

Ф. И. Шаляпин.

Вера Николаевна и Иван Алексеевич Бунины. Москва, 1906 г.

Египетский паспорт Бунина.



И. А. Бунин. Одесса, 1918 г.

Портрет Бунина работы Л. Бакста. 1921 г.

Бунин. Париж, июль 1920 г.

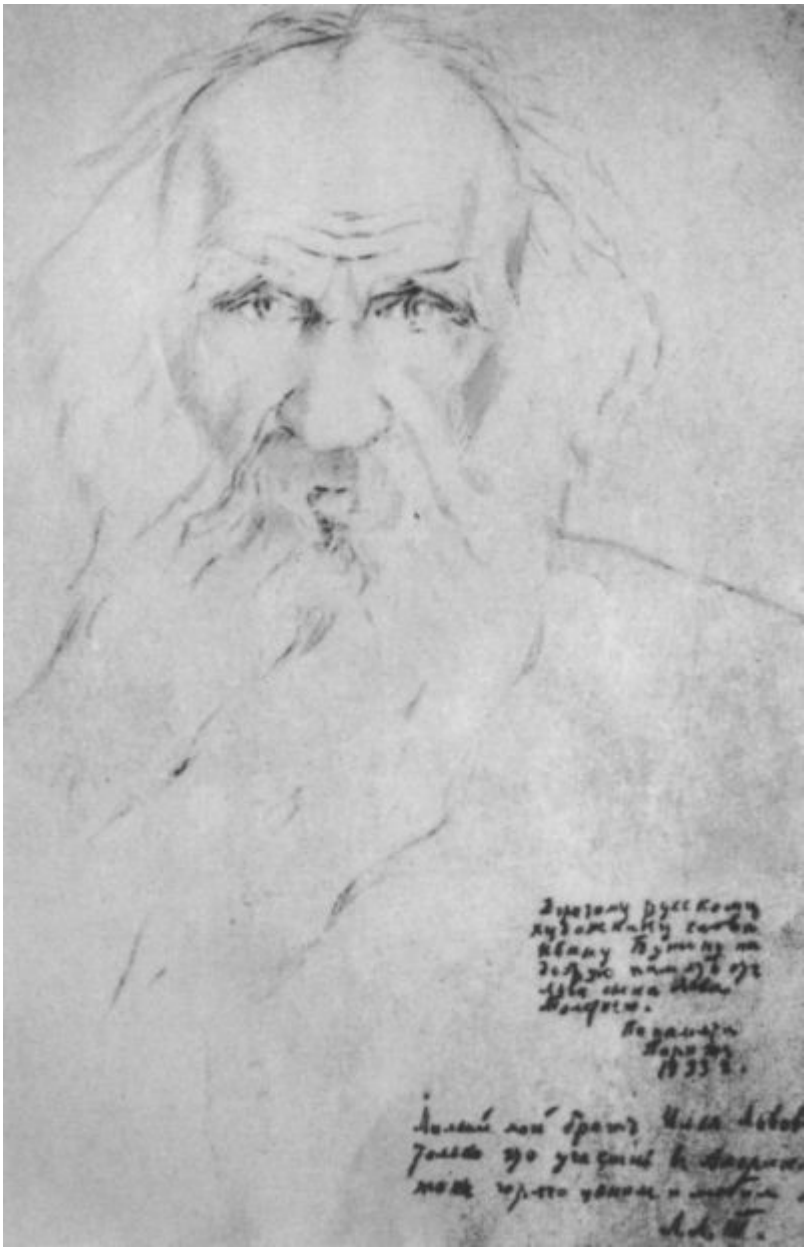
Портрет М. С. Цетлин работы В. Серова. 1910 г.

Дом на улице Оффенбаха в Париже, где жили Бунины с 1920 по 1953 г.

Икона «Иоанн Богослов с учеником Прохором» из парижской квартиры Буниных.

Парижская квартира Буниных. Фото 1961 г.

Слева направо: А. И. Куприн, неизвестный, Б. К. Зайцев.



Портрет Л. Н. Толстого работы Льва Львовича Толстого с дарственной надписью Бунину. Париж, 1933 г.

И. С. Шмелев.

В. Ф. Ходасевич.

Шмелевы и Бунины. 1923 г.

А. Н. Толстой и М. Горький.

К. Д. Бальмонт.

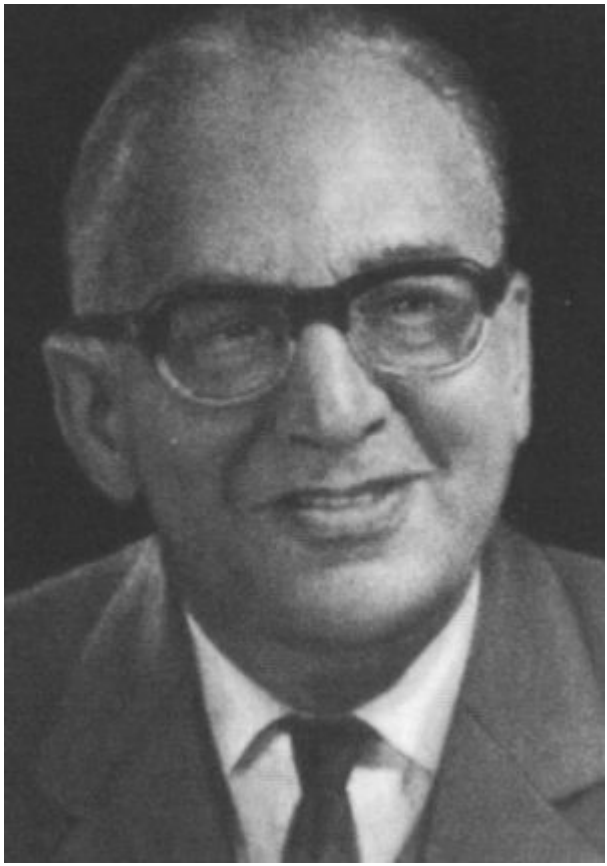
Д. С. Мережковский.

З. Н. Гиппиус.

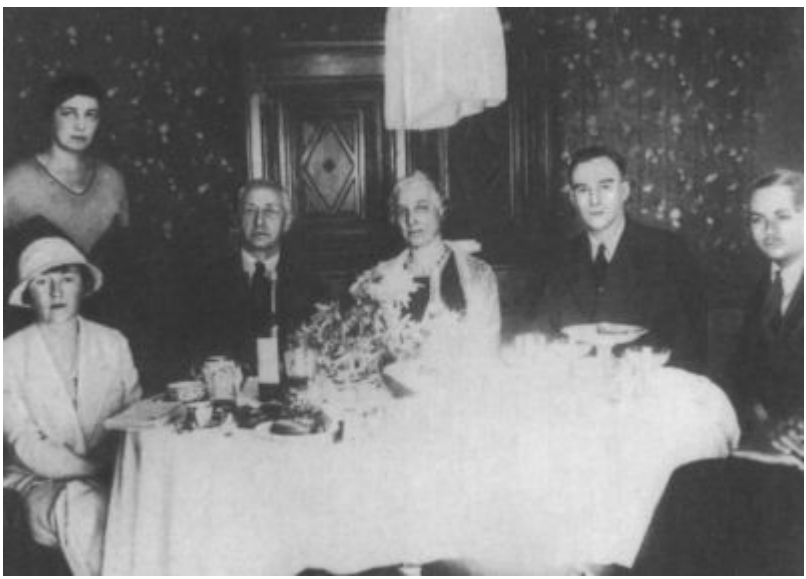
Г. Н. Кузнецова, И. А. Бунин, В. Н. Бунина. Грасс, август 1927 г.

Грасс. Вилла «Бельведер», где Бунин подолгу жил в 1923–1939 гг.

Андрей Седых (Я. М. Цвибак), литературный секретарь Бунина.



А. В. Бахрах, литературный секретарь Бунина.



Слева направо: с и дят княгиня А. Кугушева, И. А. Бунин, В. Н. Бунина, Л. Ф. Зуров, князь А. Кугушев, не виден шведский журналист; стоит Г. Н. Кузнецова. Париж, 10 ноября 1933 г.

И. А. Бунин. 1930-е гг.

Г. Н. Кузнецова. Надпись В. Н. Буниной: «У Гали 10 дек. 1931 г.

Церемония вручения Нобелевской премии. И. А. Бунин в первом ряду крайний справа. Стокгольм, 1933 г.

Слева направо: Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Бунина, А. Седых, И. А. Буйин, «Лючия». Стокгольм, 1933 г.

И. А. Бунин, Г. Н. Кузнецова, В. Н. Бунина, Л. Ф. Зуров. Надпись Веры Николаевны: «После завтрака за кофе 17 сент. 1934». Париж.

Грасс. Департамент Приморские Альпы.

Слева направо: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, М. А. Алданов. Жуан-ле-Пэн, 5 августа 1930 г.

Сент-Женевьев-де-Буа. Могила Ивана Алексеевича Бунина.

Часовня на кладбище Сент-Женевъев-де-Буа, построенная по проекту Александра Бенуа.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

1870, 10 ноября (23 октября ст. ст.) — родился в г. Воронеже, в семье мелкопоместного дворянина Алексея Николаевича Бунина и Людмилы Александровны, урожденной княгини Чубаровой. Детство — в одном из родовых поместий, на хуторе Бутырки, Елецкого уезда, Орловской губернии.

1881 — поступил в гимназию г. Ельца, где проучился четыре года. 1885 — последующие годы живет в елецкой деревне Озерки, учится под руководством старшего брата Юлия. Начинает писать стихи.

1887— в петербургском журнале «Родина» (майский номер) опубликовано первое стихотворение «Деревенский нищий». Огромная радость, «никогда не забуду».

1889 — поездка к брату Юлию в Харьков, знакомство и жизнь с его друзьями-«радикалами», революционерами; приглашение на работу в газету «Орловский вестник»; знакомство и начало романа с Варварой Пащенко; поездка в Крым;

в газете печатает свои статьи, заметки, фельетоны; получает по две копейки за строку; пытается писать драму;

перевел с еврейского подстрочника какую-то повесть «Кляча».

1891 — в типографии «Орловского вестника» выходит первая книга «Стихотворения 1887–1891 гг.». Тираж всего 500 экземпляров. Здесь, среди прочих, было уже то знаменитое стихотворение, которое знают, кажется, все. Им восхищаются, и его запомнил даже Л. Н. Толстой (впервые было напечатано в журнале «Мир Божий», 1889, № 10).

Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осеннем тлея,
Чернеет темная листва.
А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной
Вдали от сел и деревень.
И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,

Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.

письмо А. П. Чехову и посылка ему трех рассказов с просьбой их оценки.

1892 — переезд вместе с В. Пащенко в Полтаву, служба в Управе, сближение с толстовцами, работа бондарем у Фраермана.

1894 — путешествие по Днепру;

в Москве встреча с Л. Н. Толстым, потрясшая его; путешествие по Малороссии с Юлием Алексеевичем. Встреча с крестьянами-переселенцами;

рассказ «На край света», давший потом название книги. Арест за незаконную торговлю толстовской литературой издательства «Посредник». Освобождение по амнистии после смерти Александра III;

уход Вари и разрыв с ней.

1898 — выходит сборник стихов «Под открытым небом»;

встреча с А. Н. Цакни в Одессе, женитьба на ней; рождение сына. Разрыв.

1904 — сборник стихов «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» отмечены Пушкинской премией.

1906 — знакомство с Верой Муромцевой. Весной 1907 г. их путешествие в Египет, Сирию, Палестину. Первая его поездка в Константинополь была еще в 1903 г.

1909 — присуждение второй Пушкинской премии. Избрание Почетным академиком;

зимой на Капри у Горького. Работа над «Деревней».

1910— в журнале «Современный мир», март, напечатана «Деревня»; путешествие по Франции, Алжиру, снова на Капри, затем в Египет и на Цейлон;

смерть Л. Н. Толстого.

1914 — путешествие по Волге. Начало войны.

1915 — в издательстве Маркса — собрание сочинений в шести томах.

1918 — отъезд Буниных из Москвы в Одессу, где живут до 1920 г.

Встречи с М. Волошиным, И. Соколовым-Микитовым, В. Катаевым.

1920 — 9 февраля отплытие на пароходе «Спарта» из Одессы, в которую входила в это время конница Котовского. Прибытие в Стамбул, затем и в Париж, где поселяются на улице Жака Оффенбаха.

1923— начало жизни в Приморских Альпах: сначала на вилле

«Мон Флери», вблизи Грасса, затем на вилле «Бельведер», во время войны — на вилле «Жаннет»;

с 1927 г. по 1942 г. с Буниным живет Г. Н. Кузнецова, молодая писательница (1902–1976), их связывают не только профессиональные, но и интимные отношения.

1933 — шведская академия присуждает Бунину Нобелевскую премию года по литературе. Поездка в Стокгольм, вручение премии.

1945 — в СССР началась подготовка к изданию избранных произведений Бунина — был расчет на его возвращение. Бунин отказался, издание не состоялось.

1946 — в Париже выходит первое полное издание книги рассказов «Темные аллеи»… «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать „Чистый Понедельник“»;

знакомство в Париже с Константином Симоновым.

1947— выходит из Союза русских писателей и журналистов. Эмиграция расценивает это как акт подготовки его к возвращению в СССР. Сплетни.

1950 — издание книги «Воспоминание» с резкими оценками Буниным многих писателей.

1953 — в два часа ночи с 7 на 8 ноября кончина Ивана Алексеевича Бунина.

1954, 30 января — прах Бунина из временного склепа перенесен и захоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где покоится большинство русских, когда-либо живших и почивших в Париже.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1–9. М., 1965–1967.

Бунин И. А. Собр. соч. в 4-х т. М., 1988.

Бунин И. А. Под серпом и молотом. Сборник рассказов, воспоминаний, стихотворений. London, Ontario, 1975.

Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990.

Бабореко А. И. А Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., 1967.

Бахрах А. Бунин в халате. По памяти, по записям. Bagville, 1979. Белый А. Начало века. М., 1990.

Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996.

Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.

Гейдеко В. А. Чехов и Ив. Бунин. М., 1976.

Горький М. Несвоевременные мысли. Статьи 1917–1918 гг. Paris, 1971.

Зайцев Б. Мои современники. London, 1988.

Кузнецова Г. Грасский дневник. М., 1995.

Литературное наследство, т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963.

Литературное наследство, т. 84. Иван Бунин. Кн. 1–2. М., 1973.

Мальцев Ю. Иван Бунин. Fr/M — М., 1994.

Михайлов О. Иван Алексеевич Бунин. Очерк творчества. М., 1967.

Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989.

Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1988.

Розанов В. О писательстве и писателях. М., 1995.

Седых А. Далекие, близкие. М., 1995.

Устами Буниных. Т. 1–3. Дневники. Fr/M, 1977–1982.

Ходасевич В. Белый коридор. Воспоминания. Н.Й., 1982.

Чуковский К. Дневник (1901–1929). М., 1991.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рассказ. БУНИН В ЯЛТЕ

…До чего чисто и спокойно стало вдруг жить! Обломилось наконец все позади, как лед, как свод, обрушилось, обвалилось, и нет назад хода, в пещеру, откуда он еле выполз на свет. И снова можно жить мудро и чисто. И работать. Думать, читать, лениться, стать самому себе настройщиком, склейщиком, смычком. Так жилось только в деревне, в Огневке, когда он оставлял галстуки и крахмальные воротнички, мало ел, совершенно переставал пить, едва разговаривал, часами ездил верхом, был одинок и свободен. Купался на рассвете, мок под быстрыми летними проливнями, перечитывал только самое дорогое — Пушкина, Флобера, Толстого — и делался юношески чист, звонок, иночески приготовлял себя к писанию, приводя себя в состояние сосредоточенное и нежное, в сосуд наполненный, в струну отлаженную, которой только коснись, только дунь слегка, все равно каким дыханием, каким светом, и она отзовется, издаст свой звук.

Да, вот уж повезло так повезло: жить у зимнего моря, опять в Ялте, одному, под дождем и туманом, в самом милом доме на свете, в Белой Даче, у Чеховых, где даже половицы и деревянные ступени, чудится, скрипят о порядочной, сознательной и полезной жизни, жить опять без денег, а потому и без малейшего соблазна и отвлечения, без жены, без семьи и без дома — это уж, видно, на роду ему написано — и день за днем отскабливать, отмывать душу от нагара и накипи жизни, зализывать новую свою рану, открывшуюся там, где и старая еще не заросла, — нет, прекрасно, прекрасно стало, и вот так бы всегда…

Вот так бы всегда! Потому что хватит, хватит, ведь тридцать один год! А что сделано, что успелось? Только жалкая, тысячная доля того, чем он жил, мучился, страдал и думал, перенесена в художество, в искусство, да и то это вторичное, неглавное, еще не свое, не самая его суть и душа — что-то другое. Что бы там ни писали и ни говорили о нем, он-то знает! «На край света», первый его сборник, девять рассказов, — нарочно девять, потому что он всегда чувствует магию чисел: девять, семь, одиннадцать, — «сочувственно встречен прогрессивной критикой». Но как он скуден и слаб, как осторожно-традиционен, да и что в нем? Нищие старики, голодные дети, томящийся на летней даче студент, печальное свидетельство о жалкой людской жизни? Но

об этом все пишут. А Горький или Короленко умеют об этом много лучше, им и карты в руки. А он пережил нищую и горькую свою юность, любовь, смерть, кажется, испытал уже все радости и страдания, и где это все? И недаром его известности хватило на одних литераторов и поэтов — до читателя же, до России не разбежалась еще, не разошлась круговая его волна — мал камешек брошен!.. Писатель разбивает покой вод, и потом идут, идут круги, задевая один за другим все слои общества: бросок короток и быстр, жизни не хватает, камень давно на дне лежит, а круги все расходятся, потом отражается и обратно идет волна, и расходится снова, распространяясь уже в иных временах и поколениях. Так происходит с Гомером, Плутархом, Библией, Пушкиным. Потому что не камешками падают в воду — глыбами, — снарядами броненосца, метеоритами. Потому что не тратят, себя на пустое, не расходуют искру Божью невесть на что!

Нет, довольно, прощай, жизнь! Прощай! Хватит просто жить, безумствовать, пропадать в горячем лоне твоем, испепеляться твоими соблазнами! Прощай, охота к перемене мест, ветер скитаний моих, тоска от одного вида парохода или вагона, запах дороги, тяжесть чемодана в руке, мучительное влечение неведомо куда и трепет ожидания новых встреч… И любовь, прощай, довольно любви, нет больше любви, та обманула и эта, и что ж рыдать в полынной одесской степи, что ж разрывать сердце? Как он плакал тогда, господи, — мальчик! — и хотел убить себя от горя и обиды, да и как не убить: его Варя, пять лет *такой* любви, и вдруг замуж! За друга, за Арсика Бибикова! «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом…» (Что это, как странно, что он теперь, расставшись с Аней, вспоминает отчего-то не Аню, а Варю?) Да, довольно любви…

Но прощай и ты, тайное, мужское, взрослое, животное, непонятное и непреодолимое, нечистое вожделение, ты, измена желтая, смертельная и всегда оставляющая в живых, прощай и ты! Я выдумаю это лучше, чем бывает на свете, потому что это правда, что, «полюбив, мы умираем»… Прощай и ты, страстное увлечение всяким новым лицом, новым местом, ты тоже прощай! Меня тошнит от моей наблюдательности и жадности, я переполнен накоплением — хватит! Надо отдавать, а не вновь и вновь брать с дрожью и жаждой голодающего, без остановки, впиваясь до тех пор, пока не выпьешь до конца, не отведаешь, не раскусишь и не затолкаешь про запас за щеку, как хомяк, как обезьяна. Хватит!.. Ступай и ты прочь, честолюбие, газеты, журналы, издательства, смешные попытки общественной деятельности — тоже довольно с меня провонявших ядовитыми чернилами и дрянным табаком и заготовленными, лживыми,

жаргонными словами редакции, и толстовцев, врущих самим себе (еще анекдот: как он учился бондарному ремеслу у тощего еврея философа Файнермана!), и марксистских кружков (эти считают, что одни пролетарии — люди!), и дамских благотворительных обществ, и пустых интеллигентских слез по бедному, страдающему брату! Чушь! Гиль! Плетью обуха не перешибешь, азиатчину нашу еще двести лет с места не сдвинешь. Да и зачем? Чтобы русское сделалось немецким или американским? Чтобы бедные, но чистые люди обратились в полусытых прощелыг? Впрочем, как хотите. Как получится. Но почему мне надо со слезами и состраданием рисовать вам, передавать голод, лень и подлую униженность какого-нибудь пореформенного Кузьмы, или пьяного мастерового, или босяка-люмпена? Почему их, а не, допустим, себя самого? Вам непременно надо «рассказ», историю: про тупого конюха или про угрызающегося совестью предводителя, изменившего жене с гувернанткою, или допившегося до обнажения своей звериной совести купца? А не хотите про *меня*? Не хотите часть моей души? *Мои* слезы от вида серебряного тополя на закате? *Мою* мучительную любовь к жене, которая, может быть, и одной слезы моей не стоила? *Мое* настроение, когда я плыл в лодке по Женевскому озеру? *Мой* ужас от исчезновения человеческих цивилизаций и великих народов?.. Нет, вы не хотите. «Антоновские яблоки» — это лучшее, что я написал, это *я*, это *мое*, я чувствую. И что же? «Господин Бунин представлялся по преимуществу писателем обиженных и угнетенных, занимался общественными явлениями, а теперь у писателя на первом плане только его настроение, а другие люди — только повод высказать свои чувства, мысли, ощущения…»

Ну и что же, спрошу я? Или поэт должен барахтаться в вашей грязной, кровавой и навозной жиже? Художник, как сказано, спорит кистью, все остальное чепуха. «Хлеб не растет от нашей прозы, не дешевеет от стихов…» Так что в сторону, в сторону! Антона Павловича вон тоже весь век обливают помоями: и пессимист-де, и равнодушен, и уныл, и далек от общественных явлений, и нет, мол, ему дела ни до чего! А кто больше него работает, кто больше него показал вам подлость и ничтожество ваше и сказал, что так жить дурно? Или это от того, что он произносит свой приговор с печалью, а вам нравится пафос? Или вам надо, чтобы Чехов прокламации писал или брошюры по изготовлению бомб? А Толстой? Вам мало его настроения, и своих чувств, мыслей и ощущений?.. Смешно, право!..

И отчего так? Отчего мы должны понимать всех и отчего никто не хочет понять нас? Не говорю о невеждах, но отчего даже тонкие и умные люди не понимают наших страданий и целей?

Хотя бы страданий нашего ремесла: когда пошлыми кажутся все слова, когда умираешь от желания и неспособности передать жизнь, выразить ее, не утерять ни одной молекулы правды. Как? Как? Чтобы сохранить все звуки и запахи, все оттенки заката над морем, каждую минуту меняющего гамму, и горы, и цветы, и людей, каждый из которых энциклопедия? Как не утерять ни запаха дождя, ни шума света, ни голоса воды, ни мысли древа, ни единственности песчинки и множественности Бога?.. Как это сделать, как сказать, кто направит руку? И кто измерит потом пользу гения, его правоту? Его смысл?..

Не спешите, не навязывайте всем и каждому моду времени, Толстые становятся Толстыми оттого, что они всегда *против* общепринятого, оттого, что противостоят, оттого, что нашли *свое*. Ты, братец, кричат, какой-то не такой, не как все, ты куда-то не туда. Надо вот что, а ты вон что! Нехорошо, непонятно… Так напрягите плоскую свою мысль, дайте себе труд хоть задуматься: отчего не туда? Или мало исторических примеров?

Впрочем, что спорить? Надо работать. Работать и вырабатывать именно свое. То, что осозналось теперь. Я пока только яйцо, которое выбрали и положили под наседку. Но пора проклюнуться, оставить скорлупу, выйти на свет. Самому понять, черненький ли, беленький ли. Не то будет поздно. Разве и теперь уже, и еще раньше, не живу я с пониманием того, что есть смерть, с ощущением возможности ее? Там, далеко, в пространстве жизни, в перспективе ее трудно ли различить конец? Но время от времени смерть ведь и просто так бросает свою косу: в кого попадет…

Нет, работать. Пусть самый дух этого места, этого дома благословит и направит. Отныне только уединение, покой, трезвость, схимничество — не ветреный маркиз Букишон, как прозвал его Антон Павлович, не Ванечка Бунин, общительный и расточительно веселый молодой человек, а русский писатель Ив. Бунин. Имя русского писателя высоко в мире стоит.

…Три дня он совсем не выходил из дому, только в сад. Лил однообразный, многодневный дождь. За его пеленой и теплым туманом почти не видно было внизу города и совсем не видно моря. Белая Дача вообще далеко расположилась от моря: на покупку прибрежного участка у Чехова никогда бы денег не хватило. В сырость и туман все равно хорошо было стаивать на крыльце, в пальто внаброску: курить, слушать шум дождя, следить, как струи табачного дыма, особенно медленные и голубые во влажном воздухе, ползут из-под навеса и обрезаются дождем. Изредка по верхней, аутской дороге проскрипывала арба

с запряженным мокроравнодушным ослом и мелькало темное лицо татарина с мешком на голове, надетым углом. Чеховский садовник и слуга Арсений с таким же мешком на голове ходил по саду, поправлял размытые дорожки из морской серой гальки, темной и блестящей от дождя, и большие трехгорлые кувшины, в которые собирали воду, — с водой в Аутке было плохо. Покатый чеховский сад — за ним начиналось старое татарское кладбище — оставался еще молод и гол, никакой куст или дерево еще не могли скрыть Арсения, даже когда он уходил на другой конец сада, к дальней скамейке. В саду жил журавль, но теперь он болел, не показывался. Не видно было и собак. Маша и особенно Евгения Яковлевна, с которой Бунин остался теперь, после отъезда Маши в Москву, вдвоем в доме, если не считать слуг, неожиданно много, доверительно рассказывала о семье, о братьях, об Антоше, о его любви жить вместе со всеми, имением, домом, в окружении животных и птиц. В Мелихове у них тоже были собаки, две таксы. Хина и Бром — чисто чеховское пристрастие к смешным прозвищам, — он вспоминал их по сей день. Странно, как много вообще возился Чехов с собаками, птицами, цветами. Пожалуй, воспитывал в себе эту любовь и внимание ко всякой твари, цветку, букашке. Или просто любил красивое? Видел красивое в движении или морде собаки, в поведении птицы? Здесь, в саду, собрал целую коллекцию роз, мог подолгу глядеть на цветы. И вот жил в саду журавль. Почему именно журавль?..

И как он успевал, как его хватало на это? Может быть, он искал занятия? Ведь жизнь его в Ялте была в сущности тосклива и одинока. Или в этом сказывалась его основательность, унаследованная от отца, «папаши», или тяга к нормальному, не фальшивому? Ведь он был доктор и всегда подчеркивал свой докторский, естественный взгляд на вещи… Он был молод, холост, свободен, но в тридцать лет купил дом в Мелихове, содержал большую семью, занимался хозяйством, лечил мужиков, строил школу, был редкостный хлебосол. Отчего?.. Теперь он был знаменит, довольно богат, болен, глубоко сосредоточен — дом, пожалуй, был необходим, но раньше?.. Да, теперь Чехов — второй, после Толстого, прозаик в России, и уже ходит по Волге пароход «Антон Чехов», и вот можно позволить себе, как сейчас, например, уехать в Ниццу накануне премьеры «Трех сестер». А ему ведь только сорок! Что-то трудно представить себе, чтобы у писателя Бунина через десяток лет тоже был дом, сад, кабинет, собаки. Хотя академиком он к тому времени непременно станет.

Но, может, должно взять пример? Может, именно дом, семейный уклад, гимнастические упражнения по утрам, обеды в

один и тот же час есть самое простое и верное средство для работы? В юности Чехов писал где придется, на подоконнике или краю стола, и, может быть, именно жажда нормальной работы толкала его на устройство, приобретательство, упорядоченность жизни? Разве и мне не хотелось бы дома, имения, семьи, режима?

Занятно, что почти десять лет назад из Орла он послал Чехову письмо с просьбой прочесть два-три рассказа. Это было глупо, разумеется, но знаменательно: Чехов уже был Чехов. И если бы Ване Бунину сказали тогда, что он будет просто жить в доме Чехова!.. Впрочем, и при первом знакомстве такое предположение было бы невероятно! Их познакомили в девяносто пятом году в Москве — был январь, номер в гостинице, суматошная московская зима, — Чехов запомнился простым, приятным, приветливым; стройный, изящный человек в пенсне, с неожиданно глубоким, густым голосом. Но приблизиться к нему казалось невозможным: он существовал в иной атмосфере, она окружала и защищала его, атмосфера Москвы, журналов, славы, знаменитостей, приглашений, успеха. Русская литература уже приняла Чехова в свои ладони, а Бунин и другие еще копошились, как и по сей день, в ногах ее. И никак не найти было в Чехове того, что хотелось найти Бунину: общности судьбы, бедной и провинциальной юности, самообразования и самосознания: за Чеховым уже стояли Москва, Петербург, университет, Суворин, лучшие журналы и театры.

А в следующий раз они встретились только прошлым апрелем — вон висят в саду качели и стоит скамейка из «Дяди Вани», в память об этих прекрасных днях, — и тут быстро и легко, сама собой, возникла та близость, которой он обязан своим нынешним пребыванием в этом доме.

Господи, что тут было апрелем! Сначала театр гастролировал в Севастополе, и Антон Павлович поехал туда встречать их и смотреть спектакли. А четырнадцатого, на Фоминой неделе, они уже были в Ялте, и крошечная Ялта, чахоточная Ялта, степенная и светская Ялта — царскую семью уже ожидали в летней резиденции, в Ливадии, — скучная Ялта была взбудоражена и взорвана появлением молодого театра и нахлынувших по случаю его гастролей знаменитостей.

Грешно, конечно, но Бунин никогда не любил театра и не понимал чеховских пьес, и особенно не понимал, как Алексеев-Станиславский, ставя их, напускает важности и выдает за грустное и значительное то пошлое, что и следует выдавать за пошлое. Чехов, кажется, писал свои пьесы просто так, тоскуя и усмехаясь, и, кажется, стеснялся, что пишет их, и уж во всяком случае имел в виду совсем не то, что «открыл» в них

«общедоступный» театр: можно было поплакать над судьбой плохого писателя Треплева и плохой актрисы Нины Заречной, но как можно было показывать их без юмора! И как вообще можно было извлечь «новые», «общественно-значительные» идеи из пьесы, в которой выведены две актрисы, два писателя, доктор!..

Но, однако, что ни говори и как к этому ни относись, театр действительно был занятен. Существовал он едва года полтора-два, но уже не было, кажется, человека в России, который не слышал бы о нем. И откуда что взялось! Люди собрались на удивленье: таланты. Были и умники. И даже женщины — что совсем поразительно — казались интеллигентны и умны. И сколько свободы, понимания искусства и жизни, непритворного волнения, верности, глубины, хотя слава их, на взгляд Бунина, больше создавалась все-таки вызывающим выбором репертуара: они играли Ибсена, Гауптмана — Чехов особенно восхищался Гауптманом, «Одинокими». Одна физиономия Мейерхольда, игравшего Треплева, сверхинтеллигентная и сверхнервная, как бы вылепленная для начала нового века, уже была вызовом и, кроме того, наводила на мысль, что в эту группу людей отбираются самые интересные и живые человеческие экземпляры.

Бунин был далек от театра, актерство в принципе казалось ему собранием суетного, фальшивого и безнравственного (хоть с ними весело валять дурака), и ему думалось, что есть что-то неловкое и странное в том, что Чехов, серьезный и знаменитый писатель, связал свое имя с театром слишком молодым, слишком «новым», модным. Это было непохоже на Чехова. И думалось, что Чехов сделается смущен, постарается стоять в стороне. Если бы это был Малый или Александринка, то другое дело, а молодые «эрмитажники», демократы, пропагандисты, вокруг которых подозрительно быстро собиралось «все самое передовое и прогрессивное», — это было слишком шумно и бойко для Чехова.

И тем более удивительно было то, что оказалось на самом деле: Чехов был счастлив. Открыто и просто счастлив. И круговорот тех дней доставлял ему, кажется, одну радость. При всей его сдержанности, иронии, подшучивании над театром и самим собой, автором всеизвестных пьес. Общение с театром превратилось в фейерверк и праздник — праздник легкости, любви, понимания, расположенности друг к другу. Настроение у всех держалось прекрасное; завтраки, обеды и ужины не прекращались; шампанского выпили море; старик Артем и молодой Москвин устраивали турниры острословия и остроумия; женщины были красивы, изящны, естественны. И все это на фоне уже по-летнему яркого моря, залитой солнцем набережной, зеленых гор, цветущих садов; Ялта уже наполнилась, гуляла,

фланировала, цвела светлыми кружевными зонтиками и белыми огромными летними шляпами дам. Мужчины также надели светлые сюртуки, офицеры перешли на летнюю форму, сняв шинели. Актеры самого демократического театра тоже, слава Богу, одевались с нормальным изяществом и модою, и, пожалуй, один Горький выделялся в толпе актеров черною крылаткой, сапогами и шляпою, похожей на малороссийский брыль.

Шел бесконечный и беспрестанный разговор, смех, шутки, актерское перебивание друг друга и состязание в побасенках, небылицах, пересказывании оплошностей и оговорок на сцене, и потому каждый завтрак или ужин переходил в новый спектакль, импровизацию. Молодые актеры были неутомимы, неистощимы, казалось, они никогда не спят, способны съесть слона, выпить все подвалы Массандры. Это была первая гастроль театра, Ялту вообще объявили местом отдыха, и деспотически строгий Станиславский не мучил репетициями.

Теперь, зимой, среди тишины и дождя, сказкою казались те дни, и странно было вспоминать и видеть себя со стороны: пожалуй, только дома, среди близких людей, в хорошем настроении, бывал он так свободен, раскован, способен дурачиться, острить, представлять в лицах всякую чепуху; с Москвиным состязались в чтении ранних, смешных рассказов Чехова; копировали актеров, знакомых, трогательного и всем известного в Ялте Исаака Абрамовича Синани, у которого книжный магазинчик на набережной, рядом скамейка — на ней сиживают обычно и возле нее собираются писатели; еще несколько дней назад Бунин зашел к «другу писателей» и тот с благоговением справлялся, скоро ли вернется Антон Павлович… Хохот стоял в Белой Даче, хохот и шум, даже Чехов покатывался со смеху, сбрасывал, по своей манере, пенсне рукой и падал головой в колени и потом, утирая слезы, молил: «Ой, Иван Алексеич, ой, не надо! Умру!» А Станиславский, смеявшийся тоже заразительно и красиво, потом с полной серьезностью приглашал поступить к нему в театр… Веселье переносилось в гостиницу или ресторан, Артем или Москвин торговали у Бунина анекдоты и истории по пяти рублей за штуку, и если оказывался за столом Куприн, то кричал: «Бери, Ваня, бери! Они скоро самые богатые будут!»

Да, прекрасно и солнечно весел был Ваня Бунин! Десять дней почти не спали, встречались с утра, проводили весь день не в одной группе, так в другой, ездили на пикники в горы — Куприн и Бунин верхами; вдруг вспоминали, что нельзя так утомлять Чехова, но вновь съезжались к нему, или он сам звонил в гостиницу и приглашал. В саду, точно мальчишки, кидали камни:

кто дальше, играли с собаками, снова и снова хохотали. Марья Павловна сбивалась с ног, принимая бесчисленных гостей. С ней, как и с Чеховым, вдруг образовались отношения легкие и дружеские, шутливого ухаживания и симпатии, и он уже называл ее Амаранта и Мафа — рассказывали, что так произносил ее имя Левитан, и после него так привыкли в доме называть ее. (Летом, несколько месяцев спустя, вышли траурные газеты с известием о смерти Левитана.) Маша не успевала, и тогда актриса Ольга Леонардовна, «венгерка Книпшиц», как шутил Чехов, женщина смелая, быстрая, умная, повязывалась кухаркиным фартуком, помогала печь, варить кофе, накрывать стол на верхней открытой террасе и, на ходу играя русскую бабу, выпевала: «Да-и чтой-ти, милаи, деится! Норо-дишшу-ти навалило!..»

Но мало театра — собрались еще и писатели, и было одно непреходящее, счастливое возбуждение, почти восторг от участия в этом празднике, от признания, от близости к Чехову и способности чувствовать его радость как свою. То на глазах толпы выходишь, смеясь, из театра с молодыми, но уже известными актерами и актрисами, то вступаешь с ними в кафе к Верне или в ресторан, то едешь на извозчике с бешено знаменитым Горьким, которого за версту узнает всякий, от чахоточного генерала, которого уже мало что занимает на свете, до гимназистки, которую занимает все.

Приехали Горький, Куприн, Чириков, толстый, простецкий, с трубочкой Мамин-Сибиряк, предпочитающий пиво шампанскому, и спокойный, покашливающий Станюкович, и серьезный доктор Ельпатьевский, и милый, тихий Телешов, и лохматый Скиталец, и Лазаревский. Триумфальным было последнее представление «Чайки», чествование Чехова, преподнесение ему адреса, подписанного всеми писателями. А затем, на другой день, прощальный завтрак у Татариновой, на плоской крыше ее дома, под слепящим солнцем.

Разговорам о литературе, искусстве, поэзии, Толстом не было конца. Все находились в опьянении этой столь редкой и славной встречи, счастливо радовались ей, чувствовали ее значение и свое значение от участия в ней, растроганно хвалили друг друга. И, Боже, сколько похвал выпало писателю Бунину! Он, правда, отвечал и острил на свой счет ядовито и зло, ему казалось, будто его утешают в его малой известности по сравнению с иными именами, но все равно было приятно: он и сам знал, что пишет лучше многих. «Что слава, — говорил кто-нибудь, — когда речь идет об истинном искусстве, — слава придет!» И тут же приводились примеры, и туда-сюда катались морскими камешками имена: «А Григорович? А Златовратский? А чем

Эртель хуже Потапенки?» Но все понимали прекрасно, что никому теперь не интересен Григорович, что сам Толстой существует в литературе живым монументом и что общество целиком занимают тот же Потапенко и, конечно, Горький, Андреев, Чириков, Найденов, Вересаев.

Все дружно ругали литературу, как и положено писателям, говоря о ее мизерности, ничтожности, пошлости, отсутствии крупных и настоящих талантов; на все корки поносили символистов, кто-то рассказывал о поэте Емельянове-Коханском, который в один день Москву поразил: выпустил сборник стихов с посвящением — «Мне и египетской царице Клеопатре», а потом вышел на Тверской бульвар в подштанниках, бурке и папахе, а к пальцам правой руки привязал длинные собачьи когти, — был, разумеется, отведен в участок, но слава прокатилась. Все смеялись, вспоминали еще подобные эпизоды, перебирали, кто что пишет, кто не пишет, потом перебрасывались на критику и журналы, на литературную борьбу, схватки «реалистов» и декадентов, и над столом до поздней ночи звучало: «Айхенвальд… подлец Буренин… Скабичевский… „Русская мысль“… Михайловский… Мережковский…» И, конечно же, каждый, как опять-таки водится у писателей, с самым большим жаром говорил о себе…

Взволновал, удивил Горький. Как и следовало ожидать, рассказы о его экстравагантности, вызывающей грубости оказались басней. Или, возможно, в своем «революционном» кругу он таким и был. Но здесь, в Ялте, у Чехова, вблизи подчеркнуто интеллигентного театра, для которого Чехов уговаривал написать пьесу, Горький держался иначе. Он, правда, не менял своего ставшего притчей во языцех наряда: сапог, крылатки, толстой палки, вышитой рубахи, подпоясанной шелковым шнурком с кистями (в том же наряде щеголял Скиталец), и он значительно хмурился, значительно басил и окал и, поплевывая на пальцы, поглаживал рыжие пролетарские усы. Но это — на людях. А у себя дома, на горе, где он снял квартиру, или в часы прогулок, или в портовой татарской чебуречной он вдруг обнаруживал почти экзальтическую чувствительность, нежность, говорливость. Он показал отличную, внимательную память и любовь к рассказам писателя Ивана Бунина — это было приятно, поскольку, бывает, писатель хвалит коллегу с чужих слов, захлебывается, а спроси его, как называется рассказ, — так и уведет глаза в сторону. Горький же все знал, все помнил, глядел с любовью, в увлеченности своей доходя до чрезмерной скромности, застенчивости, уничижения себя, ставя Бунина на десять голов выше. Завидую, повторял, завидую дворянской

культуре вашей, великому мастерству, предкам, — он знал уже, что в роду Ивана Бунина была знаменитая когда-то поэтесса Анна Бунина и сам Жуковский, сын помещика Бунина и пленной турчанки. Горький умилялся и растрогивался до слез, но видно было, что у него много своего, что он напряжен, наполнен и занят своим и одержим этим своим, и глаза его вдруг глядели издалека, из этого своего, и изучали себя, как чуженина.

Ему, любителю придумывать всякие новые сообщества, издания, организации, и здесь явилась идея: снимать писателям квартиры в Ялте, жить вот так, как теперь, дружно и ладно, поддерживая друг друга (все подхватили, много говорили об этом, но, как водится, ничего из этого не вышло), но трудно поверить было, что он сам стал бы жить здесь: его жизнь имела иную географию, иные связи… Его разговоры об искусстве сводились в конце концов к тому, что надо служить прогрессу, что с каждым часом литература расходится надвое, что декаденты — есть порождение страха интеллигенции перед демократией и революцией. (Чехов тоже с брезгливостью говорил о *невоспитанной* русской интеллигенции, но любил повторять: «Ну что вы волнуетесь, все равно через пять лет в России не будет самодержавия». Или: «А через десять лет в России и так будет конституция». Горький судил иначе.)

Впрочем, в те светлые дни до больших споров не доходило, единомыслие, казалось, существует полное: отношение к правительству определилось давно, к интеллигенции тоже, и к крестьянству, и к России, и к Европе тоже. А по поводу демократизма Горького и его деклараций вскоре стали незло пошучивать и острить, когда замечено было его восхищение и смущение Марией Андреевой, самой аристократической актрисой у Станиславского, женой генерала, — она так же находилась в центре внимания и восторгов публики. В мужской компании вслух было замечено директору театра Немировичу, не затем ли он себе таких актрис подбирает, которые лучших в России писателей могут накрепко к театру привязать. На что Немирович тоже весело отвечал, что для хорошего драматурга ничего не жаль.

Да, золотые были дни, бриллиантовые! И возбуждение от всех встреч, разговоров, лиц, спектаклей было такое, что страстно, сию минуту хотелось сделать, создать что-то удивительное, простое и прекрасное, достойное похвалы Чехова, восторга и слез Горького, дружеской и громкой зависти Куприна, когда он тянется с объятиями и кричит, в припадке нежности называя тебя то Ричардом, то Васей: «Ричард! Сэр! Дай я тебя поцелую! Как это у тебя? Стихи-то эти? Что Толстому, говорят,

понравились? „Грибы сошли, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной…“ Бес ты! Гений! Ты был, есть и будешь поэт! Поэт, Ричард! И прозу себе такую выдумал: только что на строчки не разбиваешь. А проза, Вася, — грубая вещь…» И еще любил повторять Куприн: «Две вещи тебя погубят: вино и эстетизм…»

Так хотелось дела, такой ощущался прилив, что в пору было запереться в гостинице или тут же уехать в лес, в глухомань, засесть за бумагу. Но где там! Пришлось вскоре опять мчаться в Одессу, разбираться в семейных делах, потом наступило мучительное лето — Аня, разрыв, ребенок, — потом пошла книга, дали аванс, на эти деньги махнули с Куровским за границу, и снова прорвало облака, был от заграницы восторг, новизна, открытие, путешествие, праздник. Праздник, праздник… А в праздники — не работают.

…Он любил написать рассказ в один присест, в один день, за несколько часов, — как стихи. И если не укладывался, часто терял потом настроение, нить, увлекался другим, и рассказ уходил в гору других начал, набросков — иные лежали годами, ожидая своего часа. Ему важно было настроение, тон, первая фраза, ее гипнотическое действие, и он изводил кипу бумаги, отбрасывая лист за листом с одной этой первой фразой. Он не любил повестей: «он сказал», «сказала она», «глава пятая», «проснувшись на другой день, Никодим Иваныч вспомнил…» и прочее в таком духе. Ему казалось, что всякую повесть можно уложить в полстраницы сжатого текста, пейзаж или портрет нарисовать одной фразой, и было стыдно, передавая свои впечатления и чувства, писать вместо: «я шел», «я увидел», — что какой-нибудь вымышленный Петя, студент, или помещик, или путешественник, шел, видел, любил, страдал. И, наверное, потому эти его центральные герои никогда не выходили живыми, оставались передаточными фигурами, аппаратами, с помощью которых рассказывалось все остальное. Остро хотелось писать о любви, о женщине, и писать так, как пишут об этом художники: открыто, без стыда, — он никогда не мог понять, почему живопись испокон веков получила право на обнаженную натуру, а литература нет, и почему надо скрывать за цезурой или многоточием те мгновения, в которые человек, и особенно женщина, выражает себя с необыкновенной полнотой.

Про него говорили, что он подражает Чехову. Это была неправда. Его литературное ученье и соревнованье лежало в другой области: никто не производил на него такого глубокого влияния, как Толстой. И Пушкин. У Чехова можно было научиться беспощадности: если вдуматься, Чехов был жестокий писатель. Чтение Чехова приносило наслаждение и холодную оценку своих

сил. Чтение Толстого возбуждало, взвивало, застилало голову горячим нетерпением — он не мог прочесть в один раз больше пяти — десяти страниц. И как-то сорвалась у него шутка: «Хочется Толстого за пояс заткнуть!» Не Чехова, не Гоголя, не Тургенева, не Достоевского — Толстого. Потому что никто в мире не писал, как Толстой. Он никогда не вывел ни строчки, подобной толстовской, уж тут никто бы не назвал его подражателем, но только Толстой был Учитель. И был нужен только его опыт, его анализ, его смелость проникновения в собственную душу. В каком-то журнале попалась карикатура: Эмма Бовари с рассеченной грудью и рядом Флобер с ее сердцем в руках, которое он жадно и хищно рассматривает. Толстого можно было бы изобразить с собственным сердцем в руках. И вот в этом была суть науки Толстого-писателя. Чехов же был подобен энтомологу, ученому, он глядел не в зеркало, а в микроскоп. Вивисекция Толстого отличалась от чеховской (да и от всех прочих) тем, что он резал себя самого. И идти надо было этой дорогой, только этой. Если до тридцати лет он лишь чувствовал, что этой, а не другой, то теперь сознал и уверился. Вот почему так мучительно писались и так фальшиво звучали прежние «повести» и так легко и свободно вышли «Антоновские яблоки». Он раскрепостил наконец себя, перестал думать о впечатлении, которое должен произвести, о существующих и обязательных законах. Талант — это мало. Стремление мастера заключено в том, чтобы сделать вещь не хуже других, прежних мастеров. Цель художника — иная: открыть новое, свое, пусть в чем-то несовершенное, странное, но восходящее на новую ступень. «Что талантливо, то и ново», — любил говорить Чехов. Но талантливы Потапенко, Мамин, Мирра Лохвицкая, Баранцевич, и что же?.. Мастером быть мало, *мне* мало… его привычке работать запоем, не различая дня и ночи, ничто не мешало. Он жил внизу, в маленькой комнате для гостей, с низким потолком и небольшим окном, у которого стоял стол, похожий на ломберный. За ним он и писал. Окно глядело в сад, и рядом находилась дверь, которая тоже вела в сад. Кабинет и спальня Чехова, большая гостиная, комнаты Маши и Евгении Яковлевны располагались наверху; отсюда, от комнаты, где поместили Бунина, наверх вела внутренняя деревянная лестница в два марша. В доме было темно и так тихо, что слышно, как стучит будильник у Евгении Яковлевны, — невольно шел опять на ум Чехов, как он живет здесь один месяцами. Не зря Чехов говорил, что в Ялте ему всегда становится хуже, и называл Ялту «теплая Сибирь». И еще говорил, что в Ялте нет музыки, красивых женщин, икры и кислой капусты.

Весь год, с прошлого апреля, упорно шли слухи о его романе

с Книппер — это она, когда Бунин навестил ее в Москве, подала мысль пожить в Ялте, обнаружив знание всех семейных чеховских дел и почти хозяйскую уверенность в том, что это возможно и хорошо, — и, разумеется, с нею ялтинское существование Чехова изменилось бы и из полуссыльного, больничного, вынужденного превратилось бы в иное, яркое и живое. Но за нею стоял театр, который она едва ли оставила бы, и привычка к другой жизни, — интересно, что своею самостоятельностью, современностью, смелостью она напоминала Варю, которая кичилась крайней эмансипированностью.

О Чехове-холостяке судачили всегда много; несмотря на то, что жил он постоянно на людях, ему удивительно удавалось держать в тайне эту сторону своей жизни. Казалось, он вообще не имеет романов, привязанностей, адюльтеров. Только его рассказы, обилие в них женщин, любви и знания женщин, ирония на их счет выдавали его опыт. Фальшь семейной жизни, которую так хорошо чувствовал Толстой, прекрасно ощущалась и Чеховым: его жестокая наблюдательность и трезвость давно лишили его иллюзий. И чрезвычайно трудно было представить Чехова мужем, супругом. Отчего не женился он до сих пор? На это было нетрудно ответить, пожив в Белой Даче, узнав Машу, ее ревнивую любовь к брату: его потребность в семье, в доме, в заботе о нем кого-то близкого и его о ком-то близком и без того всегда была удовлетворена. И неужели он теперь хотел обмануть свое вечное одиночество, с которым неизбежно проходит сквозь жизнь настоящий художник и от которого не спасут ни дом, ни мать, ни жена? От отца Чехову перешло в наследство кольцо с надписью: «Одинокому везде пустыня», и, кажется, он глубоко верил в эти слова, относя их именно к своей судьбе. Что ж теперь? Разве не понимал он, что муж и жена, как говорил Толстой, чаще всего представляют собой не параллельные линии, а пересекающиеся, и женитьба есть как раз точка пересечения, от которой линии начинают расходиться?.. О, уж кто-кто, а Бунин, прожив два года с Аней Цакни, мог бы это доказать!.. В чем же дело? Или просто любовь?

Сам не зная зачем, он кое-что записывал из рассказов Марии Павловны и Евгении Яковлевны — коротко, в записной книжке. Если бы Чехов услышал об этом, наверное бы, рассердился. Но здесь нельзя было не думать о Чехове, хотелось узнать его и понять. Между ними и без того возникло понимание; кажется, давно не встречался человек, к которому Бунин испытывал такую увлеченность и юношескую любовь. Чехов — он видел — при всей своей сдержанности тоже увлекся Ваней Буниным, выделив его среди других и приблизив. Они с наслаждением обнаруживали

друг в друге один и тот же взгляд на вещи, иронию, любовь к одним и тем же явлениям, книгам, предметам, людям. При всей экзальтации и стремительности одного и при всей приглушенности и ровности другого, ни с кем иным, несмотря на разницу в возрасте, нельзя было испытать такой радости общения, остроты, возбуждения. И теперь, когда Чехов отсутствовал, это чувство возникало от его дома, от принадлежащих ему вещей, от заведенного им в доме порядка.

День начинался у Чеховых рано, затемно, в семь часов. Трещал у Евгении Яковлевны будильник, кашлял и потом молился Арсений, зевал и стучал когтями по полу пес Каштан. Пока не уехала Маша, по дому прежде всех слышались ее деловитые хозяйские шаги, голос, похожий интонациями на голос Чехова, металлические и стеклянные звуки с кухни, плеск воды. При Маше неловко было залеживаться, даже если просидел за полночь, и он вскакивал, умывался из кувшина, не зовя Арсения, брился при керосиновой лампе — а за окном еще стояла тьма и шуршал дождь — и одевался тщательно: ни сам Чехов, ни домочадцы никогда не носили халаты, шлепанцы, блузы и прочую домашнюю одежду. При Маше пили любимый Чеховым кофе, теперь же, с Евгенией Яковлевной, чай — Арсений приносил самовар. От раннего вставания, завтрака появлялось чувство деловитости, почти торопливости, словно спешишь, как прежде, на службу в редакцию или в статистическое бюро, где он когда-то мучился над составлением никому не нужных сводок и справок. Этому энергическому настроению был только один выход — за стол. Что он и делал. Тем более что дни подготовительные, когда еще ничего не выходит, переделывается, уже оставались, как он чувствовал, позади, и уже сделался он разогрет — заметками, стихами, чтением по ночам.

Странно, но ему помогало перечитывание себя самого, своих рассказов. Он брал в руки «На краю света» или десятый номер «Жизни», где были напечатаны «Антоновские яблоки», и прочитывал несколько страниц. Ощущение всегда было разное: или очень нравилось — до того, что не верилось, будто это ты написал, или все казалось пошлым и бездарным. Но и в том и в другом случае чтение возбуждало: либо хотелось достичь себя самого, возвращалась утраченная в дни безделья уверенность, либо хотелось, вопреки себе, доказать, что теперь он может писать иначе, чище. То же действие оказывало на него чтение других писателей: хорошая проза взвинчивала, волновала, плохая давала чувство дистанции, впечатление, что стоишь наверху, а она, эта плохая проза, оставалась внизу, позади. Это было важно. Всегда важно верно оценивать себя, чтобы не впасть в постыдное

и смешное гениальничанье и не терзаться мнимым ничтожеством, от которого опускаются руки.

По заведенному порядку обедали у Чеховых в час, он успевал проголодаться, устать, выходил возбужденный и веселый, и Евгения Яковлевна тоже с радостью его встречала, хотя едва ли скука ее мучила. Весь день ее не было слышно, она жила на свете так тихо и деликатно, почти робко, занятая самыми простыми занятиями, что, глядя на нее, тоже поднимался целый рой мыслей о Чехове, его семье, о пути, проделанном им: от мальчика в лавке, купеческого сына, певчего — все братья Чеховы пели в детстве в церкви — до писателя с европейской славой, властителя дум. Маленькая, тихая старушка в очках с железною оправой, с простонародным, чуть азиатским, широким лицом, набожная и слабо-грамотная, всю жизнь мучимая нуждой, произвела на свет детей, особенности которых едва ли могла понять и оценить сама. Все ее дети — не богачи, не дворяне — поднялись на самый верх своего времени, были одарены талантами к живописи, литературе, наделены артистичностью и присущими художникам характерами, со всеми хорошими и дурными чертами таких характеров. Самородство было их счастьем и бедой, их первичность мешала им, они были алмазами. Но не бриллиантами. И среди всех только Антону Павловичу дал Бог способность вовремя отшлифовать себя самого, выгранить, не просто доказать, но употребить в дело свою драгоценность.

Однако общение с его родительницей открывало и некую его тайну, секрет глубокой его задумчивости, сосредоточенности и, возможно, сомнения, которым он мучился. Вот это и хотелось постичь и проверить: причину его перемены, которая сделалась всем заметна, апатичности, отрешенности. Было впечатление, что лицо его постоянно скрыто серым занавесом одной и той же мысли, и только изредка и ненадолго взвивается занавес, и выступает в лице жизнь, веселость, интерес к окружающему. Усталость угнетала его. Разумеется, ему было от чего устать: он написал гору, он трудно жил, его съедала болезнь. Но, кажется, была и еще причина: ему пришлось истратить гигантскую энергию именно на создание себя самого, на то, чтобы понять, кто он и что.

Природа резко обходится с любимыми своими созданиями: в обыкновенную человеческую оболочку, состоящую из таких же, как у всех, рук, ног, шляпы, галстука, она помещает нечто необычайное, доводит концентрацию материи до совершенства, закладывая в мозг задолго до появления человека на свет способность этого мозга к особой деятельности и особому развитию; эти бросаемые Богом искры, эти семена падают на

какую угодно почву. И нелегко дается человеку обладание этим даром. Человек проживает одинаковую со всеми жизнь, становится доктором, поручиком, инженером, купцом, а искра разгорается в нем, мешает, сбивает, пока пожар не охватывает изумленного человека целиком. Не было ли и в Чехове этого недоумения, размышления над случившимся? Иногда, глядя на него, приходила в голову еретическая мысль, что он по сей день не уверился в себе, не успел понять своего значения. Даже чувствует себя не на месте. И уж явно тяготило и всегда было неприятно ему изъявление восторгов, почитание, неудобства известности.

Это раздвоение происходит всегда, и оно неизбежно: на человека и писателя, человека и артиста, человека и художника, человека и общественного деятеля; человек живет сам по себе, а его имя и слава отдельно. Иным это — как маслом по душе, а иным — мучение. Чехов демонстрировал иронию насчет своей славы, любил говорить, что он доктор и больше никто, и если подумать, то для его происхождения и семьи быть доктором уже означало чрезвычайно много.

Важно, важно было довести до конца эти мысли — не из-за Чехова, из-за себя. Чтобы понять себя, найти соответствие между человеком, носящим имя Иван Бунин, и явлением, обозначенным тем же именем. Как часто личное знакомство с писателем вызывает изумление: глядишь и не веришь, что именно этот человек написал то-то и то-то! И так ясно делается, что это Бог водил его рукой!

Вот так, должно быть, и другие смотрят на тебя и не понимают, как это ты, узколицый и язвительный, холодный и замкнутый, пишешь печальные стихи и нервно-взволнованные рассказы. А если бы кто-нибудь прочел письма! Или угадал прыгающий и безумный ритм чувства, часто почти болезненный, и обнаженность мысли, и жадную скорость желаний, и всю странность, и тьму припадков, провалов отчаяния. И бешеную страсть, и вопль, и слезы! «Тихий» Чехов написал «Черного монаха», он же совсем молодым выхватил из жизни «Скучную историю». Как это случилось? Отчего? Кто водил его рукой? А Лермонтов? Почти юношей создавший книгу такой пронзительности и печали, какой не знала литература?

А что же Бунин? Кто он? Какой огонь заключен в материальной его оболочке? Вечное вошло в него или временное? Надо ли тщеславно раздувать пламя или ждать? В чем секрет соответствий? Кто и как растворяет бутоны, румянит плоды, вызывает ветер или штиль? Каким образом и когда на *его* дереве вырастут и созреют *его* яблоки? Или это будут шишки, груши,

шиповник?.. Как бы ни тщился он, ни старался, чего бы ни желал, но вырастет только то, что *должно* вырасти. Но как угадать этот единственно твой плод?.. Так рождается ребенок: твой и не твой, похожий и не похожий, такой, как ты думал, и не такой. Или совсем не такой, мальчик вместо девочки, и наоборот. Но он не может не родиться, не так ли? Вот и ты — носи в себе свой плод, рожай его, там видно будет, что произвел ты на свет. Не мудрствуй, не мучайся — *пиши как Бог на душу положит*. И не страдай, не плачь…

Еще не зная, пригодится ли ему когда-нибудь эта запись, он занес однажды, после разговора с Машей и Евгенией Яковлевной, в записную книжку один свой вопрос и их ответ: он спросил, плакал ли когда-нибудь Чехов, и обе, не задумываясь, ответили, что нет, никогда. Никогда! Это было похоже на Чехова, это было удивительно. Но на самом деле никогда или не видели никогда?..

…Пещера, однако, все еще держала его. Он написал рассказ, несколько стихотворений, и внезапно настроение переменилось: стоило чуть выплеснуться, выпустить пар, и новое беспокойство овладело им. Накануне он ушел смотреть шторм — серо-грязное море вздымалось у берега и ухало, как пушка, ветер мотался из стороны в сторону, рвал с головы шляпу — ветер всегда действовал на него возбуждающе, нервически, а теперь и раздражающе. Он вернулся и не захотел ничего делать, тянуло пойти куда-нибудь, в ресторан, в гости. И это желание было неприятно, словно он сдавался своей лени, праздности — он не пошел. Под завыванье шторма чаевничали с Евгенией Яковлевной, она раскладывала пасьянсы, он читал газеты или, вернее, пробегал их, ни на чем не останавливаясь, ничем не интересуясь, испытывая отвращение к газетному языку и всем новостям мира. Искал только свое имя. И аккуратно складывал потом газеты в стопку, уже довольно большую, их берегли для Антона Павловича, чтобы ему читать, когда вернется.

Оказывается, днем Арсений принес с почты письмо из Ниццы, Чехов писал, что там тепло, ходят в летних пальто, что он здоров, скоро приедет и пусть Арсений ничего не сажает без него в саду. Он кланялся Бунину… И тотчас представилась солнечная, праздничная, богатая Ницца, рестораны, красивые женщины, послеобеденная скука и вечернее оживление в Монте-Карло, где играют в рулетку. И припомнилось, как совсем недавно, три месяца назад, они с Куровским, хотя и галопом, проехали Париж, Вену, Берлин, были в Швейцарии, смотрели в Мюнхене Бёклина, а в Дрездене Рафаэля.

Еще в каком-то письме, раньше, Чехов написал, что поедет,

должно быть, из Франции в Африку, пароходом, — он вообще любил путешествовать и соблазнять этим других. Внезапно, среди разговора, мог сказать: «Послушайте, вы же молоды, здоровы, чего бы вам не поехать на Мадагаскар? Или в Китай. Это же замечательно». И теперь стало вдруг детски завидно: зачем сидеть здесь, работать, когда другие ездят, видят Сахару, пирамиды, крокодилов? Пароход, каюта, новые лица за первым завтраком, мгновенный, изучающий, уже волнующий взгляд… Он сошел к себе, лег и не спал, слушая прерывистые наскоки ветра, панический шум кустов и, как казалось, удары моря, хотя оно было далеко и услышать его было невозможно. И то ли уже во сне, то ли в полудреме ярко увидел себя несколько лет назад: верхом, на закате, после дождя, под который он попал в поле, и ярко осознал, как написать об этом, как не забыть ничего: ни жирной черной грязи дороги, ни зеленой мокрой ржи, ни красной от заката воды в колеях, ни сырости и свежести воздуха, ни своего волнения и любви к этой русской ржи, русской церкви на горизонте, русскому золотому пространству… И если бы не сон, не лень, надо было бы вскочить, порвать, сжечь, бросить все прежнее, стихи и рассказы, и написать один тот закат и зеленую мокрую рожь…

А утром встретило его солнце, и настали, после шторма и ветра, тихие, странно-теплые дни. Море и воздух успокоились. И хотя над горами, над Яйлой, клубилась синяя мгла, и казалось, что там метель и снег, а тучи вот-вот перевалят хребет, здесь, на берегу, спокойно светило солнце и даже чуть парило. Как всегда, под солнцем тотчас обнаружилось, что Ялта и зимой зеленый, теплый город, способный в минуту высохнуть, побелеть, принарядиться, и все ожило в два дня. Еще недавно скамейки на набережной, поставленные так, чтоб сидеть лицом к морю, стояли пустые и мокрые, море дохлестывало до них, а теперь все места были заняты дамами, а вокруг дам вмиг составлялись свои группы, склонялись фуражки и шляпы, шло целованье ручек, расшаркиванье, плыли улыбки и остроты. Публики оказалось заметно много для февраля, особенно военных. Медленно двигались кареты, ландо, коляски, и дешевые «корзинки», и «визавишки»; татарчата разносили газеты, воды и фрукты, каштаны и миндаль, они же стучали щетками по ящикам, зазывая чистить сапоги. Прогулочный пароходик «Гурзуф» объявился у пристани. И совсем по-летнему пахло по набережной чебуреками, кофе, духами и ванилью из кондитерской Флорена и от Верне, где успели вынести столики на летнюю галерею.

И он уже чувствовал волнение, знал, что присядет за одним из этих столиков, спросит кофе и коньяку, и оттого, что будет

чужд праздности, чужд всей толпе, острее ощутит и эту праздность, и солнце, и летний блеск моря. Он помнил свой сон, и зелень мокрой ржи словно охраняла его, и снова что-то происходило с ним, что-то новое, он слышал в себе пульс, нарастающее биение того состояния, которое знал с детских лет и которому никак не мог найти диагноза, оформления словом. Он глядел на молодых женщин и вспоминал Аню — давно ли началась их любовь, давно ли все было, и вот нет ничего. Гречанка, богиня, еврейка, парижанка (девочкой выросла там), а больше всего просто одесситка — Бог ты мой, можно ли так ошибаться, писатель? Она едва кончила гимназию, когда они стали ездить на Ланжерон, гулять, и ее уже жгло нетерпение, желание плотской любви, и она могла теперь носить дамскую, настоящую шляпу, с вуалью в мушках, и вести в поводке собачку, и чувствовать себя вполне дамой, невестой, — они едва не каждый вечер ездили в оперу, ужинали — кефаль и белое вино, — а он, глядя на ее блестящие глаза, рот, волосы, прекрасные руки, мечтал о ней, желал ее беспамятно, рослую, молодую, чистую. Казалось, все складывается счастливо: известная в Одессе семья, достаток, имение, лошади, участие в газете ее отца, Николая Петровича, и все так мило, радостно. И любовь, настоящая любовь, новая и оживляющая, воскресившая его, потому что казалось: Варя все сожгла, все взяла, ничего больше не будет.

Но уже через три месяца начались пошлые и мелкие размолвки, идиотские музыкальные вечера мамы Ираклиди с идиотами-музыкантами и идиотами-гостями.

И пошлые капризы, фальшивые слезы, выспренность, этакая милая лживость, вспышки южного упрямства и одесского темперамента — она насиловала себя, подделываясь под его жизнь, под его серьезность, да и то недолго. Он мог заплакать от счастья, обладая ею, — мир исчезал, жизнь останавливалась, — а она выскальзывала из постели, среди южной ночи, придуманной Шехерезадой, и ела при луне пирожные. И что самое дикое: он вдруг соображал, что она все время помнила, что пирожные стоят на столе.

Кажется, нужно бы убежать сразу, сгинуть, не видеть никогда! Но у любви свой закон: пока не изживется, не насытится, не выгорит дотла, — не расстанешься. Уже все увидишь, все поймешь; уже самого себя будешь готов убить за то, что протягиваешь к ней руки, но все-таки будешь протягивать и будешь кружить, кружить, как зверь, как животное, загипнотизированное одним запахом твоей самки. Нет, все-таки женщины не просто люди или совсем не люди, они существа иные, особые, еще не понятые нами, — как ни мистически пошло

такое ощущение, но что-то верное в нем есть.

Да, он пофланировал, разумеется, тоже и уже был внимателен, как сказал бы Толстой, к тому впечатлению, которое производил, и потом, конечно же, просидел часа полтора за столиком у Верне, в кофейне на сваях над блестящим морем, глядя на гуляющую публику, и пульс не пропадал в нем, делался яснее, и он дразнил его то воспоминаниями, то мыслью о том, как легко вдруг собраться, найти денег и отправиться в Африку. И каждую секунду он возбуждал его, этот сладкий и опасный пульс своею наблюдательностью: ни одна душа не прошла мимо, чтобы не запечатлеться на фотографической пластинке, которую он словно бы вставил сейчас себе в голову, и он холодно и точно запоминал: лакей, похожий на Ницше, с прегустыми усами; сухой старичок генерал в золотом пенсне; священник в черной соломенной шляпе; веселый и хитрый взгляд татарчонка; изысканно одетый мальчик-горбун в сопровождении гувернера или учителя, с измученным и гордым лицом калеки.

И больше всего, и особенно жадно, пряча глаза, глядел он на женщин, плотоядно оценивая едва ли не каждую, разгадывая за их плотными корсетами, длинными платьями и рукавами, за маскировкой их неприступных лиц, чопорных или невинных выражений, степенных походок, деланных движений ту суть, ту истину обнажения, которая была в каждой. С жестокостью и смаком развратника он раздевал их, бросал в постель гостиничных номеров, в закрытые коляски, едущие по ночной дороге до Суук-су, на маленькие безлюдные пляжи; его воображение рассказывало ему о них черт знает что, и он смеялся про себя, представив себе хоть вон ту медленно идущую даму в светло-сиреневом платье, с необычайно умным и важным видом читающую на ходу томик, — судя по размеру, стихов, — какою она, возможно, была еще нынче ночью с любовником или мужем. Бог ты мой, какая ложь! Какая условность и ложь вся наша жизнь! И, как сказал бы Флобер, в наш век проституции менее всех проституируют проститутки — те хоть не лгут!..

Но с другой стороны, разве это гуляние по набережной, светскость, жеманство, это сокрытие истинного не есть также действительно существующее? не принадлежит также жизни? Ведь только мой взгляд на все это, как на ложное, делает это ложным. Остальных это вполне устраивает, не так ли? А если и не устраивает, то все равно это есть, вот оно, передо мной. Есть и будет! Ибо трудно представить себе, чтобы набережная наполнилась вдруг стадом голых людей, давших волю своим подавленным и скрытым желаниям.

Нет-нет, выговаривал он потом себе, возвращаясь пешком в

гору, разомлев и разогревшись от солнца, в легком поту, — нет, прочь соблазны, и солнце, и влеченья. Только не это. Где-то у Гюго, что ли, сказано: желать одну женщину — это опьянение, а желать всех — это уже пьянство. Пьянство, пьянство. И надо сознаться себе, что он уже заделывается таким пьяницей или даже сделался… Но ведь это не похоть, похоть удовлетворить легко. Его манит тайна, его ведет увлечение; что может быть яростнее и веселее этого желания содрать с человека маску, обнажить суть, обнаружить королеву в дворовой девчонке с веснушками, с темными, как выделанная кожа, от беганья босиком ступнями, с веревочками в мочках ушей, а в неприступной, безумно желаемой сотней мужчин королеве найти жалкое, рыхлое, беспомощное, уязвленное, — жеманные рыщанья и «ах, что вы со мной сделали!..». И что веселее или грустнее, и что выше такой победы, такой отгадки!..

Нет-нет, опять тут же удерживал он себя, не теперь, только не теперь. Работать и работать. Слишком много жизни, слишком…

Он аккуратно вернулся к обеду, неожиданно выпил два фужера вина, спустился к себе, прилег и вдруг уснул, как провалился, и проспал часа четыре.

А вечером Арсений принес с почты телеграмму, что приезжает Антон Павлович. Деликатность требовала оставить Белую Дачу — здесь тотчас все засуетились, приготовляясь к приезду хозяина.

…Ночь стояла такая же, как день, тихая, ясная, с чистой и блестящей полулуною над морем, от которой по морю шла яркая, классическая дорожка, с голубоватым и во мраке небом, усыпанным еще холодными, дальними, зимними звездами. Купы кипарисов чернели на этом фоне, и одна их группа совершенно напоминала очертания готического собора. Белые стены домов словно светились среди голых деревьев и вечнозеленых кустов. Шаги звучно раздавались в тесных, пустых улочках. Всюду были сон и тьма, керосиновые фонари не горели, и только в порту как бы висели в воздухе огни и слышался глухой железный звук.

Его вывело на ночную улицу паническое, неприятное чувство, совершенно его измучившее за два-три часа. Он взял первый попавшийся недорогой номер в «Ялте», расположился, разложил вещи, а потом оказалось, что в соседнем номере лежит покойница, внезапно скончавшаяся вчера старуха из Самары. Худенький, болезненный лакей-коридорный, виновато опустив глаза, объяснял, что завтра же покойницу заберут, родственникам телеграфировано, на старуху привезено два пуда льда и прочее. И стало неловко перед этим человеком показать страх перед

покойницей, просить другую комнату, — пришлось только пожать плечами и уйти к себе.

Но, оставшись один, он уже не мог выкинуть старуху из головы. Вот тебе и солнце, и монашество, и башня из слоновой кости! В чужом городе, на чужой постели. Где перебывало столько тел, среди ослепительного вчерашнего дня померла старуха и лежит теперь рядом, через стену, с открытым окном, во льду, и в комнате сгустилась и стоит смерть. Прибраны чужими руками вещи старухи — ее гребенки и шпильки, ее уродливые от подагрических шишек туфли, ее коробочки с помадой, которой она подрумянивала щеки к обеду, ее перевязанные ленточкой письма, ее веер, который она однажды купила в китайской лавочке на ярмарке в Нижнем, куда ездила из своей Самары на веселом летнем пароходе со старшим сыном и невесткой, с их уже взрослыми детьми, ее внуками, студентом-техником Володей и гимназисткой шестого класса Верочкой, как две капли воды похожей на бабушку в молодости… Как прожила старуха жизнь, кого она любила, что вспомнила и о чем заплакала в свой смертный час? Что за дом у нее, что за люди были рядом, в какую она ходила церковь, кого родила, кого похоронила за свою жизнь?.. А может быть, это была одинокая, злая, эгоистическая старуха, весь век копившая деньги, и теперь у нее остался миллион, а она лежит в дешевом номере и похоронить-то ее некому?..

В предсонной, еще нервной полудреме, если сжимать определенными усилиями веки, управлять ими, — он давно этому научился, живя в своем тайном безумии, — родятся наплывы галлюцинаций: лица, лица, лица. Незнакомые, неожиданные, каждое с живым моментальным выражением. Они возникают из ничего, из движущейся тьмы сознания (или надсознания, околосознания, подсознания), проносятся, дрожа на одном месте, и стоит изменить физическое напряжение век или открыть их, отказаться от видений, как они исчезнут… Эта игра завлекала, она пахла сумасшествием, производимое ею возбуждение было изнуряющим. Но не он начинал ее, а словно кто-то другой.

Теперь началось то же самое, и из движущихся под сомкнутыми веками ярких пятен собиралось и вычерчивалось видение живого, весело оскаленного лица — и лишь когда *присмотришься* к нему, понимаешь, что это череп.

Кончилось тем, что пришлось встать, одеться, выкурить папиросу, уйти на улицу. Ненормальное сердцебиение прекратилось, к ногам и рукам вернулось тепло, оставалось только усмехнуться своей чувствительности. Но старуха все равно не хотела уходить: она заставляла связывать ее с сонным и как бы

мертвым городом, с вечным сиянием луны, с небом и звездами. Отчего так верит человек в вечную жизнь, отчего так жаждет ее с самого начала своего существования? Все понимают неизбежность смерти, и никто не хочет забвения. Самое страшное — исчезнуть совсем. Но разве все это, что существует на земле, исчезает бесследно? Разве уносится отсюда и распыляется? Все остается. Горы обращаются в песок, вода в пар, трава в перегной, и разве не прав Восток, поющий, что в глине кувшина звенит душа древнего пьяницы?.. Наша сознательная жизнь, может быть, только лучший и самый прекрасный (или не самый лучший) отрезок нашего вечного существования, веселый и щедрый подарок природы, забава Бога, эксперимент материи, в своем саморазвитии стремящейся от простого к сложному. Самое совершенное создание, радующее ее сегодня, завтра уже кажется хуже и примитивнее, и она отбрасывает его, чтобы двигаться дальше… И вносит поправки в Идеал. Чтобы вдруг не достичь его и, стало быть, не остановиться. В самом деле, отчего природа не боится повторяться, не боится работать и работать, каждый год умерщвляя миллиарды миллиардов жизней и воссоздавая их снова? И разве человеческое общество в своем развитии не повторяет одного и того же, но тем самым, хоть и медленно, не переходит вверх со ступеньки на ступеньку — тоже к своему Идеалу, тоже от простого к непростому?.. Если есть Бог, — то он ученый, лохматый, безжалостный и одержимый. Он ставит опыт за опытом, опыт за опытом и не прекратит этого никогда… Постоим над морем, покурим, подумаем, как показать ему, что трудится он не зря, что кое-чего добился, слепив нас из праха, воды и огня. Пусть улыбнется, пусть блеснет в его глазах счастливая догадка, что он не на ложном пути. Пусть он отметит и запомнит нас, как пик этапа, как белую мышку, которая одна из тысячи подопытных мышек нашла ход из лабиринта… Ночь перемежается днем, зима — летом, жизнь — смертью, а зло — добром. Человек и ничтожен, и глуп, низок и коварен, и человек высок и мудр, прекрасен и бесстрашен. Человек заслуживает внимания. Все в человеке заслуживает внимания. Как любит говорить Чехов, для писателя, как для химика, ничего грязного в природе нет.

— Значит, бежали, не вынесли соседства покойницы? Смельчак, смельчак!..

Чехов прищуривал глаза под пенсне, посмеивался, потрагивая пальцами левой руки аккуратно бритые усы и бороду с заметной в них сединою, сбоку иронически поглядывал. Лицо его было свежее и слегка загорелое. В правой руке он держал новенькую

трость, которой на ходу отодвигал к краю дорожки попадавшие под ноги старые листья, стручок акации, кипарисовую шишку. Пальто на нем было также новое, светлое, заграничное, отлично сшитое, и шляпа новая. Вообще при всей его обычной, ровной сдержанности, покашливании, замедленной походке, иронии ощущалось в нем много нового и даже чуть чужого — сначала подумалось, что то обычное возбуждение и чувства открытия и сравнения, с какими всякий человек, и особенно русский, возвращается из-за границы. Но нет, здесь было нечто большее.

Они прекрасно и долго завтракали на застекленном балконе, залитом солнцем, — том самом, куда ведет дверь из столовой, — пили кофе, некий особый сорт, который Чехов, как он рассказал, купил у старика алжирца в Ницце. Выпили шампанского — Чехов совсем немного. Евгения Яковлевна, принаряженная, с кружевным белым воротником, с радостью и любовью глядела на сына, и Чехов отвечал ей мягкой улыбкой, называл мамашей, а встав по своему обыкновению среди завтрака из-за стола, чтобы походить, наклонился и легко поцеловал ее в голову — это было знаком уж совершенной его размягченности и счастливого состояния. С тем же выражением обожания встречали Чехова Арсений, кухарка Марьюшка, а пес Каштан выделывал такие прыжки, так вилял, распластывался по земле, крутился у ног, взвизгивал и лез целоваться, что Чехов, оберегая пальто, даже прикрикнул на него. И теперь, когда шли наклонной дорожкой по саду, Каштан тоже летал, как безумный, уносясь в конец сада и возвращаясь снова под ноги хозяину. Как ни странно, о покойнице и своем ночном страхе Бунин рассказал шутовски, в смешных тонах, не привнося в рассказ ни одной из тех тревожных и торжественных мыслей, которые родились ночью, и это, вероятно, уже было влияние Чехова, или нового солнечного дня, или радости встречи, — Чехов сам позвонил утром по телефону, и тот же коридорный, еще более, чем вчера, смущенный тем, что постояльцу звонит, оказывается, сам Чехов, прибежал и разбудил стуком в дверь.

— Вот будете знать, как убегать из приличного дома в ночлежку, — Чехов продолжал шутить, — жили бы, а я уж постарался бы не стеснить…

— Да нет уж, Антон Павлович, благодарствуем, я не люблю, когда у меня в кабинете накурят, наболтают, а то еще вино примутся пить, это не по мне…

— А вам зачем кабинет? Вы, может, писатель, повести пишете? А я думал, вы у нас проездом из Франции, господин маркиз…

Так, пошучивая, выражая таким образом радость от встречи друг с другом, они прошли по саду — Чехов наклонялся к

каждому утепленному рогожей кусту роз и уже окопанным Арсением деревцам — и сели на скамью на самом солнце. Чехов положил ногу на ногу, постукивал тростью по носку желтого, легкого полусапога, глядел молодо, даже с озорством и улыбался.

— Вы просто-таки жених, Антон Павлович…

— Да? — он повернул голову почти поспешно, но с тою же улыбкой и насмешкой в прищуренных от солнца глазах. — Я вообще раздумал, но коли вы станете уговаривать, пожалуй, женюсь. Не станете? А зря. На немке лучше жениться, чем на русской, немки аккуратны, по крайней мере младенцы не будут ползать по дому и бить ложкой в медный таз…

Вот оно что! Вот отчего он так странно возбужден и нов, — видно, у них с Книппер все решилось. Неужели? Неужели он все-таки сделает это? Но зачем? И с языка едва не сорвалось вслух: зачем?

Чехов глядел весело и умно, все понимая, продолжал улыбаться и едва ли не с вызовом постукивал тростью: мол, вот так-то, батенька, сам знаю, что ни к чему, но вот так вот.

— Пойдемте с солнышка, — он вдруг легко поднялся и покашлял, — что-то совсем по-весеннему припекает. И не глядите на меня так жалостно, будто хороните. Выпейте лучше еще шампанского да расскажите, что нового, что вы поделываете. А умру я, Иван Алексеич, — он дотронулся до лацкана пальто тоже вставшего Бунина, — еще не скоро, лет через шесть…

Этот солнечный день оказался последним в короткой февральской оттепели. Ночью опять волновалось море, — теперь, в «Ялте», шум его слышался рядом, — утром повалили через Яйлу синие тучи, и вся последующая неделя была хоть и тепла, но пасмурна, с долгими дождичками, ветрами до середины дня, ранними сумерками.

Каждый день он бывал у Чехова. Или с утра до обеда, или с обеда до позднего вечера, а то и весь день Чехов шутливо-театрально прикладывал ладони к груди, с поклоном просил: «Не покидайте, Иван Алексеич, посидите, давайте еще о литературе поговорим…» — и смеялся глазами, насмешничал, словно снимая шуткой все то серьезное, о чем они еще час назад говорили. А говорили все время о важном, радостно обнаруживая опять друг в друге одинаковый взгляд на литературу, на писателей, на законы и задачи искусства, — эти разговоры действовали так возбуждающе, порождали такую уверенность, что потом он едва не бегом бежал в гостиницу, к столу, чтобы тут же сесть и работать. Но все написанное казалось пустым и скверным, странно-мелким, кукольным, и оказывается, надо было не писать, а думать. Думать, как писать. Как и что.

Чехов не работал тоже. Только раз или два он застал его в кабинете за его большим, очень аккуратным и чистым столом с моделью яхты и цейлонскими статуэтками: сняв пенсне, с лицом озабоченным и вдруг усталым, Чехов что-то писал в книжечку, и однажды показалось, что запись там шла столбиком, — может быть, это была запись расходов и приходов, долгов и прочего. Это могло быть: Чехов хоть и никогда не произносил ни одной жалобы или сетованья о деньгах, но часто говорил, что сколько стоит, знал цену пуда картошки, бутылки вина, номера в гостинице.

— Входите, входите! — он тут же вставал от стола, едва ли не с радостью оставляя свою запись, выражение его менялось. — Это я разбирал почту, все идут восторги о «Трех сестрах». (В конце января, еще до приезда Чехова, в Москве была премьера, и теперь действительно шел поток писем и телеграмм об удаче спектакля.) Вот вы молодец, не любите театра, не хотите пьесу писать, а я совсем развратился театром…

И они сразу же надолго заводили разговор о театре и прозе, о современной драматургии, о той или иной книге.

Часто толчок такому разговору давали газеты — бывало так, что Бунин заставал Чехова за чтением газет, в кресле, у широкого итальянского окна, верхняя часть которого состояла из цветных стекол, — и тогда принимались читать вместе, передавая газеты друг другу, отыскивая в них статьи и рецензии об искусстве. О Чехове писали много, но большею частью неверно и глупо, его это смешило или раздражало. «Опять пишут, что я нытик, ну что ты с ними будешь делать!»

Странная для писателя вещь, но Чехов почти никогда или очень мало говорил о себе, о том, что он делает, как оценивает сделанное. Тем более странная, что Бунину каждую минуту хотелось говорить об этом, и как он ни сдерживался, но говорил. И, конечно же, рассказал однажды горячо и убежденно, что писатель должен уметь отрешиться от всего, перестать жить, замкнуть себя, заключить почти в камеру, как это делал Флобер в Круассе или Толстой в Ясной Поляне. Или соблазны жизни, или соблазны работы, или — или. Чехов слушал серьезно, не перебивая, но по одному его взгляду за окно, на вытянутые под ветром в одну сторону верхушки акаций, вдруг можно было догадаться, что такого он не понимает. И стало почти стыдно. В самом деле. Чехов почти двадцать пять лет работает как вол, ему просто некогда было растрачивать себя на учение бондарному ремеслу, на многолетние испепеляющие романы, на скитания, истерики, метания то туда, то сюда, на бесплодное самокопание, самовозвеличение или самоуничижение. Это не его проблема,

такого он просто не знает.

— Да, конечно, — ответил, однако, Чехов вежливо и чуть улыбнулся, — какой же врач без практики? Писатель должен сидеть за столом и писать…

И от этих простых слов впору было покраснеть.

Чехов, впрочем, не забыл разговора и через день или два вспомнил о нем в такой форме:

— Вот вы говорили недавно: жить или не жить…

И затем, перейдя на свойственный ему ненавязчивый, но наставительный тон, сказал так:

— Вы, Жан, чрезмерно волнуетесь тем, что делаете. Что и как выйдет. Тщеславие необходимо художнику, но чрезмерное может только повредить. Не торопитесь. У вас уже все есть. Вы хороший писатель, ей-богу, об этом уже не надо волноваться. Вы пишете слишком емко и густо, у вас рассказы как двойной бульон, я вам уже говорил, на мой вкус это немного тяжеловато, и вы слишком увлечены изобразительностью… Но, может быть, так и надо, может быть, в этом то ваше, то неповторимое, что делает художника художником. Не держите себя за руку, не исследуйте тут же написанное, не приходите в отчаяние от того, что пейзаж или лицо вышли не так, как вы хотели. В другой раз выйдет лучше. Простите, но мне кажется, что вам всякий раз хочется шедевра (у Бунина похолодело в груди от этих слов), но нам с вами, пишущим мелкие повести и рассказы, невозможно писать шедевр за шедевром. У Мопассана и то шедевр попадается на двадцать — десять вещей, не так ли?.. Вы хотите переменить свою жизнь, но разве не она дала вам то, что уже есть у вас? И главное, у вас есть преданность правде и искусству, это самое важное…

Он помедлил, покашлял и все-таки, не выдержав долго серьезного тона, закончил шуткой:

— Я вот старичок, поживу, а вы поработайте…

Похвала Чехова и его оценка были приятны, но разве Бунин сам уже не знал того же самого о себе и разве не догадывался именно о таком мнении Чехова? Да, в какой-то мере. И все равно из ума долго не шли и бесконечно повторялись, теша самолюбие, слова: «Вы хороший писатель, у вас уже все есть…» И снова от этой радости хотелось сидеть и писать. Остаться все-таки одному, ни о чем не думать, ничего иного не желать.

Как прекрасно было общение с Чеховым! Как радостно и необходимо! Однажды он вдруг увидел это со стороны и подумал: отчего бы не написать такой рассказ или повесть? Как среди царства бездарности, среди наводнения пошлости, поднимающегося все выше, среди писателей-политика-нов, писателей-евнухов, писателей-лжецов, подлиз, мракобесов,

проституток, торгашей, спекулянтов и выскочек вдруг отыскиваются двое, которые находят друг друга, друг друга понимают, одинаково рыцарски смотрят на дело искусства и в каждом слове будто клянутся один другому в верности правде. Одинокий нашел одинокого, потому что может быть одиночество печального человека и одиночество веселого и потому что неизбежно одиночество тех, кто среди общего хищничества и продажности сохраняет пусть наивные, но проверенные вечностью принципы. Я боюсь жизни и своей любви к искусству, потому что я ведь, в сущности, никого и ничего на свете не люблю так, как это, и уже ничему не отдаю столько, как этому. А Чехов? Разве четвертью века работы он не отстранил, не отгородил себя от тех радостей, что доступны каждому смертному? И не есть ли то личное, простое, что он затевает теперь, только испуг, что он так и не узнает в жизни радости?.. Сидят два человека в маленькой Ялте, среди огромной страны, у зимнего моря, ведут безумные и бесполезные, на взгляд любого нормального практического господина (или мужика), разговоры, наивно верят, что слово — тоже дело и что потому слово способно помочь человечеству. Странно, смешно. Но как прекрасно!

С юношеских лет была мечта об Учителе: чтобы иметь рядом такого человека, советчика, проверщика, к которому можно было бы принести полстранички, начало, даже несколько фраз, рассказать замысел, поделиться восторгом или гневом прочитанного. Когда-то эту роль отчасти выполнял брат Юлий, потом Варя, которая ревниво читала всякое его стихотворение, но и все. Да и то перед ними он выступал скорее как законодатель, как писатель перед читателями, они ценили уже готовое. И, по сути, он все в жизни сделал сам. А ведь сколького можно было избегнуть, не изобретать изобретенное, миновать приготовительные классы, на которые ушли годы. Пожалуй, теперь Учитель и не был нужен. Но тоска по такому человеку осталась, она никогда не была удовлетворена, а ведь и старики с завистью глядят на игрушки, которых у них не было и которых так хотелось в детстве!..

Все кончилось неожиданным и странным образом, почти насмешкою над всеми планами и идеями затворничества и отрешенности. В тот день они много гуляли по Ялте, погода была хоть и пасмурная, но сухая и теплая. Взяв извозчика, поехали наверх, к кладбищу, откуда открывался широкий вид на город, море, Ливадию. На серое море падали поля неяркого света — далеко, у горизонта; по склонам гор уже стоял весенний цветной

дым просыпающейся растительности, а белую Ялту, словно торт, украшали темно-зеленые свечи кипарисов. Русское богатое кладбище с дорогими надгробьями, скульптурными скорбными ангелами, нарядными оградами поместилось на самом обрыве, на покатом склоне, среди кипарисов и сосен. Оно было невелико, но содержалось в торжественном порядке, на редкой плите не лежали свежие розы. Увлекшись чтением эпитафий и думая о том, как и в этом жанре легко обнаруживается пошлое или талантливое, Бунин не заметил, как Чехов вышел за кольцо оград, сел на лавку, стоящую у самого края обрыва, лицом к морю. Он сложил руки на набалдашник трости, согнувшись, упер в них подбородок, смяв бородку. Когда Бунин приблизился, лицо у Чехова было серым, губы бескровны, веки прикрыты — он, видно, устал. Услышав шаги, он открыл глаза, но позы не переменил, и Бунин почти смешался, увидев, как холодны, строги и глубоко умны его глаза. Никакой иронии, ни капли шутки, одна пристальность и почти жесткость, совершенная трезвость. От такого взгляда брала робость, он, словно отточенным топором, отсекал все моментальное, милое, приятельское, оставляя Чехова одного, с самим собою, в его чистом виде, недоступном и скрытом.

Уже через мгновение это выражение исчезло, уступив место обычной легкой улыбке, но позабыть его было невозможно, и осталось неловкое чувство, словно ты подсмотрел, подслушал, увидев Чехова наедине с собою, узнав его тайну. И пришлось перед ним, перед Чеховым, прибегнуть к маскировке учтивости, отводя глаза, спрашивать, не устал ли он и прочее. Захотелось уйти, не мешать. Но Чехов и теперь не отпустил его, с тем же извозчиком они вернулись в Аутку обедать.

Едва войдя в дом, Чехов спросил, не было ли телеграммы или звонка с почты, — уже два дня, по некоторым признакам, можно было понять, что он ожидает приезда Ольги Леонардовны: Арсений по три раза на дню ходил на почту, а из оранжереи привезли корзину роз, которые расставили в вазы по комнатам. Ожидали и возвращения Марии Павловны, ее очень не хватало все это время, с приезда Чехова. Чехов спросил телеграмму, и она действительно была, лежала на столе в кабинете, и он быстро прошел туда один, а Бунин отстал и свернул в столовую к Евгении Яковлевне.

Через пять-шесть минут Чехов вернулся, и усталость словно сошла с него: он вошел умытый, в другом сюртуке, с веселым лицом. И во весь обед был оживлен, легок, хотя ел мало. И потом не хотел отдыхать, едва отпустил Бунина, а уже в дверях, прощаясь, вдруг придумал, что надо пойти ужинать в ресторан, —

он любил рестораны, любил угощать, брать самое дорогое и вкусное.

И на самом деле, в девятом часу вечера они вошли в «Россию» (и с ними Елпатьевский), и Чехов по-прежнему выглядел возбужденным и свежим, хотя Елпатьевскому признался, что после Франции в Ялте ему как будто хуже и мучают перемены погоды. «Мне в Ялте всегда хуже». Они вошли и тут сразу увидели знакомое лицо: Варвару Константиновну Харкевич, начальницу женской гимназии, обожательницу писателей, но, впрочем, женщину милую, пылкую искренне и неглупую. Она и теперь была в компании двух молодых поэтов, одного — длинноволосого и с нестриженой бородой, а другого — в клетчатом английском костюме и с трубкой, — впрочем, значительность и развязность того и другого вмиг растаяли, как только их представили Чехову и Бунину: они вскочили и вытянулись, как гимназисты или юнкера, почти до неловкости.

А четвертым лицом в их группе оказалась молодая, тонкая дама в темно-бордовом платье, с черными, смелыми глазами, чуть длинноватым насмешливым ртом, притягивающей неправильностью лица — как раз тот смуглый, худой, азиатский тип женщины, который всегда нравился и действовал на Бунина, заставлял вздрогнуть, как выстрел. И пока поэты стояли, а Варвара Константиновна пылко выговаривала им с Чеховым: «Ах, бессовестные люди, совсем забыли, совсем пропали!..», а Чехов отшучивался, что путешествовал в Африке и долго лечился от укусов крокодилов, Бунин и эта неожиданная Юния Федоровна — так представила свою подругу Харкевич — обменялись одним, другим, третьим взглядом, чувствуя моментальный, смелый и сразу обещающий что-то интерес друг к другу.

Она ничуть не была смущена, или польщена, или открыто восхищена знакомством с писателями, не сказала тут же: «Ах, я читала!..» или какой-нибудь иной пошлости, и это свидетельствовало либо о том, что она привыкла к такому кругу, либо о ее естественности и нормальной женской уверенности в своей собственной значительности. Как бы то ни было, он поймал себя на том, что отошел от их стола уже чуть иной походкой, с тайной улыбкой, и оглянулся потом, и пожалел, что им накрыто в кабинете за парчовой занавеской, откуда нельзя видеть Юнию Федоровну.

Впрочем, он нашел предлог выйти — и один раз, и другой, и Чехов сказал: «О, Жан! Кажется, мы вас потеряем нынче…» — и он не сумел удержать смущенно-победоносной улыбки. А часа через полтора бородатый поэт, а за ним и «англичанин», уже весьма пьяные и путаясь в занавеске, твердя извинения, пришли с

бокалами, чтобы выпить за «гениев нашей литературы»; и Варвара Константиновна пришла за ними, чтобы не мешали, но сама присела с Чеховым, а поэтов пошел проводить назад Бунин, но один быстро устремился в уборную, а лохматый стал заказывать шампанское, чтобы еще немедленно выпить с Буниным. И он остался с Юнией Федоровной на две-три минуты наедине и, уже смелый от хмеля, уверенный в ее интересе к себе, в ее смелости и опытности, сказал, что готов завтра хоть с рассвета быть у Харкевич, что как это он не знал раньше и отчего ни разу не встретил ее на набережной и прочее. «Я проездом, — отвечала Юния Федоровна, — только на три-четыре дня, на послезавтра у меня уже билет на пароход». — «На пароход? — Сердце так и заколотилось. — Куда же?» — «До Одессы, а там поездом до Харькова, я живу в Харькове». — «Бог ты мой, так возьмите меня с собой, мне тоже надо в Одессу». — «Я бы взяла, — она засмеялась, — да вы ж не поедете». И тут вместо ответа он быстро взял и поцеловал ее руку — узкую, темную, с несколькими дорогими кольцами. И упаси Бог, чтобы что-то показалось ему пошло, или скучно, или уже известно, — все было ново, она поразила его. И тут же он легко, стройно поднялся, потому что к столику уже двигался бородатый, а за ним официант с серебряным ведерком, из которого торчала голова шампанского. «О!» — сказала Юния Федоровна, как бы еще шутя, но, должно быть, тоже пугаясь его пылкости, серьезности и волнения, от которого он, наверное, даже побледнел.

…И все. Бумаги и книги без сожаления были брошены в чемодан, тихая Ялта пошла в полный контраст с охватившим его нетерпением, к Чехову все равно приезжала жена, — ему тоже некуда и нельзя было устраниться от преследования живого, страстного и нежданного. Чехов легко поверил во внезапность отъезда, потому что и до того Бунин часто говорил, что пора ехать, — и только просил возвращаться, не сидеть в Одессе, если там покажется плохо. «Да, разумеется, я вернусь…» — отвечал он Чехову почти рассеянно.

И был пароход, совсем пустой и медленный, частые его гудки в тумане, три часа качки под Севастополем, его каюта и ее каюта, их ужин в пустом корабельном ресторане, их прогулка по Севастополю, гуляние по мокрой палубе, ее долгий ночной рассказ о себе, о муже-полковнике, об умершем ребенке, о другом офицере, который ее любил и застрелился двадцати четырех лет из-за карточного проигрыша. И была их короткая любовь и преданность друг другу, любовь, которая, как и бывает в таких случаях, умеет все свои стадии уложить в три дня: и нежность, и непонимание, слезы, и ревность, и все остальное. Была та свобода

и безумье ласк, которых он и ожидал, — все равно больше не встретиться, — красота и молодость ее тела, ее распущенные волосы, утренний пеньюар, запах ее духов, ее длинные серьги на ночном прикроватном столике, ее утомленное и еще похудевшее лицо. Было превращение шутки в печаль, приключения в жизнь, женского в человеческое, случайности в судьбу, телесного в душевное. Было то, что все равно оставляет шрам на сердце, — он никогда не боялся отдать его в женские руки, пусть на три дня, или на день, или навсегда. Было то, за что он потом, спустя еще два дня, проклинал опять себя и презирал и о чем затем, в долгие годы своей жизни, он и написал лучше всего…

1968

Дм. Черниговский «СОВЕТСКАЯ ХРОНИКА» ИВАНА БУНИНА

Здесь впервые публикуются уникальные секретные материалы бывших КГБ СССР и МИД СССР, ныне — архива Службы внешней разведки РФ и Архива внешней политики РФ. Как удалось их обнаружить и рассекретить — сюжет для отдельной книги. Историческая значимость этих бумаг не столько в том, что они документально восполняют хронику жизни русского писателя-классика (разрушая при этом множество нелепых обывательских слухов). Благодаря этим документам мы впервые подступаем к острейшему вопросу о судьбе архива Бунина, фактически выкупленного советской стороной у вдовы писателя и все же, кажется, навсегда утраченного для нас.

Публикуемые материалы (1924–1964) можно разделить на две части.

Первая — собственно бунинская хроника — представляется вполне законченной: «завязка» — письмо 1924 года в посольство, «кульминация» — встреча с послом в 1945 году, «развязка» — протест в Гослитиздат в 1946 году. (Набранная в типографии книга была рассыпана. Бунин фактически нарушил компромисс с советскими издателями (о чем позже будет сокрушаться), готовыми удовлетворить все его требования и выплатить ему соответствующие гонорары, как это и произойдет позже с его женой.)

Вторая часть — почти детективная история бунинского архива, полная неясностей и открытых вопросов. После многолетних усилий и миллионов франков, выплаченных советской стороной В. Н. Муромцевой, архив И. А. Бунина остается в распоряжении Зурова, который принимается торговать архивом заново. После смерти Зурова бунинская коллекция таинственно уходит в Великобританию, где вот уже более тридцати лет хранится недоступной для специалистов, без опубликования описи.

22 декабря 1924 года в архиве едва открывшегося в Париже Советского посольства[9] появилось написанное на дешевой почтовой бумаге письмо, пролежавшее впоследствии в архиве Министерства иностранных дел СССР под грифом «Совершенно секретно» более семидесяти лет.

Аккуратный, скорее — женский, почерк[10], столь нехарактерное для Бунина написание «И. Бунин» вместо «Ив. Бунинъ», тон письма скорее говорят о «провокационном» характере документа, вряд ли имеющего отношение к реальному

персонажу. Однако в таком случае трудно понять, зачем могла бы понадобиться столь откровенная фальшивка советским дипработникам (или близким к ним вечно за что-нибудь обиженным на Бунина «доброхотам» из числа белоэмигрантов). Никаких бумаг, развивающих историю этого письма, в Архиве внешней политики не обнаружено.

Загадочное письмо Советскому послу во Франции появилось в архиве Посольства всего через несколько месяцев после того, как Бунин выступил со знаменитой речью «Миссия русской эмиграции». Неоднократно повторенная Буниным, растиражированная зарубежной русскоязычной прессой речь неизменно вызывала энтузиазм среди правого крыла парижской белоэмиграции. Впрочем, становиться «знаменем» какой-либо из многочисленных политических эмигрантских группировок Бунин не хотел. Вкуса к политическим схваткам, природу которых он, по своей цельности, всегда отчетливо понимал, у него не было. После всего пережитого в «окаянные дни» он был «тяжко болен / …/ 3 года подряд, душевно, умственно и нервно».

Следующий документ нашей хроники появился в Советском посольстве в Стокгольме через девять лет. Эти годы принесли Бунину литературный успех: один за другим выходят сборники рассказов, стихов, его произведения переводятся на французский, английский и немецкий. «Господин из Сан-Франциско», «Митина любовь», «Роза Иерихона», «Солнечный удар» привлекли внимание известнейших европейских коллег-писателей и критики. Вот некоторые, наиболее характерные отзывы.

Р. Роллан: «Какой гениальный художник! Несмотря на все, какое возрождение русской литературы демонстрирует он! Какие новые богатства колорита, всех ощущений!»

Анри де Ренье: «Конечно, люди не прекрасны и не добры, но разве вокруг них нет красоты? Есть деревья и цветы, небо и свет, текущие воды, плывущие облака; есть времена года… У г-на Бунина понимание природы сочетается с проникнутой горьким чувством проницательностью, какою отмечено его знание человека».

Томас Манн: «Первым, с кем меня познакомили, был Иван Бунин, с которым я уже обменялся письмами, создатель „Господина из Сан-Франциско“, рассказа, который по своей нравственной мощи и строгой пластичности может быть поставлен рядом с некоторыми из наиболее значительных произведений Толстого… Этот рассказ переведен уже, кажется, на все языки. Во французском переводе он полностью сохранил свою захватывающую силу… Разумеется, он (Бунин) пресытился похвалами „Господину из Сан-Франциско“. Он охотнее услышал

бы что-нибудь о „Митиной любви“, и, по правде сказать, мне не нужно было себя принуждать, чтобы выразить восхищение ее проникновенностью, потому что и в ней сказалась нравственная эпическая традиция и культура его страны…»

В 1930 году выходит «Жизнь Арсеньева», в марте 1933-го в Лондоне опубликован английский перевод романа, следом переиздания — в Италии, Швеции, Норвегии и Франции.

Уже в 1923 и 1926 годах Р. Роллан начинает выдвигать Бунина на Нобелевскую премию. В 1930-м к делу подключается Томас Манн, с этого времени Бунин номинируется ежегодно.

9 ноября 1933 года в Грасс приходит известие о присуждении Бунину Нобелевской премии «за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».

14 ноября Бунин уезжает в Париж, чтобы подготовиться к поездке в Стокгольм. В праздничной лихорадке Бунин вряд ли мог предположить, что его триумф станет поводом для возникновения некоторой напряженности в отношениях между Советской Россией и Швецией, как это видно из приведенной ниже дипломатической переписки.

Следующие несколько документов связаны с интересом советской стороны к планам Бунина относительно возвращения на Родину. И далее — уже после смерти писателя — к бунинскому архиву.

Архив И. А. Бунина, который унаследовал после кончины В. Н. Муромцевой-Буниной Зуров, по его завещанию перешел 9 сентября 1971 года к доценту Эдинбургского университета М. Э. Грин[11]. И теперь хранится в Лидском университете. В связи с этим возникают некоторые вопросы:

1. Допускалась ли завещанием В. Н. Муромцевой-Буниной возможность передачи Зуровым архива третьей стороне (учитывая подтвержденные ею права советской стороны)?

2. Был ли Зуров (учитывая диагноз) достаточно дееспособен для перепродажи (передачи) архива Милице Грин?

3. Каковы французские легальные процедуры для вывоза из страны архивных собраний? Соблюдены ли они?

4. И наконец, в свете публикуемых ныне и иных документов, имеющихся в распоряжении дирекции программы «Приношение Бунину», утрачен ли для России архив И. А. Бунина теперь уже безвозвратно?

Тем временем британцы, люди вполне практические, играют «на опережение» — на адрес дирекции программы «Приношение Бунину» пришло следующее:

Электронная почта от г-на Р. Д. Д.

Хранителя Русского архива Лидского университета[12] Лидс, Великобритания (оригинал на английском языке)

Бунинские авторские права и права интеллектуальной собственности, защищенные соответствующими законами, были переданы Буниным — Буниной, Буниной — Зурову, Зуровым — М. Грин, их нынешней владелице. Согласно общепринятой в цивилизованном мире практике, все издания Бунина в СССР и постсоветской России могут быть квалифицированы как пиратские, если не юридически, то по духу. С вступлением России в Бернскую конвенцию становится возможным юридически квалифицировать такие издания как пиратские, если российская сторона не получит соответствующего разрешения у британской стороны.

Похоже, у «советской хроники» Ивана Бунина будет еще долгое продолжение.

Институт «Зимний Сад» выражает глубокую признательность членам Попечительского совета программы «Приношение Бунину», Администрации Президента РФ, Комитету по культуре Государственной Думы ФС РФ, Департаменту культуры и информации Правительства РФ, Министерству культуры РФ, Министерству по делам печати, телевидения и средств массовых коммуникаций, МИД РФ, Департаменту культурных связей и ЮНЕСКО МИД РФ, сотрудникам Историко-доку-ментального департамента МИД РФ и лично А. Н. Залеевой и Е. В. Белевич, Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ и Т. М. Самолис, Ю. Г. Кобаладзе и «супершпиону» С. А. Гуськову, другу и профессору Т. Марулло (США), партнерам и спонсорам Института «Зимний Сад» — всем тем, без кого эта работа была бы невозможна.

Дм. ЧЕРНИГОВСКИЙ

Париж, 22.12.24[13].

Второго декабря мною было отправлено почтой заявление в адрес посольства СССР на имя первого секретаря посольства товарища Волина[14].

На это заявление я никакого ответа не получил и склонен самое неполучение его рассматривать как ответ — конечно, отрицательный.

Вследствие того, что, как я предполагаю, подобный результат мог иметь место исключительно как следствие сомнения в искренности моих заявлений, а также ввиду того, что я исчерпал

все возможности сделать эти заявления возможно убедительнее и искреннее — возможности, предоставлявшиеся мне только письменным изложением и поэтому крайне слабые, — я прибегаю теперь к последней возможности мне поверить: я изъявляю готовность добровольно ехать в СССР предстать перед судом.

Я это делаю в уверенности, что сомнений или недоверия по отношению ко мне теперь быть не может.

Я прошу разрешения явиться в посольство.

И. БУНИН

Я буду ждать ответа по тому же адресу: Avenue de la Republique, Bureau 5, Poste Restante, «Liebgott».

№ 160с[15]

16 ноября 1933 г. секретно г. Стокгольм

КОЛЛОНТАЙ А. М. [16] — члену коллегии НКИД тов. СТОМОНЯКОВУ

/…/ Присуждение премии Нобеля по литературе белому эмигранту Бунину не имеет отношения к приведенным мною выше настроениям настороженности, что я тщательно проверила. Присуждение это носило весьма случайный и внезапный характер. Во всяком случае, шведпра (шведское правительство. — Дм. Ч.) бессильно было предотвратить этот шаг международного комитета. «Старики» (в комитет со шведской стороны входят профессора и академики, которым по меньшей мере 80 лет, есть только один «юноша» среди них, ему — «всего» 65 лет) сошлись на финском писателе Силлампяя. Однако как раз за несколько дней до голосования отношения профессорско-ученых кругов обострились с финнами из-за преследования шведского языка в университетах. Выдвинули какого-то допотопного грека-лирика. На нем члены комитета не могли собрать большинства. Тогда за два дня до голосования кто-то выдвинул Бунина. На нем остановились, так как против него никто «ничего не имел».

Кандидатура Бунина появилась в печати впервые накануне голосования. Я имела частную беседу с минпросвещения на этот счет, но он, будучи сам изумлен таким поворотом дела, объяснил мне, что комитет не подвергается никогда воздействию, что «старики» строго оберегают свою независимость от влияний на них со стороны правительства, как бы неуместен и нецелесообразен не был их выбор. Я проверила, что в самом деле бывали случаи, когда премию присуждали вопреки явному неодобрению шведпра. Из бесед с верхами социал-демократической партии на эту тему, причем я им высказывала свое мнение о нетактичности присуждения премии белому эмигранту, я поняла, что этот акт старых академиков не встречает

никакого сочувствия и является лишь выражением тупости и недружелюбия к нам со стороны ограниченного круга старой закостенело-консервативной[17] профессуры. Даже (в) «Аллеханда» отнеслись критически к выбору комитета и ставили вопрос: почему не Горький?

№ 175с[18]

5 декабря 1933 г. секретно

КОЛЛОНТАЙ А. М. — члену редколлегии НКИД тов. СТОМОНЯКОВУ

Дорогой Борис Спиридонович,

/…/ По вопросу о присуждении премии Нобеля по литературе Бунину я Вам уже писала в прошлом письме, указав как и чем вызвано было это решение Нобелевского комитета. Что старики-академики настроены не в нашу пользу, это, конечно, не подлежит сомнению. Но, характерно, что шведобщественность и почти вся буржуазная пресса весьма критически отнеслись к выбору Бунина как представителя словесности на русском языке, достойного премии Нобеля.

Даже «Аллеханда» писала, что как-то неудобно выглядит, что в списке имен, награжденных премией Нобеля, русскую литературу — страну Толстого — представляет Бунин. Во многих газетах отзывы были еще резче[19]. Сандлер[20] признался мне, что он ничего не читал и не знал Бунина.

Однако, белые газеты и тот шум, какой белые в Париже подняли вокруг Бунина, не мог не найти отражения и в Швеции. Появилась заметка, что французский посланник Госсен будет представлять Бунина при торжествах вручения премии. В «Последних новостях» стояло, что французский посланник дает официальный обед в честь Бунина и что обед этот входит в церемониал торжеств. В связи с Буниным здесь проявляет особенную активность пресс-атташе французского посольства, председатель союза журналистов, некий де-Шассен, бывший русский, хотя и уехавший во Францию до революции. Он писал о Союзе пакостные книги. Фигура к нам враждебная. Вокруг Бунина, с помощью союза журналистов, он развивает весьма оживленную активность, являясь же атташе при французском посольстве, вносит и сюда свою «нотку».

Поэтому я решила поговорить напрямик с Сандлером, воспользовавшись свиданием с ним. Я, во-первых, ему указала на то неблагоприятное впечатление, какое вообще у нас произвело избрание Бунина предметом премии; во-вторых, если уже кабинет не мог этому помешать, я попросила Сандлера по крайней мере воздействовать на прессу с тем, чтобы приезд Бунина не принял

бы под воздействием враждебных к нам элементов белой эмиграции, характер политической кампании против Союза, выставления Бунина «жертвой» и т. п. Я так же просила Сандлера «частным образом» узнать в самом ли деле французское посольство вовлечено в церемониал по чествованию Бунина? Сандлер, хотя и оговорился, что пресса в Швеции не подлежит воздействию МИДа, обещал, однако, «сделать возможное», а так же дать мне «частным образом» справки о Церемониале, добавив что избрание Бунина предметом награждения в высшей степени неприятно для шведпра. Через несколько дней зам. Сандлера, барон Гамильтон, просил меня заехать в МИД и сообщил, во-первых, вопреки обычаю, во время торжеств не будут вывешены флаги тех стран, чьи граждане получают премию. Кроме того, «Бунин — человек больной», может быть он не сможет присутствовать на торжествах и премия, в таком случае, будет ему послана в отель.

МИД, как я узнала, делал попытки, чтобы Бунин вообще сюда не приехал, но попытки эти не удались. Гамильтон сказал мне также, что французское посольство «официально» в чествовании Бунина не участвует, но добавил, что, конечно, может быть, что французы «частным образом» собираются «чествовать» Бунина. Во всяком случае, уже известно, что де-Шассен организовывает вечер иностранных журналистов в честь Бунина. Нашего ТАССа, тов. Зейферта, на вечере этом, конечно, не будет. Я тоже, разумеется, отказалась быть на торжестве при вручении премии. Гамильтон осведомился: «Но если бы Бунин был болен в этот день, Вы бы не отказались присутствовать?»

МИД, после моего разговора с Сандлером, проявляет несомненное стремление смягчить углы по поводу нетактичности поступка академиков при выборе Бунина.

По физике Нобелевский комитет избрал немца, бежавшего в Англию от гитлеровского режима. Но это лицо вызывает полное сочувствие кабинета, как пострадавшее от фашистского режима / …/.

С ком. приветом — А. КОЛЛОНТАЙ

Рассекречено:

Служба внешней разведки РФ 1 ˚Совершенно секретно Источник (…)[21]

24. VII.1937 г.

Бунин Иван Алексеевич, родился в ноябре 1870 г., в б. Воронежской губ., а детство провел в б. Орловской (Елецкий у.) губ. Род Буниных дворянский, старый, но не очень знатный. В роду были писатели — известная поэтесса Бунина В. А.[22],

Жуковский — внебрачный сын Бунина с крестьянкой. Детство Бунина проходило в условиях бедности и нервности. Отец его помещик, самодур и охотник, подверженный припадкам то бешенства, то нежности и самобичевания, прожил, промотал и проиграл впрочем свое небольшое состояние.

Бунин учился в гимназии, но уже из первых классов был взят по бедности. Образованием мальчика занялся старший брат Юрий[23], впоследствии земец, известный педагог и автор книги по школьному вопросу.

В юности Бунин порывает с семьей, увлекается Толстым и Толстовством, сам вступает в трудовую артель, занимается плотничеством, позже открывает книжную лавку «Посредника». В это же время он пишет статьи в провинциальных газетах преимущественно по вопросам хозяйства. Рассказывает: «Однажды, за 10-рублевым заказом сидел 3 недели без перерыва и довел себя до того, что хлынула горлом кровь».

Пройдя с братом курс гимназии, Бунин усиленно занимался своим дальнейшим самообразованием. В 25 лет он получает Пушкинскую премию. Его перевод «Песнь о Гайавате» Лонгфелло оценивается англичанами, знающими русский язык, как «труд исключительного изящества и точности».

В те времена Бунин принадлежал к либеральным кругам общественности, хоть и стал в стороне непосредственно от политики. Считался «левым». Несколько позже он сходится с Горьким, активно участвует в сборнике «Знание». Литературное общение переходит в дружбу. Бунин уезжает на Капри, ежедневно встречается с Горьким, некоторое время находится под его обаянием, сам со стороны Горького видит почти влюбленность. Позже он отплатит Горькому за эту дружбу злобнейшей ненавистью, грубыми, мелочными и «злобными воспоминаниями», но до сих пор иногда в семейной обстановке вспоминает с волнением о некоторых моментах этой дружбы и некоторых чертах характера покойного писателя.

Известность Бунину принесла его «Деревня», о которой нынешний маститый фашистский бард Амфитеатров писал тогда, что она написана с «дворянского куплета». Безпощадно-подлинное изображение крестьянского быта, жестокий реализм этого изображения, горечь тона вызвали большие волнения в кругах либерально-сентиментальной русской общественности и долгие споры в литературе. Бунин надолго остается автором «Деревни».

В начале столетия Бунин женится на богатой одесской гречанке. Брак неудачный. Умирает 4-х летний единственный сын Бунина[24]. В 1907 году он сходится с одной из красивейших

девушек Москвы Верой Николаевной Муромцевой, племянницей Председателя Первой Государственной Думы С. Н. Муромцева. Брак был оформлен много позже в эмиграции.

Перед империалистической войной Бунин избирается почетным членом Академии наук по разряду изящной словесности. С этого времени начинается его поправение. Он все чаще вспоминает о своем дворянском происхождении. Войну он встречает уже ярым «патриотом», к концу ее брюзжит о «распущенности солдатских масс».

Гражданская война застает его в Одессе. Здесь он пишет свой талантливый и злобный дневник «Окаянные дни», «Освободителей». Деникинцев встречает «осанной». Вскоре деникинский отдел пропаганды привлекает его к активной работе, вместе с проф. Кондаковым он становится во главе белой одесской газеты «Южное слово», на генеральских банкетах он именуется «национальной гордостью», «знаменем российской культуры». *Контрреволюционная его активность привлекает к участию в деникинском движении многих колеблющихся интеллигентов*.

В январе 1920 года с остатками деникинских войск, в окружении близких друзей — писателя Федорова А. В., художника Нилуса И. А. и др. он бежит за границу в Болгарию. Вскоре по приезде его обкрадывают в одной из софийских гостинниц. В тот же год богатая меценатствующая семья Цейтлиных И. С. и М. С. выписывает его с женой в Париж, дают деньги на первое устройство.

В Париже устраиваются «попечительские комитеты» о писателях. Дальше правительства 3-х стран (Югославия, Чехословакия и отчасти Франция) назначают ежемесячную субсидию группе писателей эмигрантов (Бунин, Куприн, Шмелев, Бальмонт и позже Зайцев).

Бунин живет бедно. На смешанных писательских банкетах открывает французам «подлинную правду» о «сатанинской природе большевиков». Выступает на эмигрантских собраниях, пишет статьи барабанно-контрреволюционного содержания («Миссия русской эмиграции» в берлинском эмигрантском «Руле»), пытается полемизировать с Горьким, публикует дневник.

Постепенно с годами пыл его умеряется. Белые генералы, в гражданскую войну проповедывавшие непредрешенчество, а в эмиграции открыто объявившие себя монархистами, относятся к нему с опаской. Круги бывшей аристократии вообще его, представителя захудалого рода «своим» не признают.

Эмигрантская масса, в основе своей малокультурная и под влиянием внешних условий начинающая разлагаться его почти не знает. Бунин уезжает на юг Франции в Грасс и садится за чисто-

литературную работу. Рецидив возвращения и политика приходят в 1926 г. Миллионер нефтяник Гукасов открывает национальную газету «Возрождение». Политическим редактором ее приглашается Струве П. Б., литературным Бунин. Бунин от редакторского поста отказывается, но все же играет значительную роль в «освободительной» газете, привлекая к участию в ней ряд литераторов, не обновляя в ней печатания своего свирепо-антибольшевистского дневника «Окаянные дни». Однако, через год у Гукасова со Струве произошла ссора. Бунин принимает сторону Струве и вместе с ним уходит из газеты.

Дальше под влиянием нужды и… читательского внимания Бунин принимает приглашение левой (по эмигрантским понятиям) газеты «Последние новости». Этот переход в кругах правой и военной эмиграции производит впечатление крупного скандала, несмотря на то, что Бунин выговорил себе право печатать в газете только то, что он сам найдет нужным без редакторского контроля.

Дальше начинается период уединения. Бунин 8–9 месяцев в году сидит в Грасс, лишь изредка наезжает в Париж. Субсидии чешская и югославская все сокращаются, французская вовсе уходит. Бунина в его уединении навещают друзья: *Мережковский с женой, Шмелев, Зайцев, Алданов, Тэффи, композитор Рахманинов, профессор Ростовцев, из СССР негласно начинают к нему писать Елпатьевский и Екатерина Михайловна Пешкова, уговаривающая его не позорить себя столь недостойными выступлениями против Горького*. Статьи Бунина против Горького в оригинале были еще более грубы и злобны и в их смягчении играла большую роль жена Бунина, сохранившая к Горькому иные чувства, чем муж. В 1926 году Бунин на пляже познакомился с молодой эмигрантской поэтессой Кузнецовой Галиной Николаевной, по мужу Петровой. Через год после жесточайших скандалов в Бунинской семье, она оставила мужа и переехала на дачу Буниных. Начался роман, жена Бунина была впрочем уверена, что физической близости не было. Кузнецова прожила в доме Буниных до 1934 года. В 1934 году она уехала в Германию к сестре б. русского эмигранта ныне немецкого гражданина профессора одного из университетов Германии — Степуна Ф. А.

Роман произвел скандальное впечатление не только среди близких Бунина, но и в значительных кругах эмиграции. Бунин неузнаваемо переменился, отошел от всякой общественной жизни, от многих друзей. Только в последнем году этот «туман», как он говорит, начал проходить.

В 1930 году начала выставляться кандидатура Бунина на получение Нобелевской премии. Он настолько был уверен в ней,

что когда за год до того ему предлагали заключить с Мережковским, вторым кандидатом на премию, соглашение, по которому в случае получения премии одним из кандидатов половина ее передается другому, — Бунин отказался.

Премия выразилась в сумме приблизительно 780 тыс. фр. франков. Бунин предполагал жить на проценты с капитала, рассчитывая также на высокий тираж книг в связи с премией. Однако, в первый же год было прожито не меньше 180 тысяч. Одно время денег оставалось меньше 500 000. Однако, финансовый советник Бунина, известный в эмиграции биржевой делец проф. Михельсон, многими операциями в связи с колебаниями франка восстановил положение. В данное время, по некоторым сведениям, сам Бунин тщательно скрывает цифру своего состояния. Сумма денег, оставшаяся от премии, около полумиллиона. Деньги держит в бумагах и частью в золоте[25].

С 1929 года в семье Буниных живет писатель Зуров Леонид Федорович, сотрудник «Последних новостей», автор книг «Древний путь», «Кадет». (Зуров сейчас в Эстонии, куда командирован парижским музеем Трокадеро для научных археологических изысканий[26].) Несмотря на то, что Зуров участник гражданской войны на стороне белых у Деникина, потерявший в бою на глазах отца, он сравнительно левых взглядов в политике. *За последние 5 лет в тесном кругу друзей Бунина не раз заходила речь об исторической справедливости русской революции, о необходимости пересмотреть старые мерки. И всякий раз Бунин доходит до бешенства в своих проклятиях Союзу, строю, народу. Он не может без дрожи смотреть на советские газеты, совершенно не читает советской литературы*[27]*, язвит над «колеблющимися» и вопит, что готов поцеловать сапог японскому или немецкому фельдфебелю.* И все же для наблюдательного человека близко знающего Бунина ясно, что вся его одержимость — продукт самогипноза и в большой степени результат личной ущемленности, а отнюдь не «идейное состояние».

Если бы революция встретила его менее сурово, если бы дорогу к славе ему не перебил Горький, если бы столь второстепенно не пригласили его белые генералы, Бунин был бы другим.

Бунин внутренне только художник, человек честолюбивый, эгоистический, любитель хорошо пожить и по-существу общественно-равнодушный, безответственный. Насколько слаб его общественный хребет рисует его встреча с Толстым А., которого в эмигрантском быту проклинает его на каждом перекрестке и которого внутренне по старой дружбе, глубоко и

весело любит. Увидев Толстого, он бросился к нему на шею и они расцеловались. Этого до сих пор не могут ему простить его «левые» друзья по эмиграции.

И тем не менее самогипноз этот столь крепок, раз начатая роль «апостола фашизма» настолько глубоко вошла в натуру, что, думается, нет силы, способной заставить Бунина честно пересмотреть свое отношение к Союзу. Для этого он просто недостаточно серьезен: пожить всласть, покрасоваться, попить, поесть, побегать за «хорошенькой девченкой», а денег до конца дней должно хватить…

Бунин физически очень крепок, здоров. Лишь изредка мучит его геморрой — единственная эта болезнь за всю жизнь[28]. В последние годы жадность его к жизни повышена. Ест он жадно и много, но всю жизнь обладает вкусом к хорошей первоклассной кухне. Может много выпить и прекрасно знает толк в винах и водках, хмелеет мало и редко, перепивает и сейчас многих молодых. Характером нервен, но нераздражителен, весел, сохранил вкус к острому словцу, находчив, остроумен. Чрезмерно любит покрасоваться, ревнив к вниманию, одевается всегда у хороших портных, питает слабость к английским вещам, любит французских писателей, выше всех ставит Мопассана, из русских благоволит перед Толстым[29]. Последняя его работа, книга о Толстом, написанная для американцев, за которую он получил хорошие деньги. На русском языке книга выйдет в Шанхае, в издательстве Павловского. В самое последнее время у Бунина особая слабость к молодым женщинам. Его друзья: Алданов, Зайцев с женой (с семьей Зайцева Бунин связан около 30 лет), Бунаков-Фундаменский, Тэффи, Дон Аминадо (Шполянский), семья Цейтлиных, семья Михельсон, Нилус И. А., Калаш И. А. Был Куприн. Из менее близких Зензинов В. М., Кульман И. К., Ходасевич В. Ф., Адамович Г. В., Шмелев И. С. В последние годы установились довольно близкие отношения с некоторыми из молодых эмигрантских писателей, поэтов и поэтесс. В настоящее время Бунин с женой находится в Женеве, оттуда предполагает поехать в Италию. В Париж он вернется поздней осенью и если все будет благополучно.

(1937 г.)

«Рассекречено»: Служба внешней разведки РФ 10 Источник: «…»

Принял: Ф…

2. V.45 г. [30]

О БУНИНЕ

В самом начале мая в Париж с юга Франции возвращается

писатель БУНИН Иван Алексеевич.

«Бард белой эмиграции», Бунин ненавидит немцев (о Гитлере и Муссолини у него не было другого определения, как «взбесившихся обезьян»[31]) и поведение его во время оккупации было безупречно.

В начале нынешней войны Бунин написал письмо А. Н. Толстому, с которым был связан самыми близкими дружескими отношениями (Бунин — первый редактор Толстого). В письме этом он жаловался на усталость и разочарование в эмиграции и давал понять, что был бы готов вернуться на Родину.

Ответ от Толстого не успел притти, началась германо-советская война.

В настоящее время политические настроения Бунина крайне неустойчивы. Их можно было бы определить, как относительно про-советски. Но «первый писатель России», как о нем говорил М. Горький, он знает себе цену. Болезненно-честолюбивый, он любит подчеркивать, что был «не последний сын своей Родины» и, конечно, выделяет себя из эмигрантской массы. Бунин вспоминает, как в 1936 г., когда он встретился в Париже с А. Н. Толстым, Толстой сказал ему: «Возвращайся домой. Москва сумеет тебя встретить, Москва ударит в уцелевшие колокола».

Однако, по натуре своей, Бунин человек слабовольный и легко поддающийся посторонним влияниям. Несомненно, что сейчас же по приезде он будет окружен своими близкими друзьями, (из) которых многие, как писатель Зайцев Б. К. и профессор Михайлов П. А., занимают политически антисоветские позиции, а некоторые, как писатель Шмелев И. С. — скрытые фашисты. И эти встречи, несомненно, окажут в короткое время свое определенное влияние на Бунина.

Соображение:

в виду изложенного, было бы крайне желательным получение Буниным в самом скором времени по приезде, частного письма от А. Е. Богомолова[32] с пожеланием личной встречи, лучше всего, с приглашением на завтрак (Бунин — большой гастроном). И именно потому, что Бунин чрезвычайно чувствителен к вниманию, ему оказываемому, было бы очень хорошо, если бы и самый тон этого неофициального письма свидетельствовал о том, что Бунина выделяют из рядовой эмигрантской среды.

Такое приглашение в корне парализовало бы все попытки отговорить его от «безумного шага» — возвращения на Родину. А такие попытки несомненно будут.

СССР

Всесоюзное общество культурной связи с заграницей

Секретно
Экз.№ 1
22 октября 1945 г.
№ 1820 о/с[33]

Заведующему 1-м Европейским отделом НИКИД СССР тов. КОЗЫРЕВУ

В связи с запросом инстанций, прошу передать в Париж тов. Алексееву следующее:

«Срочно сообщите по телеграфу характеристику русского эмигранта Ивана Бунина. В характеристике покажите: поведение и настроение Бунина в годы войны и в настоящее время, его отношение к СССР, чем он занимается, что написал и что пишет, по-прежнему ли он хочет вернуться на родину (об этом желании он писал в 1941 году Телешеву и Алексею Толстому)».

Заместитель председателя правления ВОКС
А. КАРАГАНОВ

СССР
Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
Секретно
Экз.№ 1
31 октября 1945 г.
Экз.№ 1 № 1905/с[34]

Заместителю народного комиссара иностранных дел СССР тов. ДЕКАНОЗОВУ В. Г.

Прошу Вас запросить Посла СССР в Париже т. Богомолова о следующем:

«В Париже находится виднейший русский писатель Бунин, который накануне войны обратился с просьбой разрешить ему приехать на родину в СССР. Прошу Вас сообщить сведения о положении Бунина в настоящее время и его отношении к СССР, а также о том, как он в настоящее время относится к поднятому им вопросу о переезде в СССР».

Председатель правления ВОКС
В. КЕМЕНОВ

Посольство СССР во Франции «Секретно»
№ 398[35]
Экз.№ 1
31 октября 1945 года
Заведующему Первым Европейским отделом
НКИД СССР
тов. С. П. КОЗЫРЕВУ

Случайно оказавшись в одном обществе, я познакомился с

известным Вам писателем Буниным. Поскольку, я узнал о том, что к этому писателю у нас проявляют значительный интерес, сообщаю содержание моей краткой с ним беседы.

Бунин сказал мне, что окончательно утвердился в Париже и несмотря на скверные материальные условия «сдыхаю с голода», продолжает пописывать, кое-что перерабатывать старое и кое-что переиздавать. Большие надежды возлагает на Америку, т. к. де мол не вправе рассчитывать на «удовольствие издать свои произведения в СССР». «К слову сказать, — заявил Бунин, — весьма огорчен, что мои произведения издаются в Москве ОГИЗ'ом как посмертные. Кричать о том, что я еще жив, стал слабоват голосом и к тому же я эмигрант. Хотелось бы участвовать мне хотя бы малой долей в этом издании, но увы, я мертвец!» Я выразил свое удивление и обещал навести справки. Далее Бунин хотел бы получить какие-либо материалы как справочного, так и библиографического характера для того, чтобы ознакомиться с нынешним положением советского литературного творчества, о котором он имеет самое смутное представление.

Исподволь известно, что Бунин крепко «полевел», тоскует по родине, втайне мечтает о том, что наступит час, когда его пригласят домой. Брюзжать и злопыхательствовать он перестал, производит впечатление человека уставшего, но еще с острым умом. Говорят, что за отсутствием тем, а может быть просто по старости, но после бурной жизни, он сейчас пробует свое перо под Арцыбашева, но с еще большим обнажением трактует сексуальные темы. Такие романчики, говорит Бунин, хорошо пойдут в Америке.

Поскольку я сумею с ним встретиться еще и если в этом будет необходимость, можно поближе с ним познакомиться и составить личное впечатление о его перспективах и настроениях.

Прошу сообщить Ваше мнение, следует ли им заняться.

А. ГУЗОВСКИЙ

Первый Европейский отдел «Секретно»

23 ноября 1945 года № 1391/1 евр. [36]

Председателю Правления ВОКС'а тов. В. С. КЕМЕНОВУ

По сообщению т. Богомолова, писатель Бунин стар и весьма неустойчив по характеру (он много пьет). Политическое настроение Бунина также неустойчиво. То он хочет ехать в СССР, то начинает болтать всякий антисоветский вздор.

Тов. Богомолов пока ничего четкого не может сообщить о нем.

Зав. 1-м Европейским отделом НКИД СССР С. КОЗЫРЕВ

Первый Европейский отдел «Секретно»
28 ноября 1945 года № 1437/1 евр[37].
Председателю Правления ВОКС'а тов. В. С. КЕМЕНОВУ
/…/ Бунин истеричен и наши работники посольства держатся с ним острожно. Сообщается для Вашего сведения /…/
Зав. 1-м Европейским отделом НКИД СССР С. КОЗЫРЕВ

ИЗ ДНЕВНИКА А. БОГОМОЛОВА[38]:
«В 17 ч. ко мне пришел писатель И. Бунин. Ему уже 75 лет, но держится он бодро. Беседа шла в духе обычного „светского" разговора и никаких деликатных вопросов не захватывала.
Вскользь я сказал, что пора бы Бунину посмотреть на свою страну вблизи, на что он немедленно ответил, что сделал бы это с удовольствием. Весь разговор шел в таком тоне, который никого и ни к чему не обязывал.
На беседе присутствовал Гузовский, которого я попросил сообщить об этой беседе в Москву.
Мои впечатления о Бунине пока еще очень поверхностны. Старик полон всяких воспоминаний, мелочей, привычек и т. д. Он любит выпить, крепко ругается и богемствует в среде своей молодой писательской братии.
У меня на приеме старик держался, как и полагается на приеме у посла, немножко рисуясь и кокетничая.
Приглашу его к себе позавтракать, он человек интересный».

Париж
5 февраля 1946 г[39].
Уважаемый тов. Козырев
Направляю при этом два письма писателя Бунина, адресованные Государственному Издательству и писателю ТЕЛЕШОВУ.
Старик сейчас тяжело болен и находится в скверном состоянии.
Не могу судить, верно ли то, что он пишет, во всяком/ случае благоприятный ответ может его успокоить и прекратить его брюзжания (понятно, если мы в этом заинтересованы). Его усиленно зазывают в Америку как раз представители той наиболее враждебной нам группы эмиграции, которая группируется вокруг «Социалистического вестника». Но, насколько мне известно, БУНИН категорически отказывается туда ехать и ждет, что «быть может удастся помереть на Родине». Поэтому письма нужно рассматривать также, как попытку дать о себе знать и получить добрый ответ.

Полтора месяца назад Александр Ефремович принимал его у себя, но этот визит был первый, оффициальный, а дальше старик занемог и лежит в постели.

Привет и большое спасибо за книгу[40].

Париж, 16.
30 января 1946 г.

Дорогой, милый друг Николай Дмитриевич[41], получил твою открытку от 11 ноября прошлого года, очень был, вместе с Верой Николаевной, огорчен твоим известием о кончине дорогой Елены Андреевны — и чрезвычайно взволнован тем, что ты, между прочим, пишешь мне о моих сочинениях: «Твоя книга листов в 25 печатается в Государственном Издательстве Художественной Литературы». Открытка твоя уже давняя и отвечаю тебе на нее с опозданием в две недели, ибо вот уже месяц лежу в постели (жестокий грипп и начиналось воспаление легких, нынче первый раз присел к письменному столу), — но, может быть, еще есть время что-нибудь исправить в этом поистине ужасном для меня деле с изданием 25 листов моих произведений: пишу нынче о нем и непосредственно Государственному Издательству, и тебе, в надежде, что ты лично поговоришь с кем-нибудь в Издательстве и как-ни-будь поможешь мне. Я называю это дело ужасным для меня потому, что издание, о котором идет речь, есть, очевидно, изборник[42] из всего того, что написано мною за всю мою жизнь, нечто самое существенное из труда и достояния всей моей жизни — и избрано без всякого-моего участия в том (не говоря уже об отсутствии моего согласия на такое издание и о том, что оно лишит меня возможности переиздавать собрание моих сочинений на русском языке во Франции или в какой-либо другой стране, то есть единственного источника существования в нашей с В. Н. старости и близкой полной инвалидности моей: дорогой мой, ведь мне 76-й год идет!). Я горячо протестую против того, что уже давно издано в Москве несколько моих книг (и в большом количестве экземпляров) без всякого гонорара мне за них (имею в виду «Песнь о Гайавате», «Митину любовь», было, кажется, и еще что-то), — особенно же горячо протестую против этого последняго издания, того, о котором ты мне сообщил: тут поступлено со мной (который, прости за нескромность, заслужил в литературном мире всех культурных стран довольно видное имя) как бы уже с несуществующим в живых и полной собственностью Москвы во всех смыслах: как же можно было, предпринимая издание этого изборника, не обратиться ко мне хотя бы за моими пожеланиями вводить или же не вводить в него то или другое, за моими указаниями, какие именно тексты моих

произведений я считаю окончательными, годными для переиздания! Ты сам писатель, в Государственном Издательстве ведают делом люди тоже литературные — и ты и они легко должны понять, какое великое значение имеет для такого изборника не только выбор материала, но еще и тексты, тексты! Я даже не знаю, известно ли в Москве, что в 1934–35 г. вышло в Берлине в издательстве «Петрополис» собрание моих сочинений, в предисловии к которому (в первом томе) я заявил, что только это издание и только его тексты я считаю достойными (да еще некоторыя произведения), не вошедшие в это издание и хранящиеся в моих портфелях — для следующего издания); заявил и то, сколь ужасны мои первыя книги издания Маркса, безжалостно требовавшего от покупаемого им автора введение в его издание того ничтожного, что называется произведениями «юношескими» и чему место только в приложении к какому-нибудь посмертному академическому изданию, если уже есть надобность в таких приложениях. В конце концов вот моя горячая просьба: если возможно, не печатать совсем этот изборник, пощадить меня, если уже начат набор, — разобрать его; если же все-таки продолжится это поистине жестокое по отношению ко мне дело, то по крайней мере осведомить меня о содержании изборника, о текстах, кои взяты для него, — и вообще войти в подробное сношение и согласие со мной по поводу него.

Эти письма (тебе и Государственному Издательству) я посылаю при любезном содействии Посольства СССР во Франции. Дабы ускорить наши отношения, может быть, и Вы найдете возможным немедленно ответить мне тем же дипломатическим путем.

Сердечно обнимаю тебя, дорогой мой.

Твой Ив. БУНИН

P.S. Получено ли в Москве то, что я, по ея просьбе, послал 2 месяца тому назад, — рукопись моих новых рассказов «Жизнь Арсеньева» и «Освобождение Толстого»?

P.P.S. Существует всемирное содружество писателей — P.E.N. Club, коего я член. Если эти письма останутся втуне, я обращусь за защитой к нему.

Жду твоего сообщения о судьбе (Живы ли?) моих племянников Пушешниковых.

14 февраля 1946 г. [43]

Тов. В. Г. ДЕКАНОЗОВУ

Известный русский писатель-эмигрант Иван Бунин, в настоящее время проживающий во Франции, прислал через наше Посольство в Париже два письма: на имя писателя Телешова и на

имя Государственного издательства Художественной литературы в Москве. В этих письмах он категорически протестует против издания его произведений, которые сейчас издательством готовится к печати, без его ведома и согласия, без его участия в этом деле и без оплаты гонорара.

В своем препроводительном письме советник Посольства Гузовский сообщает, что Бунин сейчас болен и находится в очень тяжелом положении, но несмотря на это, он категорически отказывается от приглашения эмигрантов-сотрудников враждебного нам «Социалистического вестника» поехать в Америку и ждет, что «может быть, ему удастся помереть на Родине».

В связи с чем Гузовский рассматривает эти письма, как попытку Бунина дать о себе знать и получить добрый ответ.

Считал бы целесообразным направить письма адресатам.

Прошу Ваших указаний.

С. КОЗЫРЕВ

1-й Европейский отдел 9 января 1957 года № 25/leoc[44]

Секретарю союза советских писателей тов. СУРКОВУ А. А.

Направляю Вам при этом материалы о русском писателе И. А. Бунине, полученные от его вдовы В. Н. Буниной, в соответствии с прилагаемой описью[45].

В беседе с работником Посольства СССР во Франции В. Н. Бунина обещала постепенно передать нам все имеющиеся у нее материалы о жизни и деятельности И. А. Бунина, которые ей пока необходимы для подготовки воспоминаний о Бунине. В. Н. Бунина дала так же понять, что она согласилась бы на издание своих воспоминаний в СССР, но что предварительно хотела бы побеседовать по этому вопросу с кем-либо из представителей Союза Советских Писателей и, в частности, назвала имя Л Никулина.

Посольство считает, что вопрос о возможности опубликовать в СССР воспоминания В. Н. Буниной представляет большой интерес и полагает целесообразным командировать в Париж для встречи с Буниной Л. Никулина, который лично знаком с Буниной и сможет повлиять на нее в нужную для нас сторону при решении ряда практических вопросов.

Прошу вас сообщить Ваше мнение по существу данного вопроса и в случае, если Вами будет признано целесообразным командировать кого-либо для встречи с В. Н. Буниной, принять необходимые меры.

О принятом Вами решении просьба информировать МИД СССР.

Заведующий 1-м Европейским Отделом МИД СССР
А. АРУТЮНЯН

ПОСОЛЬСТВО СССР ВО ФРАНЦИИ 22 января 1957 года № 87[46]

Директору Государственной библиотеки
имени ЛЕНИНА
тов. БОГАЧЕВУ П. М.

Направляю при этом письмо В. Н. Буниной, вдовы известного русского писателя И. А. Бунина, которое является ответом на Ваше письмо № 33/394 от 8.1.1957 г. относительно возможности приобретения архивов ее покойного супруга.

Со своей стороны сообщаю, что Посольство уже договорилось в принципе о передаче Советскому Союзу личных архивов И. А. Бунина, часть которых уже отправлена в Институт мировой литературы им. А. М. Горького.

Приложение: упомянутое.

Посол СССР во Франции С. ВИНОГРАДОВ

ПОСОЛЬСТВО СССР ВО ФРАНЦИИ 22 января 1957 года № 93[47]

Заместителю министра иностранных дел СССР тов. ЗОРИНУ В. А.

При этом направляю письмо вдовы русского писателя Бунина Веры Николаевны Буниной в адрес Советского Правительства, в котором она просит оказать ей единовременную денежную помощь.

С января 1956 года В. Н. Буниной была установлена ежемесячная пенсия в размере 800 инв. рублей[48]. В. Н. Бунина обязалась передать постепенно личный архив своего мужа, часть которого уже была передана и использована при выпуске 5-томного собрания сочинений И. А. Бунина в приложении к журналу «Огонек».

Жалобы Буниной на недостаток средств обоснованны, так как стоимость жизни за последний год значительно возросла. Кроме того, после смерти писателя за Буниной остались долги мужа. Состояние здоровья В. Н. Буниной (ей около 70 лет) довольно тяжелое и требует частого обращения к врачам, услуги которых во Франции дороги. В связи с этим просьбу Буниной Посольство поддерживает.

Учитывая, что за последнее время были опубликованы массовым тиражом, помимо указанного выше 5-ти томного собрания сочинений, отдельный рассказы Бунина в журналах и однотомники избранных произведений (ГИХЛ. Москва, 1956 г.) и

ожидается выход в свет в большой серии «Библиотека поэта» тома стихотворений Бунина, Посольство ходатайствует о выдаче Буниной В. Н. единовременного пособия.

Говоря о размерах пособия, Бунина высказала мысль, что ее могла бы устроить сумма в пределах 1 000 000 франков[49].

О принятом решении по изложенному вопросу прошу информировать Посольство.

Приложение: упомянутое на 1 листе.

Посол СССР во Франции

С. ВИНОГРАДОВ

Резолюция на письме:

«т. Никифорову

Пр. подготовить (положит.)

А. ЗОРИН

1.02.57»

Париж, 17 января 1957 года[50].

Советскому Правительству От В. Н. БУНИНОЙ

Настоящим письмом считаю необходимым обратить Ваше внимание на следующее:

После того, как представители Советского Посольства во Франции установили со мной контакт и договорились в принципе о постепенной передаче мною архива Ивана Алексеевича Бунина, мне была установлена ежемесячная пенсия с января 1956 года в размере 800 рублей, что составляет по нынешнему курсу 70 000 французских франков.

За этот год стоимость жизни во Франции очень возросла. И этой суммы мне хватает только на покрытия расходов первой необходимости. А между тем мое здоровье за этот год ухудшилось, приходится часто обращаться к врачам из-за декальсификации позвоночника, приобретенной в годы недоедания во время последней войны. Кроме того обнаружился катаракт на обоих глазах, грозит операция. Медицинское обслуживание и лекарства дороги, социальным страхованием пользоваться я не имею права, и часто мне приходится обходиться без них.

Помимо этого к моменту установления пенсии у меня оставались долги, сделанные во время тяжкой болезни Ивана Алексеевича, которые я и до сих пор до конца не могла выплатить.

Квартира была и частично остается в запущенном состоянии из-за нехватки средств на ремонт, который стоит здесь дорого и который я обязана произвести непременно по неуклонному требованию хозяина.

В связи с тем, что за последнее время были выпущены

массовым тиражем несколько изданий произведений моего покойного мужа, беру на себя смелость просить Советское Правительство оказать мне единовременную помощь в счет гонорара от последнего издания избранных произведений И. А. Бунина (Государственное Издательство Художественной Литературы. Москва 1956 г.).

С уважением В. БУНИНА

В конце 1955 года Буниной было выплачено 1,5 млн. фр. в качестве гонорара за изданный в СССР двухтомник избранных сочинений Бунина.

Приложение:

Справка

об изданных в СССР произведениях Бунина.

По данным Союза советских писателей (т. Аплетин) в СССР было издано:

1. Сборник рассказов —10 печ. листов, тираж 300 000 экз. (4 усл. тиража)

2. Избранное — 33 печ. лист, тираж 300 000 экз. (4 усл. тиража)

3. Рассказы — 5 печ. лист, тираж 500 000 экз. (7 усл. тиражей)

В соответствии с действующими положениями иностранным писателям гонорар оплачивается в размере 940 р. за печ. лист (сов. писателям 3000 р.). В данном случае (Бунин принял иностранное гражданство) размер гонорара составил бы 134 690 руб. Кроме того, настоящее издание в СССР произведений Бунина рассматривается как переиздание старых произведений. В этом случае гонорар оплачивается только в размере 50 %. В настоящем случае это составило бы 67 345 руб., что составляет по официальному курсу около 6 млн. фр. фр.

Верно.

(Д. НИКИФОРОВ)

Посольство СССР во Франции 20 июня 1957 года № 554[51]

Секретарю правления союза советских писателей СУРКОВУ А. А.

Направляю при этом в соответствии с прилагаемой описью очередную часть материалов из архива Ивана Алексеевича Бунина, полученных Посольством от его жены В. Н. Буниной.

Приложение: по описи на 1 листе.

Советник Посольства СССР во Франции

В. ЖДАН[52]

Приложение:

Из Архива Ивана Алексеевича Бунина передано

В. Н. Буниной:

Из папки третьей:

«Брань» 3 страницы, 1917 года летом.

«Из повести» три печатных страницы из газеты «Русское Слово», Москва, 1 апреля 1916 года. Первоначальный текст «Отто Штейн».

«В ночном море» 16 страниц, написано летом 1923 года в Грассе.

«Русак» 3 страницы, написано 1/IX 23.

«Огнь пожирающий», 11 страниц, 1 октября 1923 года.

Из папки четвертой:

«Солнечный удар» (в рукописи заглавия нет) начата в июне 1924 г.,

закончена 30 сентября 1935 года. 14 страниц в одной и 2 страницы начала.

«Ида» 6/19 декабря 1924 года, Ле-Каннэ, 11 страниц.

«Мордовский сарафан» 12 страниц, 1925 года.

«Бульварный роман» (Дело корнета Елагина) 99 страниц рукописных, 13 на машинке. Кончено 20 августа 1925 года.

«Старый порт» 10 страниц рукописных, 1/2 на машинке, 25/ XI 27.

«Алексей Алексеевич» 12 страниц 1927 г.

«К роду отцов» 17 страниц, 20 ноября 1927 г.

«Толстой» 5 страниц рукописных без начала и конца.

«Божье древо» 33 страницы, 4/IX 27.

«Подснежник» 1927 г.

«В саду» 12 страниц, 2/15 VII 26, Грасс.

«Про обезьяну» (Молодость и старость) 2 страницы конца нет. 1936 г.

«Кавказ» 8 страниц рукописных, 2 стр. на машинке, 18 октября 1937 г.

«Степа» 12 страниц, 5 ноября 1938 г.

«Муза» 15 страниц 17 октября 1938 г.

«Темные аллеи» 3 первых страницы рукописных, октябрь 1938 год.

Папка пятая:

«Митина любовь» 176 рукописных страниц и 3 на машинке.

Страница первый набросок «Митина любовь» к рассказу. «Дождь» 14 страниц, 7/VI 1924, 2 страницы зачеркнутые. Кончено 14/27, IX, 24.

ПОСОЛЬСТВО СССР ВО ФРАНЦИИ

2 апреля 1958 года № 450[53]

Секретарю союза советских писателей СССР тов. СУРКОВУ А.

А.

Приложением к письму направляю материалы, переданные нам вдовой писателя И. А. Бунина Верой Николаевной Буниной.

Материалы содержат:

— тринадцать писем и записок писателя Александра Ивановича Куприна Бунину;

— рукописи 4-х рассказов И. Бунина («В Париже», «Памятный бал», «Руся» и «Волки»);

— рукописи стихов И. Бунина с 1915 года. В тетради 102 стихотворения. Некоторых листов в тетради не хватает;

— 18 книг и один журнал с произведениями И. Бунина, переведенными на иностранные языки.

Передавая эти материалы, В. Н. Бунина сообщила, что некоторые стихи никогда не издавались, а часть посылаемых книг является в настоящее время библиографической редкостью.

Прошу подтвердить получение указанных материалов.

Было бы желательно, чтобы кто-нибудь из наших литературоведов, кому придется работать над архивами Бунина, направил через нас письмо в адрес вдовы писателя с подтверждением получения и благодарностью.

Советник Посольства СССР во Франции

В. ЖДАН

Союз писателей СССР

правление

22 мая 1958 г.

№ 1477[54]

Созданная Союзом писателей СССР комиссия по литературному наследию И. А. Бунина считает своим долгом выразить благодарность В. Н. Буниной за сохранение и предоставление для работы личного архива И. А. Бунина.

Правление Союза писателей СССР просит Вас передать через наше посольство прилагаемое письмо В. Н. Буниной.

Секретарь правления Союза писателей СССР К. ВОРОНКОВ

31 мая 1958 года № 908/leo[55]

Послу СССР во Франции тов. ВИНОГРАДОВУ С. А.

Уважаемый Сергей Александрович,

Союз писателей СССР подтвердил получение материалов из личного архива русского писателя И. А. Бунина, которые были переданы вдовой писателя Верой Николаевной Буниной и направлены в Союз писателей СССР при письме Посольства № 450 от 2 апреля 1958 г.

Созданная Союзом писателей СССР комиссия по

литературному наследию И. А. Бунина считает своим долгом выразить благодарность В. Н. Буниной за сохранение и предоставление для работы личного архива И. А. Бунина.

С этой целью Союз писателей СССР просит Вас передать В. Н. Буниной прилагаемое письмо с выражением благодарности.

Приложение: письмо[56].

С товарищеским приветом

А. АРУТЮНЯН

Посольство СССР во Франции 22 января 1959 г.

№ 47[57]

Генеральному секретарю союза советских писателей СССР тов. СУРКОВУ А. А.

Приложением к письму направляю Вам материалы, переданные Посольству вдовой писателя И. А. Бунина Верой Николаевной Буниной.

Материалы содержат:

— 2 экземпляра книги В. Н. Буниной «Жизнь Бунина» (1870–1906 г. г.), недавно изданной в Париже[58].

— Папки № 7 и № 8 из архива И. А. Бунина, содержащие рецензии эмигрантской прессы на книги писателя.

Просьба подтвердить получение этих материалов, а также направить через Посольство в адрес В. Н. Буниной письмо с выражением благодарности.

Советник-посланник Посольства СССР во Франции Н. КОРЮКИН

Посольство СССР во Франции

8 июля 1959 г.

№ 788[59]

Приложением к письму направляю Вам для архива И. А. Бунина материалы, полученные Посольством от вдовы писателя В. Н. Буниной-Муромцевой.

Материалы содержат:

Папки №№ 30, 36, 39 и 43 (телеграммы, приглашения, фото, пресса и т. д.); пакет с рукописями стихов «Венки» и рассказов «Качели» и «Ловчий».

Получение указанных материалов просьба подтвердить.

Советник Посольства СССР во Франции

В. ЖДАН

Посольство СССР во Франции Исх. № 742[60]

Председателю союза писателей СССР тов. ФЕДИНУ К. А.

копия:

Председателю государственного комитета совета министров СССР по культурным связям с зарубежными странами тов. ЖУКОВУ Г. А.

Как Вам известно, в Париже жил и умер русский писатель И. А. Бунин. Его вдова, В. Н. Бунина, получала до своей смерти (апрель 1961 года[61]) пенсию от Советского правительства. При жизни она разбирала постепенно архив писателя и передавала его по частям Союзу писателей СССР. Перед смертью она оставила завещание, по которому личные вещи писателя, а так же 2/3 доходов от литературного наследия перешли к писателю Зурову Л Ф. В завещании подтверждалось ранее данное нам обещание о передаче архива И. А. Бунина Советскому Союзу. Этот архив, в котором находится значительное число рукописей, должен быть предварительно приведен в порядок Зуровым и только после этого передан СССР.

Вызывает беспокойство то, что архив Бунина, также как и все остальное его наследство, находятся под угрозой реквизиции со стороны французских властей, т. к. за Буниной оказался долг в размере более 7000 новых франков (подоходный налог за 1960 г. и первые месяцы 1961 года, налог на литературное наследие, оплата лечения Буниной и расходов на ее похороны).

Как сообщил сотрудникам Посольства Зуров, он не в состоянии оплатить эти долги, и имущество Бунина, включая архив, может быть продано с молотка. Подозрительный интерес к этому имуществу проявляют различные организации и деятели США.

Считаем в этой связи целесообразным рассмотреть вопрос об оказании Зурову материальной помощи (7–8 тыс. новых франков) для погашения долгов В. Н. Буниной, что воспрепятствовало бы распродаже архива писателя Бунина и способствовало бы его скорейшей передаче Советскому Союзу. Одновременно было бы правильным поручить одному из практикантов помочь Зурову в разборе архива И. А. Бунина.

При наличии заинтересованности соответствующих советских организаций Посольство смогло бы провести переговоры с Зуровым о приобретении мебели и личных вещей, принадлежавших Бунину. По предварительной оценке их стоимость начисляется в 3000 новых франков[62], упаковка и транспортировка в СССР — 1000 нов. франков.

Просим рассмотреть эти предложения и информировать о принятом решении.

Посол СССР во Франции
С. ВИНОГРАДОВ

Министерство культуры СССР Москва
20 ноября 1961 года № 4868–16/27[63]
Послу СССР во Франции тов. ВИНОГРАДОВУ С. А.

В апреле с.г. в Париже скончалась вдова писателя И. А. Бунина — Вера Николаевна Бунина-Муромцева. После ее смерти остался большой архив и вещи писателя, перешедшие по наследству к приемному сыну Буниных — литератору Л. Ф. Зурову, проживавшему до июля с.г. в их квартире (1, Рю Жак Оффенбах[64], Париж-16).

По имеющимся у нас сведениям, в июле с.г. Л Ф. Зуров был выселен из этой квартиры. Архив, мебель и вещи писателя были помещены им в арендованный сроком на 3 месяца склад в Буживале. В октябре с.г. срок аренды истек.

В связи с неоднократными пожеланиями покойной Буниной-Муромцевой и самого Зурова Л Ф. передать в дар музеям Советского Союза ряд вещей писателя, просим помочь последнему, находящемуся в тяжелом материальном положении, переслать железнодорожным транспортом в СССР подаренные вещи. Необходимые расходы возместим.

Заместитель Министра Культуры СССР
А. КУЗНЕЦОВ

Посольство СССР во Франции 28 января 1962 года
Заместителю министра культуры СССР тов. КУЗНЕЦОВУ А. Н.[65]

На Ваш № 4868–16/27 от 20.11.61 г.

Л Зуров согласен передать Советскому Союзу только мебель писателя И. А. Бунина. Что же касается личных вещей и, особенно, архива Бунина, Зуров пока не собирается их передавать Советскому Союзу. Он ссылается на устное завещание Буниной-Муромцевой, в котором она якобы просила вначале разобрать архив, а затем передать его нам. В то же время Зуров заявляет, что в настоящее время он слишком занят, чтобы приступить к разбору архива.

Советник Посольства СССР во Франции
В. ВДОВИН

22-го февраля 1962 года. Париж[66].

Многоуважаемый Лев Вениаминович[67]!

Простите, что так долго не отвечал на Ваше письмо от 3-го января. Был чрезвычайно занят. Работал и над архивом Буниных — разбираю, привожу в порядок разрозненные бумаги. Нашел много интересного.

Вы прекрасно знаете, что я всегда был того мнения, что не

только реликвии, но и архив Бунина должен храниться на родине, но, к сожалению, конкретных предположений еще не имею и до сих пор не могу добиться, от кого зависит решение по делу приобретения как вещей, так и архивных материалов. Ведь на этот вопрос Вы мне опять не ответили, а только сказали, от кого оно не зависит.

Для того чтобы начать передавать что-либо из архива, надо ведь знать, на каких условиях это делается.

Что касается вещей, то понятно, почему я заинтересован в наиболее скорой передаче — ведь вещи на складе портятся, и за хранение мне приходится платить. Архивные же вещи перед передачей, как Вы отлично понимаете, надо было привести в порядок и разобрать.

Шлю Вам искренние пожелания здоровья, Екатерине Ивановне шлю сердечный привет.

Крепко жму руку

Л. ЗУРОВ

Союз писателей СССР
правление
04.04.62 г.

Об архиве И. А. Бунина[68]

Чрезвычайному и полномочному послу СССР во Франции
тов. ВИНОГРАДОВУ С. А.

Глубокоуважаемый Сергей Александрович!

После длительных маневров, наследник В. Н. Муромцевой-Буниной — Л Ф. Зуров — направил писателю Л В. Никулину письмо, в котором изъявляет согласие передать в СССР архив И. А. Бунина (копия письма прилагается). Это согласие, однако, сопровождается настойчивым упоминанием о передаче также бунинских мемориальных вещей. В этой связи хотелось бы высказать некоторые соображения.

Судя по тому, что Зуров уклонялся от прямого ответа на протяжении одиннадцати месяцев, что он либо не смог добиться выгодной сделки с американцами, либо уже сбыл им наиболее ценные материалы. Не исключено также, что он попытается сохранить ряд материалов для своих дальнейших коммерческих операций. Исходя из того, что известно о моральном облике Зурова, приходится допустить, что он действует в основном, в личных, не бескорыстных целях.

Следует ожидать, что Зуров потребует за архив чрезмерно крупную сумму и притом попытается сбыть нам наименее ценные материалы. Мы же заинтересованы в приобретении, в первую очередь, военных и других дневников И. А. Бунина, его писем и

автографов. Что касается мемориальных вещей, то для передачи Пушкинскому Дому в Ленинграде могут быть приняты лишь предметы, непосредственно связанные с трудом И. А. Бунина (письменный стол, фотографии со стен кабинета, с письменного стола и т. п.). Всевозможная же домашняя утварь, обстановка столовой, одежда и т. п. — интереса не представляют.

Видимо, необходимо прежде всего выяснить, какие именно архивные материалы намерен передать нам Зуров, для чего он должен представить подробную опись этих материалов. По нашему мнению, вручать ему какие бы то ни было деньги до получения материалов — нецелесообразно, т. к. это даст ему возможность продолжать тактику различных домогательств и попыток сбыть нам ненужные вещи.

Не откажите в любезности поручить кому-либо из аппарата посольства войти в контакт с Зуровым, с учетом высказанных выше соображений, выяснить интересующие нас вопросы. Были бы чрезвычайно признательны Вам за сообщение о результатах.

С искренним уважением К. ВОРОНКОВ

Секретарь Правления Союза писателей СССР

Посольство СССР во Франции 19 апреля 1962 года Исх. № 373[69]

Начальнику отдела внешних сношений министерства культуры СССР

тов. СТЕПАНОВУ В. Т.

На Ваши письма сообщаем Вам, что во время беседы атташе Посольства Поленова О. А. с литератором Зуровым Л Ф. у него на квартире относительно передачи мебели, личных вещей и архивов писателя Бунина И. А., выяснилось следующее.

Мебель из квартиры Бунина И. А. (шкафы, столы, кресла и др.) хранятся на складе в течение почти целого года. По словам Зурова Л. Ф., условия хранения плохие, так как склад не отапливается. Зуров Л. Ф. регулярно платит за хранение мебели.

Личные и мемориальные вещи Бунина И. А. (одежда, картины, письменные принадлежности, чемоданы, трости и др.) хранятся на квартире Зурова Л. Ф. и содержатся в плохом состоянии.

Архивы Бунина И. А. (его личная библиотека, письма и дневники) хранятся также на квартире Зурова Л Ф. в неразобранном виде.

Зуров Л Ф. согласен вначале продать нам мебель и личные вещи Бунина И. А., при условии, что при передаче их ему заплатят (исключая расходы на упаковку и перевозку) 7500 новых франков.

Зуров Л Ф. согласен составить список вещей с краткой их характеристикой, приложить к нему план и фотографии квартиры Бунина И. А. и передать все по списку квалифицированному специалисту, который бы принимал вещи, следил за их упаковкой и отправкой.

Зуров Л. Ф. отказался принять 1310 новых франков, переведенных на его имя Министерством Социального обеспечения РСФСР для компенсации расходов, связанных с похоронами В. Н. Муромцевой-Буниной, заявив, что он включил эти расходы в указанную выше сумму 7500 нов. фр.

Архивы Бунина И. А. после их разборки и приведения в порядок Зуров Л Ф. предполагает продавать по частям, явно преследуя этим корыстные цели. Зуров Л. Ф. не сообщил, какую сумму он хочет получить за архив. Мы будем поддерживать связь с Зуровым Л. Ф. для решения вопроса о сроках разборки архива и условиях приобретения.

По получении списков мебели и вещей, которые думает передать нам Зуров Л. Ф., мы их Вам вышлем.

Советник Посольства СССР во Франции

В. ВДОВИН

Министерство культуры СССР Отдел внешних сношений Москва, 2 марта 1962 года № 653/16[70]

Советнику Посольства СССР во Франции тов. ВДОВИНУ В. П.

В дополнение к нашему № 461 от 15 февраля с.г. сообщаем, что рабочую мебель писателя И. А. Бунина следует отправить в адрес Государственного музея И. С. Тургенева (г. Орел, ул. Тургенева, 11).

Начальник Отдела внешних сношений

В. СТЕПАНОВ

Союз писателей СССР правление 4 февраля 1964 г.

№ 431[71]

Посольство СССР во Франции

Правление Союза писателей СССР поручением № 89 от 2 ноября 1961 года перевело на Ваш счет 12 006 франков для приобретения архива И. А. Бунина, находящегося в распоряжении его приемного сына — Л Ф. Зурова[72].

Секретариат Правления Союза писателей СССР поручил Главному редактору журнала «Советская литература»

В. Н. Ажаеву, выезжающему в Париж по вопросам издательства, закончить переговоры по приобретению архива И. А. Бунина и произвести оплату за его хранение.

Просим Вас, по поручению В. Н. Ажаеву, в случае

необходимости, произвести также оплату расходов, связанных с приобретением архива И. А. Бунина из средств, переведенных Вам на эти цели.

Секретарь Правления Союза писателей СССР К. ВОРОНКОВ

Начальник Планово-финансового Отдела Главный бухгалтер И. ХАНИН

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор приносит свою благодарность Татьяне Валерьевне Бутровой за помощь в работе над этой книгой.

Автор и издатели сердечно благодарят Олега Николаевича Михайлова и Кирилла Владимировича Ковальджи за содействие в составлении фотоиллюстративного ряда.

notes

Примечания

1

Так у Бунина. У Пушкина — «витязей». (Примеч. авт.)

2

Бунин часто вспоминает это семейное предание, дальнее родство: «Писателем я стал, вероятно, потому, что это было у меня в крови: среди моих дальних родичей Буниных было не мало таких, что тяготели к писательству, писали и даже печатали, не приобретя известности, но были и такие, как очень известная в свое время поэтесса Анна Бунина, был знаменитый поэт Жуковский, сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки, получивший фамилию своего крестного отца Жуковского только потому, что был он сыном незаконным. Я еще мальчиком слышал много рассказов о нем в нашем доме… Я рос в средней России, в той области, откуда вышли не только Анна Бунина, Жуковский и Лермонтов, — имение Лермонтова было поблизости от нас, — но вышли Тургенев, Толстой, Тютчев, Фет, Лесков…»

3

Не так давно (1999 г.) в издательстве «Терра-Спорт» вышла книга Арк. Ваксберга «Гибель буревестника», по новым документам, прямо-таки сокрушительная.

4

Носик Б. «Мир и дар Набокова (Первая русская биография писателя)».

5

Hommage (фр.) — почести.

6

По сообщению журналиста Дм. Черкасского.

7

«Нет писем, сударь, нет телеграмм» (фр.).

8

«Иностранные газеты!» (фр.)

9

Дипломатические отношения РСФСР с Французской республикой установлены 28 октября 1924 г. Посольство бывш. Российской империи во Франции официально работало еще несколько лет.

10

Не может ли это быть рука секретарши посольства, переписавшей письмо, оригинал которого был отправлен (и пока не обнаружен) в Москву? Отсюда и новая орфография.

11

М. Э. Грин (1912–1998), филолог, литератор.

12

Архив Института «Зимний Сад».

13

Архив внешней политики РФ (далее — АВП), ф. 197, оп. 2, пор. 5, п. 1, л. 5–6.

Документы АВП по запросу Института «Зимний Сад» рассекречены в установленном порядке. Копии переданы Историко-документальным департаментом МИД РФ Институту «Зимний Сад» для публикации.

Все права защищены © ИДД МИД РФ.

Здесь и далее все архивные документы, за исключением случаев очевидных опечаток и неизбежной транслитерации на современную орфографию, цитируются с сохранением оригинальной пунктуации и правописания.

14

Этого письма в АВП в фондах Посольства СССР во Франции пока не обнаружено.

15

АВП, ф. 0140, оп.17, пор. 301, п. 116, л. 104–109.

16

Коллонтай (урожд. — Домонтович) А. М. (1872–1952), в 1930–1941 гг. — полпред, в 1941–1945 — посланник СССР в Швеции.

Вряд ли Коллонтай могла забыть, что писал Бунин в «Окаянных днях»: «Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества „прирожденных преступников“ — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, „ангельское“ лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай)». Цит. по И. Бунин. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. С. 163.

17

Консерватизм как таковой, похоже, был решительно чужд ревписателю и совпослу. Апология «половой раскрепощенности» и иные по-истине революционные эти ко-эстетические откровения публициста и прозаика А. Коллонтай, троюродной сестры Игоря Северянина, друга Плеханова Г. В. и Ленина В. И., привлекли к себе скандальное внимание с публикацией книги «Любовь пчел трудовых» (1923).

18

АВП, ф. 0140, оп. 17, пор. 301, п.116, л. 119–124.

19

Примечательна оценка, данная в «Характеристике главнейших шведских газет» аналитиками Советского посольства газетам, на чьи публикации вынуждена ссылаться Посол СССР для подтверждения версии о всеобщем «негодовании шведобщественности»:

«Афтонбладет». Вечерняя крайне-правая газета, активистского направления. Занимает рескова враждебную позицию против СССР, ведет пропаганду за участие Швеции в войне против СССР в составе единого капиталистического фронта. Каждый день печатает всевозможные небылицы об СССР. Серьезным влиянием не пользуется.

«„Ниадаглихт Алеханда“. Вечерняя правая газета бульварного типа. Весьма распространена в Стокгольме. Отношение к СССР такое же, как у сенсационно-бульварной „Афтонбладет“. Также распространяет всякие небылицы об СССР»; АВП, ф. 0140, 1930, д. 257, п. 113. С. 81–82.

20

Р. Сандлер — в 1932–1939 гг. министр иностранных дел Швеции.

21

Архив Службы внешней разведки РФ (далее — АСВР); имена «источников» Пресс-службой СВР РФ пока не раскрываются.

По запросу Института «Зимний Сад» документы АСВР рассекречены в установленном порядке. Копии официально переданы Пресс-службой Службы внешней разведки РФ Институту «Зимний Сад» для публикации. Все права защищены © СВР РФ.

22

Благодарим Тульское областное управление культуры за любезно предоставленную информацию о том, что могила одной из первых русских поэтесс А. П. Буниной (1774–1829) атрибутирована и хорошо сохранилась.

23

Напомню, что брата И. А. Бунина звали Юлием.

24

Фотография сына Николая до конца дней стояла на рабочем столе Бунина.

25

Значительную часть денег Бунин передаст нуждающимся соотечественникам. Была создана даже спецкомиссия по распределению: «Как только я получил премию, мне пришлось раздать около 120 000 франков. Да я вообще с деньгами не умею обращаться. Теперь это особенно трудно. Знаете ли вы, сколько писем я получил с просьбами о вспомоществовании? За самый короткий срок пришло до 2000 таких посланий» (из интервью газете «Сегодня», Бабореко. Материалы, с. 283).

Благодарим директора Археологического отдела Псковского областного краеведческого музея Л. Грушину за любезно предоставленные копии отчетов и писем экспедиций Л. Зурова по Псковщине (в ту пору — по независимой «буржуазной Эстонии»). Именно из одной такой экспедиции и был привезен эскиз древнего каменного креста из городища Изборск, положенного в основу могильного креста на склепе Бунина.

27

Информатор был неправ. За советской литературой Бунин, по возможности, следил.

28

К старости добавились крайне болезненный запущенный простатит, потребовавший хирургического вмешательства в 1948 году, астма и плеврит. Смерть, по заключению врачей, наступила от «сердечной астмы, атеросклероза легких и сердечной недостаточности». См. Баборе́ко. Материалы, с. 314–321.

Львом Николаевичем, разумеется.

ACBP.

31

Истины ради стоит отметить, что о Ленине и Сталине он говаривал не менее сочно.

32

Богомолов А. Е. (1900–1969) в 1953–1965 гг. — посол СССР во Франции (ДС, т. 1, с. 140).

33

АВП, ф. 0136, оп. 29, пор. 77, п. 204, л. 93.

34

АВП, ф. 0136, оп. 29, пор. 77, п. 204, л. 97.

35

АВП, ф. 0136, оп. 29, пор. 77, п. 204, л. 98–99.

36

АВП, ф. 0136, оп. 29, пор. 77, п. 204, л. 120.

37

АВП, ф. 0136, оп. 29, пор. 77, п. 204, л. 128.

38

«Предательский визит» к послу Богомолову и тост «за здоровье Сталина» Берберова датировала 12.02.45. В действительности эта встреча произошла между 14 и 17 декабря 1945 года, но без «распития» и «здравиц». Более точной датировке запись в дневнике Посла не поддается.

39

АВП, ф. 197, оп. 22, пор. 101, п. 107, л.4.

40

Письмо без подписи, скорее всего — советник Гузовский.

41

Телешов Н. Д. (1867–1957), писатель.

Здесь и далее подчеркнуто в оригинале (прим. — Дм. Ч.).

43

АВП, ф. 0136, оп. 30, пор. 21, п. 206, л.3.

44

АВП, ф. 136, оп. 41, пор. 33, п. 72, л.1.

45

Опись в АВП не обнаружена.

46

АВП, ф. 197, оп. 39, пор. 58, п.155, л. 3.

47

АВП, ф. 136, оп. 41, пор. 289, п. 71, л.13, 14.

Официальный курс.

49

В 1956–1961 годы В. Н. Муромцева ежемесячно в качестве пенсии «от Советского правительства» получала через работников Советского посольства наличными (т. е. без налогов), мелкими купюрами (по ее просьбе) сумму в два раза превышавшую средний уровень дохода среднестатистического француза, не считая разовых выплат, которые достигали значительного совокупного объема. Изумлению людей, близких В. Н. Муромцевой и Л. Зурову, которым я сообщал об этих выплатах, предела не было: никаких поводов полагать, что ее благосостояние улучшилось, вдова Бунина не подавала и, наоборот, как сказала Н. Б. Соллогуб, «очень любила жаловаться и искать сочувствия».

Служба внешней разведки РФ предоставила Институту «Зимний Сад» имя одного из ныне здравствующих участников этой «операции». Имя второго участника восстановлено сотрудниками Института «Зимний Сад» в ходе собственного расследования.

50

АВП, ф. 136, оп. 41, пор. 24, п. 71, л. 9–12.

51

АВП, ф. 197, оп. 39, пор. 58, п. 155, л.15,16.

52

Признаюсь, был поражен, рассмотрев подпись Ждана на секретных мидовских бумагах — знакомый автограф я несу по жизни во вгиковском дипломе. Бог весть, зачем его, преподававшего во ВГИКе с 1948 г., судьба на несколько лет забросила в посольство.

Профессор Ждан В. Н. (1913–1993), доктор искусствоведения, в 1951–1956 гг. — главный редактор журнала «Искусство кино», с 1973 — ректор Всесоюзного государственного института кинематографии. Киновед, автор многих книг по эстетике, истории и теории кино.

53

АВП, ф. 136, оп. 42, пор. 39, п. 76, л. 3.

54

АВП, ф. 136, оп. 42, пор. 39, п. 76, л. 4.

55

АВП, ф. 136, оп. 42, пор. 39, п. 76, л. 5.

56

Упоминаемое письмо Союза писателей СССР на имя В. Н. Буниной в АВП не найдено.

57

АВП, ф. 197, оп. 41, пор. 53, п. 162, л. 3.

Кстати, тиражом пятьсот экземпляров.

59

АВП, ф. 197, оп. 41, пор. 53, п. 162, л. 23.

60

АВП, ф. 136, оп. 45, пор. 37, п. 91, л. 91–93.

61

Она скончалась 26.04.1961 г. в результате, как писал доктор Зернов, «тромбоза сердечного сосуда. А главное — она не хотела жить, говорила, что хочет помереть; не было воли к жизни, это больше всего ее погубило». Цит. по Баборе́ко. Дороги, с. 74.

62

В результате денежной реформы от 27.12.1957 г. новый французский франк стал равен 100 «старым франкам».

63

АВП, ф. 197, оп. 45, пор. 32, п. 181, л. 3.

В 1995 году к 125-летию И. А. Бунина МИД РФ, Министерство культуры РФ и Институт «Зимний Сад» при поддержке Мэрии Парижского округа 16 открыли мемориальную доску на этом доме. Благодарим за содействие Е. Ю. Сидорова, М. Е. Швыдкого, В. А. Иванова, К. Н. Мозеля, О. В. Степанову и посла Ю. Рыжова.

65

АВП, ф. 197, оп. 45, пор. 32, п.181, л. 13.

АВП, б/н.

Литератор Л. Никулин, любимец «спецкомиссий и загранотделов», как характеризует его А. Бабореко.

АВП, ф. 197, оп. 45, пор. 32, п. 181, л. 65,66.

69

АВП, ф. 197, оп. 45, пор. 32, п. 181, л. 83–85.

АВП, ф. 197, оп. 45, пор. 32, п. 181, л. 30.

71

АВП, ф. 97, оп. 47, пор. 29, п. 195, л.11.

Версия об усыновлении ни одним из доступных источников не подтверждается. Отношения Зурова с Буниным и Верой Николаевной современниками характеризуются как «крайне сложные» (см.: А. К. Бабореко. Материалы. С. 350). Зуров страдал хронической шизофренией и регулярными припадками. Галина Кузнецова писала: Зуров, «несомненно, был талантливым писателем и мог бы еще много написать, если бы не болезнь, совершенно подкосившая его еще в 50-х годах… он был душевнобольным одно время и только после усиленного лечения вернулся на rue Offenbach, когда Бунина уже не было в живых. Отношения с Иваном Алексеевичем у него были до того сложные, что я сейчас предпочитаю их не касаться». Цит. по: А. К. Бабореко. Дороги и звоны. М.: Московский рабочий, 1993. С. 109.